А. Числов
ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ



А. Числов

ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ

АРТЕФАКТЪ

Погибшее открытие

Александр Николаевич Числов, Яков Исидорович Перельман

Аннотация
А. Числов. ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ. по страницам старых журналов
Необычная история господина Числова
НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
Био. случай из недалёкого будущего.
I
II
III
IV
V
Погибшее открытие. отрывки из дневника А. Числова
От редактора: вместо предисловия
I
II
III
IV
V
VI
История одного интервью

Планиметрия. Совершенно невероятное происшествие. Рассказ А. Числова
Ковер-самолет
I
II
III
IV
V
VI
Опыт профессора Парсова. научно-фантастическая повесть
Глава I. Странное соглашение
Глава II. Приступили к опыту
Глава III. Первые впечатления бухгалтера
Глава IV. Неожиданный оборот событий
Глава V. Редакция, сыскное бюро и Гутуевский остров
Глава VI. Продолжение рассказа бухгалтера
Глава VII. Неожиданный аукцион у Дворняшкина
Глава VIII. Пробуждение и конец рассказа бухгалтера
ГЛАВА IX. Приёмная финансового короля и заключение
Глава X. Заключительная
Пытка зеркалами

I
II
III
IV
Завтрак в невесомой кухне. Недостающая глава в романе Жюля Верна
ПОЧТИ ФАНТАСТИКА И НЕ ТОЛЬКО
А. Числов. Убийство. Рассказ следователя
I
II
III
IV
В. Ольден. Предшественник Нансена
Я.И. Перельман. Живой планетарий
Я. И. Перельман. «Вечный двигатель» времен Петра I
К. Лассвиц. Универсальная библиотека
Я. И. Перельман. Литературная машина
Я. И. Перельман. Жюль Верн. К столетию со дня рождения
I
II
III
IV
V
VI

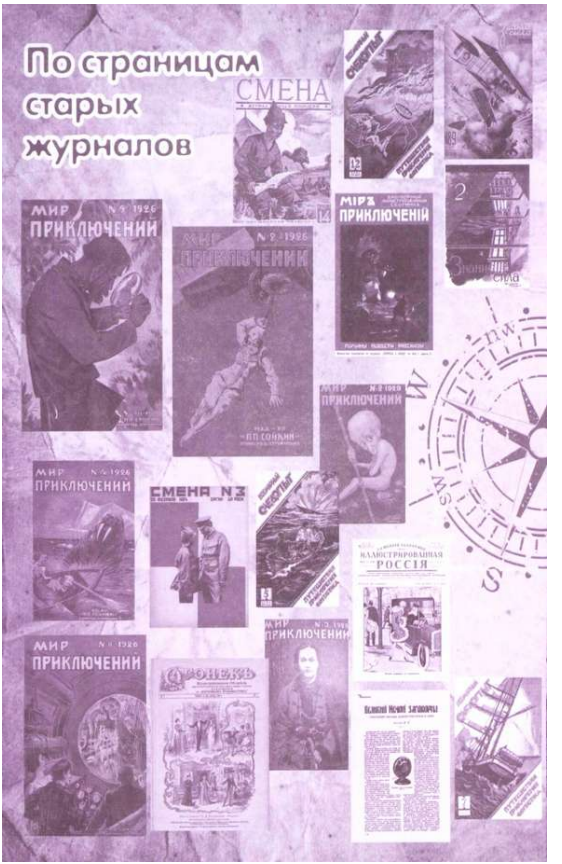
М. Пушкарский. Пророческий роман Жюля Верна
Л. Исидорский. Пророки мировой войны
I
II
Чудо нашего века
Афиша
Феноменальная память
Чревовещание
Сверх программы
Отгадывание мыслей
Мальчик с верхнего этажа
Секрет феноменальной памяти
Источники:

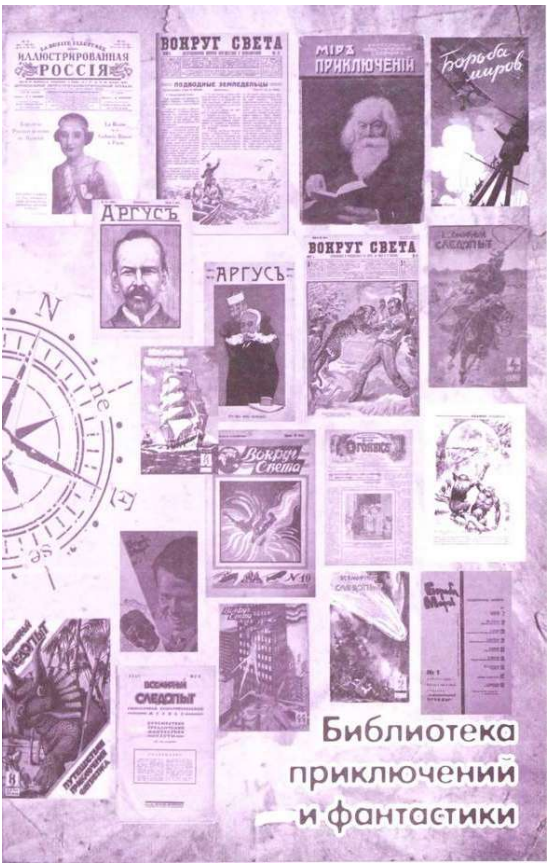
Аннотация

А. Числов — таинственный персонаж отечественной журнальной действительности 1910-х гг. Литературная жизнь загадочного писателя длилась недолго — с 1913 по 1917 г. Истории публиковались в журналах «Мир приключений», «Природа и люди», «На суше и на море» и в «Журнале приключений». Их было немного, но они становились событием — автор выделялся умением выстроить коллизию, незаурядным юмором и научной проработкой фантастических сюжетов. Кто скрывался за этим псевдонимом? Можно строить предположения, но наиболее вероятное: «А. Числов» — одна из многочисленных «масок» Я.И. Перельмана — «доктора занимательных наук», неутомимого популяризатора научных знаний и… сотрудника большинства изданий, в которых печатался «А. Числов».

Кроме научно-фантастических текстов, в сборник вошли несколько рассказов и очерков, опубликованных И. Я. Перельманом под собственным именем и псевдонимами

(М. Пушкарский, Л. Исидорский и др.). Книга содержит иллюстрации из журнальных публикаций конца XIX — начала XX века, приведены сведения об источниках.


По страницам
старых
журналов
СМЕНА
МИР
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
СМЕНА №3
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
РОССІЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ


ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ
ВОКРУГ СВЕТА
МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ
Борьба миров
АРГУСЪ
ВОКРУГ СВЕТА
АРГУСЪ
Вокруг Света
Всемирный следопыт
Библиотека приключений и фантастики

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ФАНТАСТИКИ



ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ЖУРНАЛОВ

САРАНСК ~ 2018

А. ЧИСЛОВ

ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ

СБОРНИК
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

АРТЕФАКТЪ



А. Числов
ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ
по страницам старых журналов

Необычная история господина Числова

Начало XX века в России отмечено расцветом газетно-журнального дела. Истоки явления понятны: мощное развитие капитализма повлекло ускоренную урбанизацию и повышение образовательного уровня горожан. Конечно, процессы эти касались, прежде всего, столичных агломераций. Но (помня об их масштабах) и этого оказалось достаточно, чтобы количество наименований и спектр выпускаемых литературных журналов серьезно вырос. Чтение художественной литературы становилось делом привычным, в него вовлекались все новые и новые социальные слои. Они прирастали «снизу», — главным образом, за счет небогатых, но уже вполне образованных читателей. Демократизация образования имела множество следствий. Одним из них было приращение доли развлекательной литературы — «аудитория снизу» не обладала ни ресурсами времени, ни интеллектуальным потенциалом, чтобы успешно потреблять «большую» литературу. В свое время — за два-три десятилетия до России — тот же путь прошла и Европа. Теперь

ее бросилась догонять и наша страна. Журналы множились. В предвоенную эпоху они исчислялись даже не десятками, а сотнями.

В новых журналах доминировала беллетристика самого разнообразного — нередко, довольно невысокого — свойства. Аудитория была не просто широкой, она постоянно расширялась (сказывалась демократизация образования!). Среди потребителей журнальной продукции присутствовали и те, кто хотел не только развлекаться, но и познавать. Их число неуклонно росло. На Западе это привело к появлению особой «отрасли» — беллетристики, популяризирующей научное знание и… научной фантастики. Хотя термина, обозначающего последнее явление, разумеется, тогда еще не существовало. Но уже были те, кто ее сочинял: Жюль Верн, А. Конан Дойл, Г. Уэллс, да и многие другие. Понятное дело, эта область популярного чтива оказалась востребована и в России начала XX века.

Необходимо признать: несмотря на богатую *фантастическую* традицию в русской литературе (в том числе рубежа XIX — XX вв.), российские авторы в области именно *научной* фантастики отсутствовали. А потому поначалу довольствовались переводными — главным образом,

историями англоязычных (британских и американских) авторов. Убедиться в этом нетрудно — достаточно обратиться к популярным изданиям того времени, публиковавшим фантастику, — перелистать журналы «Мир приключений», «На суше и на море», «Журнал приключений» и многие другие. Красноречивой иллюстрацией тому и антология фантастики, изданная недавно «Артефактом»: она составлена, главным образом, из отечественных журнальных публикаций той поры[1].

Но, разумеется, «свято место пусто не бывает», а «спрос рождает предложение»: уже в начале 1910-х страницы периодических изданий запестрели именами российских *научных фантастов.* На поверку их было совсем немного, а по-настоящему талантливых и того меньше. В качестве наиболее ярких стоит отметить разве что С. Бельского, С. Соломина (Стечкина), М. Первухина (он часто публиковался под псевдонимами, их у него множество) и А. Числова. Но если о Бельском, Первухине и Соломине современным любителям фантастики, все-таки, более или менее кое-что известно, и книги их — пусть редко и небольшими

[1] Примечания: 1

См.: Господин из реторты: сб. фантастических произведений англоязычных писателей конца XIX — начала XX в. — Саранск, 2018.

тиражами, но, все-таки, издаются, то о Числове такого сказать нельзя. Приходится признать: Числов — совершенно загадочный персонаж. Кроме того, что в период с 1914 по 1917 год он опубликовал в журналах «Мир приключений», «На суше и на море», «Природа и люди» и в «Журнале приключений» пару научно-фантастических повестей и несколько рассказов, больше о нём ничего не известно. Наверняка можно сказать только одно: Числов — автор, безусловно, талантливый. Пожалуй, самый талантливый в рядах немногочисленной когорты русских *научных фантастов* предреволюционной эпохи.

Так кто же он такой — этот загадочный господин «А.Числов»?

В среде немногочисленных любителей и знатоков отечественной фантастики периода по этому поводу давно ведутся негромкие и не жаркие дискуссии. *Негромкие* — потому что ведутся они на ограниченном пространстве немногочисленных сайтов любителей фантастики. А люди там образованные, воспитанные и, в основном, немолодые. А *не жаркие* — поскольку дискутировать особенно и не о чем: людям искушенным в предмете, в общем-то, понятно, что «А. Числов», конечно, псевдоним. И скрывается под ним не

кто иной, как Яков Исидорович Перельман — выдающийся популяризатор научных знаний, автор хорошо знакомых нескольким поколениям советских и российских интеллигентов замечательных книг, приобщивших многих к науке и даже определивших судьбу. Речь идет, конечно, о хорошо всем знакомых книгах: «Занимательная физика», «Занимательная геометрия», «Занимательная математика» и т.д. Пора об этом, наконец, сказать громко и вслух.

Оговоримся: прямые доказательства того, что Я. Перельман и есть таинственный господин «А. Числов», отсутствуют. Нет этого псевдонима среди зафиксированных у автора в словаре И. Масанова. Присутствуют: «Лес-ной»; «Л-ой»; «Лесной Я.»; «Недымов»; «П.»; «П-н Я.»; «Рельман»; «Сильвестров»; «Цифиркин»; «Я. П.», даже «—я» есть, а вот «А. Числова» нет[2].

Но существует масса доказательств косвенных. Прежде всего: авторы словарей — люди. В том числе и Масанов. Учесть всё — невозможно. Особенно, когда мы имеем дело с *таким* автором, как Я. И. Перельман. Он писал так много и так разнообразно — в силу собственных интере-

[2] Примечания: 2

См.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — т. 4. — М., 1960. — с. 364.

сов и служебных обязанностей (литературного сотрудника, редактора и автора целого ряда периодических изданий)[3], что едва ли и сам помнил свои многочисленные псевдонимы. Впрочем, «настораживает» один из псевдонимов — «Цифиркин» (он же — «Цыфиркин»). В самом деле, почти «Числов».

К «косвенным уликам» можно отнести также стилистику, темп повествования, юмористическую составляющую. Они близки у «А. Числова» и автора «Занимательной физики». Впрочем, здесь, конечно, необходимо специальное исследование литературоведческо-лингвистического характера. Оно, разумеется, не проводилось, и едва ли кто-либо за него возьмется. Так что придется обойтись общими впечатлениями — «эмпирикой».

Куда важнее — почти все тексты за авторством «А. Числова» опубликованы в журналах П. П. Сойкина, постоянным сотрудником которого (на протяжении семнадцати лет, с 1901 года) был Я.

---

[3] Примечания: 3

См. статью о Перельмане на сайте «Архив фантастики»: http://archivsf.narod.ru/1882/yakov perelman/index.htm

Перельман[4]. Кстати, последний был инициатором появления на свет «Мира приключений» — первого российского журнала, широко публиковавшего научную фантастику[5]. Интересно и вот что: большинство фантастических текстов Числова появилось как раз на страницах сойкинских журналов[6]. Без труда можно настроить предположений вроде: очередной номер почти свёрстан, но чего-то не хватает (не принёс автор обещанного или представил не то, чего бы хотелось), и вот тогда… сотрудник редакции (разумеется, Я. Перельман) срочно берётся за перо и… выдает текст. За подписью… — ну, конечно, — «А. Числов». Уж в чём, а в литературных способностях Я. Перельмана (с его-то творческим багажом!) сомневаться не приходится.

Куда важнее предположений иное: почти все известные тексты А. Числова находятся в очевидной перекличке с «занимательными» произведениями выдающего популяризатора

---

[4] Примечания: 4

Подробнее о сотрудничестве Перельмана с П. Сойкиным см.: Мишкевич Г. Доктор занимательных наук. — М., 1988. — с. 24-36.

[5] Примечания: 5

Мишкевич Г. Доктор занимательных наук. — М., 1988. — с. 29

[6] Примечания: 6

Впрочем, это не помешало Числову печататься и у соперника работодателя — П. Сытина в его «Журнале приключений».

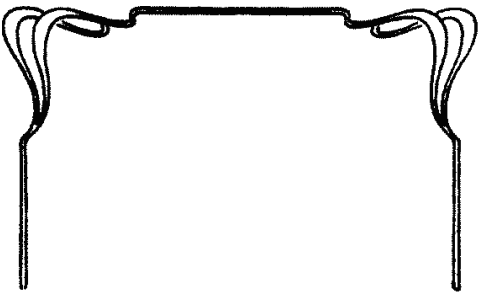
научного знания. Идёт ли речь о биологии и физиологии («Био», «Опыт профессора Парсова»), геометрии («Планиметрия»), физике пространства («Ковер-самолёт») или путешествиях во времени («Погибшее открытие»). То есть, если верно предположение, что «А. Числов» и есть Яков Исидорович Перельман, получается, что он удивительно верен себе как популяризатор научного знания. Другое дело, что привычная для него «занимательная» форма совершенно не подходит для избираемой им в рассказах темы. И тогда он избирает иную — форму научно-фантастического повествования, подписанную уже иным именем (или псевдонимом) — не Перельман («Лесной», «Недымов», «Рельман», «Сильвестров» или «Цифиркин»), но «А. Числов». Единственным текстом последнего, который не укладывается в данную схему, является совершенно не фантастический, а криминально-детективный рассказ «Убийство», опубликованный на страницах все того же «Мира приключений». Ну, тут уж ничего не поделаешь![7]



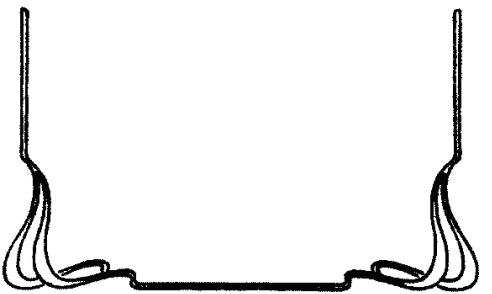
[7] Примечания: 7

Хотя при желании можно «оживить» и высказанную выше версию «Срочно в номер!».

Составляя сборник, автор настоящих строк прекрасно отдавал себе отчёт, что полноценную книгу из совсем небольшого по объему творческого наследия А. Числова не составишь. Поэтому в издание включены тексты Я. Перельмана (в том числе, опубликованные под псевдонимами). Прежде всего, те, которые пересекаются по тематике и стилистике с сочинениями А. Числова, — главным образом, беллетристического свойства. Кроме «литературного», был и еще один критерий — редкость. Большинство произведений принадлежат, — в силу того, что публиковались они, в основном, в дореволюционной периодике, — к числу недоступных современному читателю. Завершает сборник автобиографический рассказ Я. Перельмана «Чудо нашего века» — замечательный образец художественной прозы даровитого автора. Мимо него мы пройти не могли. Он многое объясняет в характере и в судьбе этого удивительного человека.



НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА



НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
Био

случай из недалёкого будущего.

I

Изящное, недавно выстроенное здание «Общества Физиологии и Медицины», было ярко освещено. К подъезду то и дело подкатывали шикарные автомобили, таксомоторы, и — как дань человеческому консерватизму, — кареты и открытые экипажи.

Небольшой зал внутри здания постепенно наполнялся публикой. Это было избранное общество Петербурга, его аристократия ума. Главную массу составляли врачи и студенты, но не было положительно ни одной интеллигентной профессии, самые знаменитые представители которой не присутствовали бы здесь.

К восьми часам зал был переполнен. Ровно в десять минут девятого президиум занял свои места, и председатель, открыв торжественное заседание учёного общества, произнёс вступительное слово:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Мне нет необходимости здесь, перед

членами нашего учёного общества и пред их просвещёнными гостями, вдаваться в подробные объяснения по поводу учения об «анабиозе», который в настоящее время имеет обширную литературу. Я позволю себе лишь напомнить вам те слова, которыми Петр Иванович Бахметьев[8], — бессмертное имя его в настоящее время известно каждому ученику гимназии, — те слова, — говорю я, — которыми наш великий учёный впервые определил анабиоз: это состояние организма, в котором он не живёт, но и не мёртв. В пояснение лишь добавлю: такое состояние организма достигается замораживанием его до определённой температуры, когда все соки организма уже затвердевают, но сам он сохраняет жизнь, так сказать, в потенциальном состоянии. Животный организм в «анабиотическом» состоянии не имеет ни кровообращения, ни дыхания, ни пищеварения; сердце его остановилось; от его жизнедеятельности не остаётся ничего… И всё же он не мёртв, так как, будучи помещён в удобные условия, а затем размерожен надлежащим образом — он оживает! День, в который идея анабиоза

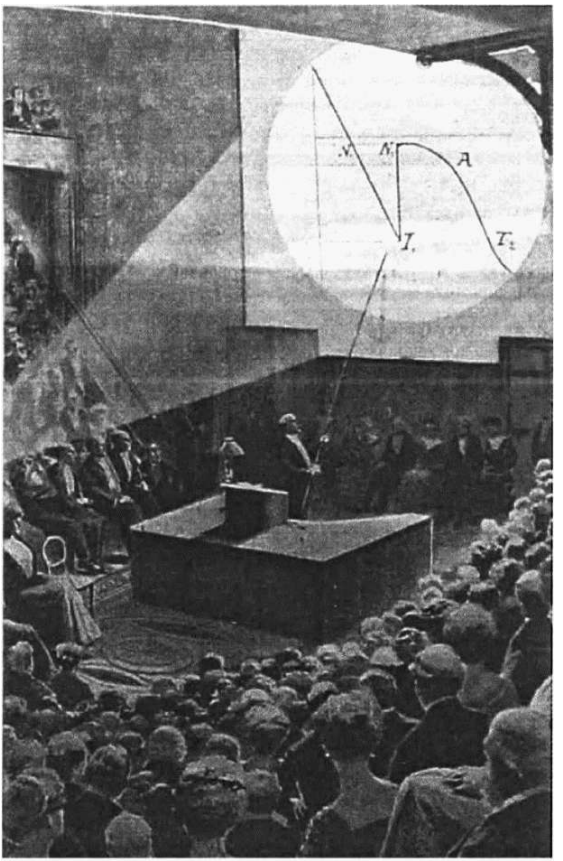
[8] Примечания: 8

Имеется в виду Порфирий Иванович Бахметьев (1860-1913) — русский и болгарский физик и биолог-экспериментатор, автор множества научных работ и экспериментов разнообразного свойства.

впервые зародилась в уме Бахметьева, отмечен им самим, — это 16 апреля 1898 года. С этого времени начинаются систематические опыты в данной области. Не буду приводить всего длинного ряда этих опытов, ушедших уже в область истории вопроса. Что касается анабиотизирования в той постановке, как она производится в настоящее время, то картина его представляет собой, если мне будет позволено употребить образное сравнение — «путешествие по холоду». Вот здесь вы видите… — Одним нажимом кнопки докладчик погрузил зал во мрак и затем проектировал на громадном экране кривую температуры при замораживании.

— Здесь, — продолжал учёный, — вы видите кривую температуры животного, довольно быстро понижающейся при замораживании. Вот замечательный скачок её вверх почти до 0°, скачок, наступающий после переохлаждения соков организма; он-то собственно и навёл Бахметьева на его открытие. Вот вторичное охлаждение уже при затвердевших соках. При этом «путешествии», как изволите видеть, есть определенные «станции»: точка T_1 — критическая точка, до которой достигает переохлаждение соков, далее N_1— начало затвердевания соков. Но вот ещё две

замечательнейшие «станции» нашего путешествия: А и T_2— «границы анабиоза».


N
N'
A
T₁
T₂

В пределах этих-то точек организм находится в «анабиотическом состоянии»; начиная с точки А, все соки затвердели, жизнь прекратилась, но она ещё может быть восстановлена: это, следовательно, состояние между жизнью и смертью. Но далее, за точкой T_2— наступает уже окончательная смерть, *вторая* смерть, из которой нет возврата.

Границы анабиоза различны для различных видов живых существ. Та линия, которую я сейчас показал вам, есть кривая температуры одного вида насекомого; вы изволите видеть, насколько резки её колебания… Вот эта зелёная — кривая летучей мыши; далее — температура кролика, собаки, орангутанга. Кривая, нарисованная красной краской… её, впрочем, я не буду касаться, так как она составит предмет сегодняшнего доклада доктора Воронова.

Он снова нажал кнопку, — и публика зажмурила глаза от хлынувшего яркого света электричества.

— Мой схематический очерк анабиоза был бы неполон, если бы я не упомянул о тех трудностях, которые были связаны с опытами над теплокровными животными. Однако и это не оказалось недостижимым для науки; сначала введением в кровь угольной кислоты, а впоследствии

применением более сложных способов наркоза — была достигнута возможность понижения температуры крови без вреда для животного. Таким образом, задача приведения теплокровного животного в анабиотическое состояние была разрешена с полным успехом. Ряд опытов продолжателей Бахметьева постепенно расширял район применения анабиоза: мышь, кролик, собака и, наконец, обезьяна, как я уже говорил, были вполне успешно приведены в анабиотическое состояние и затем возвращены к жизни. Открывалась очередь для… самого человека!

При этих словах оратора внимание аудитории достигло высшего напряжения. Водворилась полная тишина.

— Опасность подобного рода опытов — продолжат председатель, — и целый ряд препятствий совершенно особого характера на несколько лет задержали ход работ в этой области. Но перед человеком, стремящимся по пути науки, нет непобедимых препятствий!

Голос оратора поднялся почти до пафоса.

— Уступаю слово нашему дорогому товарищу, Ивану Александровичу Воронову, заслужившему всеобщее уважение учёного мира своими исследованиями в области изучения анабиоза и тем

редким, исключительным самопожертвованием, с которым он в настоящее время собирается послужить на пользу всем нам дорогой науки.

Оратора наградили рукоплесканиями, — но трудно представить, себе, какую бурю аплодисментов вызвало появление на кафедре молодого, бледного, худощавого врача в военной форме — И. А. Воронова! Несколько минут ему буквально не давали говорить, пока звонок председателя не водворил в зале спокойствия и тишины.

II

Чем же был вызван этот восторг? И что за «исключительное самопожертвование» проявил этот молодой учёный?

Пока Воронов прочтёт свой доклад (к сожалению изложенный чересчур специальным языком), мы успеем удовлетворить любопытство читателя.

Прежде всего, следует сказать, что заслуги доктора Воронова в области применения анабиоза хоть и не представляли чего-нибудь замечательного, но были несомненны: изучение его влияния на лечение туберкулеза и других болезней, затем весьма полезные исследования о применены

анабиоза в сельском хозяйстве, садоводстве и пчеловодстве, одни могли бы составить ему имя в науке. Но не это было причиной тех оваций, которые выпали теперь на долю этого учёного.

Доктор Воронов первым из людей подверг себя самого анабиозу!

До его опыта это казалось настолько смелым, настолько дерзким, что не только друзья и знакомые доктора, но и его коллеги — врачи и физиологи — пытались его остановить. О семье, конечно, нечего и говорить: старики — отец и мать, — чуть с ума не сошли от страха! Единственный человек, в котором Воронов нашел в это время поддержку, была курсистка-медичка, некая Зеленина, красавица и умница, пламенная поклонница исследований молодого учёного.

Как бы то ни было, опыт был произведён, и Воронов в течение 13 минут 42 секунд находился в анабиотическом состоянии. Два профессора и семь врачей подписали протокол этого опыта.

Испробовав на себе анабиоз, честолюбивый учёный не остановился на этом. Несколько оправившись от первого опыта (который, как известно, связан с продолжительной предварительной голодовкой), он решился возобновить его при таких условиях, которые казались сами

по себе страшнее самого опыта. Дело в том, что, по мнению Бахметьева, животный организм не может находиться в анабиотическом состоянии произвольное время. Воронов, не оспаривая мнения маститого учёного, на основании некоторых собственных исследований, пришёл всё же к выводу, что продолжительность анабиотического состояния легко может быть доведена для человека до нескольких десятков и сотен лет. И вот… он задумал пролежать в анабиотическом состоянии 100 лет!

Слёзы матери, уговоры близких, даже серьёзный и многозначительный разговор с Зелениной (которая на этот раз почему-то резко изменила своё отношение к предстоящему опыту), — ничто не помогло. Воронов сделал официальное предложение нескольким учёным обществам и, между прочим, «Обществу Физиологии и Медицины».

Его идея была принята с энтузиазмом; вообще его авторитет после первого опыта вырос уже в сотни раз. Путём подписки собрана была довольно крупная сумма на производство опыта; Государственная Дума по собственному почину провела законопроект «об охранении Правительством тела человека в анабиотическом состоянии и об ассигновании на сие средств».

Едва намерение Воронова стало известно, как его подхватила печать всего мира. Во всех молодой учёный возбуждал преклонение; только его семья оставалась при особом мнении.

III

Когда доклад Воронова кончился, публика ещё громче и дружнее ему аплодировала, хотя три четверти присутствовавших ничего ровно не слышали: Воронов читал невнятным и слабым голосом. Затем должно было наступить начало опыта. Выбранные лица от учёных обществ, пожелавших принять участие с профессором и доктором Вороновым во главе, а также несколько счастливцев из публики проследовали в заранее приспособленные комнаты в подвальном этаже здания, где должно было покоиться тело в анабиозе.

В одной из комнат находилась достаточно вместительная ванна для замораживания, помещённая в резервуар, наполненный льдом с солью; сложный, весьма остроумный прибор поддерживал постоянно одинаковую температуру с колебанием не более двух десятых градуса.

Наступила минута жуткого ожидания.

— Ну, смотрите, коллега, не начните брыкаться, как при первом опыте, — шутя, но заметно волнуясь, сказал профессор, получивший назначение на вновь созданную должность «Главного Консерватора человеческого тела в анабиотическом состоянии».

— Постараюсь, — тоже улыбаясь, и не менее взволнованный, ответил Воронов.

— Что ж? Можно, пожалуй, и начинать? — помолчав несколько секунд, прибавил врач «заведывающий медицинской частью» (тоже новая должность при теле Воронова).

Тут неожиданно для всех выступил отец Воронова, старый торговец рыбой. Движением руки он остановил врача и, поправив на носу большие серебряные очки, обратился к сыну:

— Что ж, Ваня, видно так Бог судил, — сказал он. — Из Его воли не выйдешь… Я, брат, думал, что рощу единственного сына не для того, чтоб его… — старик опять медленно и старательно поправил очки, — …в этом жестяном ларе, как рыбу… заморозили. Но уж… что уж… я, братец мой, понимаю, для науки надобны жертвы, и всё прочее. Я, Ваня, и вы все, господа учёные… я все это понимаю и не прекословлю. Конечно, был бы ему и без того почёт на свете, и жил бы хорошо,

и… и женился бы, может быть, и старику-отцу глаза бы закрыл… — очки снова съехали на бок. — Ну, да, видно, иначе суждено… Так, благослови же тебя Господь, сынок, а нас с матерью злом не поминай! Господа заведующие, извините, если, что не так сказал…

После этой краткой речи Воронов был заключён в объятия горько плакавшей матери, затем почтительно поцеловал руку *m-lle* Зелениной, которая с упрёком посмотрела на него полными слёз глазами, и, наконец, крепко пожал руки товарищам.

Председатель Общества «Физиологии и Медицины» сообщил, между прочим, что, так как все расходы по содержанию тела замороженного приняты казною, то собранные подпиской деньги, — около пятнадцати тысяч рублей — решено положить на имя Воронова в банк.

— При пробуждении ваш капитал, нарастая по сложным процентам, достигнет миллиона, — улыбаясь, пояснил председатель, — а может быть, вы проснётесь, подобно герою романа Уэльса[9], владельцем богатств всего мира, — любезно добавил он.

---

[9] Примечания: 9

Имеется в виду роман Г. Уэллса «Когда спящий проснется» (1907).

Наконец, и речи, и прощанье закончились. Воронов в последний раз обвёл глазами мир начала XX века и решительным шагом прошёл в комнату, предназначенную для наркоза.

Через полчаса его похолодевшее, обнажённое тело в состоянии, подобном летаргии, было вновь перенесено в холодильную комнату. Бесшумно открылась крышка замораживающей ванны: температура в комнате, и без того низкая, ещё упала.

Безжизненное тело Воронова бережно было опущено в ванну под надзором Главного Консерватора. Закрылась крышка… Снова наступила в комнате жуткая тишина, которую прерывало лишь рыданье двух женщин в дальнем углу…

Жизнь Ивана Александровича Воронова была приостановлена на долгий срок этими странными похоронами…

IV

Переход из небытия к сознанию полон фантастических грёз. Власть рассудка ещё не вернулась, а образы и звуки мелькают уже какими-то туманными обрывками, дикими и непонятными: не передать словами их сказочной сущности, и

даже фантазии трудно повторить их нереальные формы. Нет времени, нет пространства, — одно сумбурное, хаотическое движение… И вдруг какой-то далёкий зов начинает властно возвращать сознание к формам, звукам и краскам реального мира. Однако, организм, скованный сном, ещё борется *с* этим зовом, противопоставляя ему свою пассивную инертность. Всё властнее зов, всё слабее сопротивление, всё реальнее образы. Наконец, вдруг, точно резким толчком разрывается завеса, просыпается слух, затем открываются глаза… Весь фантастический мир разом исчезает в бездне. Перед изумлённым взором человека проясняется обычная реальная обстановка, и он спрашивает невольно:

— Где я?

Так очнулся Воронов. Он лежал обнажённый на кушетке, покрытый белым полотном. Над ним хлопотали три человека в незнакомом ему форменном платье.

— Проснулся, — сказал один из них, по-видимому, врач, и подал ему в чашке питьё, похожее вкусом на крепкий бульон.

Воронов с жадностью сделал несколько глотков, затем приподнялся. Силы его быстро восстанавливались. Он хотел сесть, но тотчас заметил,

что весь был обмотан проволокой, от которой разливалась по телу приятная теплота.

— Теперь это можно и снять, — сказал врач, щупая его пульс. — Как себя чувствуете?

— Хорошо, — отвечал Воронов. Он уже вспомнил все пережитые им перед сном события. — Так хорошо, как я и не ожидал… Скажите, где я нахожусь?

— Всё в той же лаборатории, где вы приняли «био», — отвечал другой из присутствовавших, так как первый, убедившись, что Воронов оправился, взглянул на часы и быстро удалился.

— Да, но в каком веке?

— Теперь 1941-й год, — отвечал человек с лёгкой усмешкой.

— Тысяча девятьсот?.. Но как же… Я не понимаю… Ведь я должен был проснуться не ранее двухтысячного года?

— Да, да, — перебил собеседник. — Я вам всё это объясню. Но сейчас вам нужно, прежде всего, уснуть. Сон окончательно восстановит ваши силы, и завтра мы с вами побеседуем.

Воронов, почувствовавший уже лёгкое утомление, не стал возражать, — и через минуту уже лежал в той самой комнате, в которой он был подвергнут наркозу столько лет назад. Перед

сном он ещё успел не без удивления заметить, что комната порядочно-таки запущена.

V

Проснулся он от какого-то шума и увидел, что мимо него проносят большой шкаф, наполненный делами в синих обложках; в соседней комнате было шумно — двигали столы, разговаривали, отдавали какие-то приказания.

Вчерашний человек в форме, видя, что Воронов проснулся, подошёл к нему.

— Я должен вам объяснить, что… это помещение предназначено уже для другой цели.

Воронов сел на своей постели, несколько удивлённый таким началом, но, всё же, преисполненный сознанием важности той роли, которую ему суждено было сыграть.

— Скажите, пожалуйста, я могу, что — сейчас встать и одеться? — озабоченно спросил он. — Я не знаю, какой мне теперь прописан режим и вообще…

Человек посмотрел на него с удивлением.

— Режим? Никакого, — отвечал он. — Ведь вы совсем здоровы?

— Кажется, да… Но меня никто не исследовал?

— Зачем же? Разве вы на что-нибудь жалуетесь? — Оба посмотрели друг на друга с недоумением.

Воронов, пожав плечами, начал быстро одеваться. Это было не особенно удобно, так как через комнату поминутно проходили люди и носили вещи. На него никто не обращал внимания. Его собеседник куда-то исчез и вернулся только, когда Воронов был уже совсем одет. Он двигался впереди большой группы людей, которые несли что-то тяжёлое, и отдавал поспешные приказания.

Воронов подошёл к нему и спросил:

— Скажите, что мне теперь делать?

Человек в форме, рассеянно махнул рукой служителям, чтобы они несли дальше, обернулся к нему и, как бы с удивлением, поглядел на него.

— Вам? Относительно вас я не имею никаких инструкций…

— Но всё же… Кому-нибудь ведь поручено же быть при мне? Какое расписание времени установлено для начала? Когда я должен буду сделать свой первый доклад? Наконец, просто, с кем я могу поговорить о своих делах?

Человек в форме как будто сообразил что-то.

— Видите ли, — проговорил он, — в приказе сказано только, чтобы разбудить вас в виду бес-

полезности дальнейшего опыта с «био» и отдать помещение, занятое вами, под шестнадцатое административное отделение министерства народного здравоохранения, делопроизводителем которого я имею честь состоять, а о вас собственно ничего не говорится.

— Ничего не говорится? — Воронов нервно зевнул. — Так что я могу уйти теперь отсюда, куда я желаю? Мой опыт признан бесполезным, а моё помещение оказалось «необходимым для административного отделения»?!..

Он с горечью вздохнул, а его собеседник пожал плечами, как бы извиняясь.

— Что делать? — произнёс он с некоторым участием. — Теперь времена переменились. Я припоминаю рассказ про вас, будто вы посвятили себя этому опыту в научных целях и будто даже бросили для этого блестящую карьеру… Но теперь такая масса народу подвергается «био» без всяких затрат для государственного казначейства, что законодательные палаты не могли допустить бесцельной траты казённых средств на вас, — тем более, что в вашем помещении и на ваш «бюджет» сейчас можно было бы заморозить не менее пятидесяти человек.

— Так! — воскликнул Воронов не без досады.

— Но ведь у меня есть собственные средства. Они сейчас, вероятно, увеличились настолько, что могли бы свободно окупить…

Чиновник вдруг хлопнул себя рукой по лбу.

— Боже! Ведь я совсем забыл: я должен вам вручить книжку вашего текущего счёта!

Он порылся в портфеле и достал книжку. Воронов схватил её и, быстро перелистав, с разочарованием опустил руки.

— Две тысячи триста рублей! — прошептал он. — Но как же это может быть?

— Что делать? — сочувственно произнёс он. — Вы видите: было два банкротства четыре года тому назад и, кроме того, конверсия… Впрочем, извините, я сейчас тороплюсь. Может, вам ещё что-нибудь угодно?

Воронов стоял растерянный, подавленный и уничтоженный.

Вдруг он немного встрепенулся.

— Я не понимаю одного, — произнёс он нетерпеливо. — Пусть мой опыт с научной стороны бесполезен, предположим. Но ведь я являюсь представителем другой эпохи, безвозвратно ушедшего времени! Неужели научные общества и учреждения, да и просто публика не интересуются мной? Неужели же никому не любопытно

узнать от очевидца, как люди жили до нас? Что думали? Как работали? Я — образованный человек, знал разные стороны жизни своего времени…

Чиновник усмехнулся.

— Сейчас у нас масса «биотиков» моложе вас всего на два-три года. После вас многие пожелали подвергнуться «био» за собственный счет. Вначале, по мере их пробуждения, на них накидывались, как на новинку, а теперь они всем надоели, на них махнули рукой: работать не могут, ни к чему не пригодны, только и знают, что публичные лекции читать — теперь больше никто на эти лекции не ходит. Да и народ среди этих биотиков, — вы меня извините за откровенность, — самый никчёмный! Порядочный человек на это не идёт. Между ними, главным образом, неврастеники, неудачники, люди непригодные для жизни. Жить не умеют, вот, вместо самоубийства, и придумали «переселяться в другой век». А у нас, знаете, и своих-то нытиков предостаточно!.. О вас я, конечно, не говорю, — спохватился чиновник, — вы учёный, врач… Хотя, с другой стороны, возьмите и себя. Ну, вот что вы теперь будете делать? Практикующим врачом вам, конечно, не бывать; ведь не переучиваться сначала, а в ваше время, что была за медицина? К другой

работе вы тоже, конечно, непригодны… Верите ли, я только одного биотика и знал, который (не считая, конечно, богачей), прилично устроился: на обойную фабрику поступил. Он, видите ли, был раньше художником, так теперь воскрешает там старинные узоры…

Воронов в глубокой задумчивости, как во сне, слушал всё это. Того ли он ожидал? Наконец, он грустно спросил:

— Скажите, не осталось ли в живых кого-либо из моих прежних друзей. — Он назвал ряд фамилий, но все, кого знал чиновник, были уже покойники.

— Ну, а Зеленина, — рискнул спросить он, — не слышали вы такой фамилии?

— Профессор Зеленина? Ещё бы не знать! — с почтением отвечал чиновник. — В прошлом году скончалась. Крупная научная сила! Знаете, она, кажется, единственная всячески восставала против того, чтобы вас разбудить. Она пользовалась немалым влиянием. Если бы не она, вас бы, может быть, давно уже разбудили!.. Да, интересная была женщина.

Воронов опять задумался. Наконец, он поднял свою невольно опустившуюся голову и посмотрел рассеянно на чиновника.

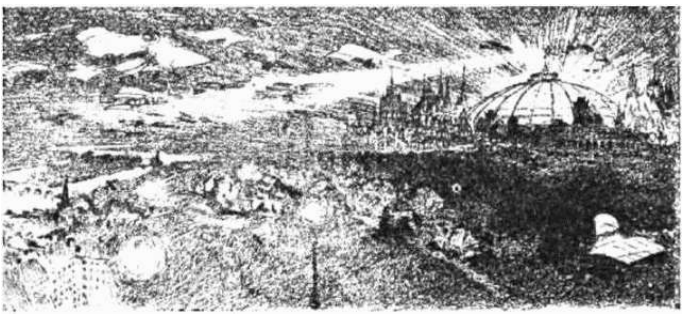
— Вы сказали, — промолвил он тихо, — что в настоящее время многие подвергают себя анабиозу, или, как вы называете, «био». Где же это делается? И сколько это… стоит?

— Помещений для «био» множество, — отвечал предупредительно чиновник. — Лучшие из них, где вы гарантированы, что с вами не произведут нечаянно супербиоза — то есть не заморозят насмерть, это — «Санкт-Петербургское Международное Общество для лечения болезней морозом» и одно, вроде бы бельгийское, анонимное под названием «Долгосрочное». Если можете заплатить двести рублей в год, ступайте в эти общества. Если же у вас мало средств и вы не боитесь риска, можете обратиться в любое «Био»; есть от ста рублей в год и даже, кажется, дешевле.

Воронов ничего не ответил и, простившись с чиновником, вышел на улицу.

Он удивился сравнительно незначительным переменам, происшедшим в городе за время его сна: дома выросли этажа на три; кроме автомобилей, электрических и тепловых омнибусов, двигались ещё какие-то странные площадки чуть не в пол-улицы шириной и порядочной длины; на них теснилась публика; извозчиков же не было видно совсем. Темп уличного движения

значительно ускорился, и это наиболее поразило Воронова при первом взгляде…



Воронов остановился, раздумывая, куда бы ему повернуть. Вдруг вдоль улицы на высоте второго этажа мимо него медленно проползла по проволоке огромная реклама на холсте. Он машинально взглянул на безобразное полотнище и прочёл:

— Био! Вне конкуренции. Замораживание абсолютно безопасное! Предварительный наркоз с приятными грёзами!

Цены умеренные. Гороховая, 122, «Биосон».

Воронов с презрением отвернулся от полотна и побрёл знакомиться с новой эпохой…



Погибшее открытие

отрывки из дневника А. Числова



От редактора: вместо предисловия

Нельзя, конечно, не пожалеть, что человечество лишилось плодов замечательного открытия графа Трезора. Нельзя не поставить и в укор приват-доценту Числову его непростительного легкомыслия, с которым он упустил буквально из своих рук это открытие. Но в извинение последнему можно привести то соображение, что он, как математик, вообще несколько рассеян и

односторонен. Кроме того, ведь никто же другой палец о палец не ударил для того, чтобы это открытие сохранилось для человечества.

Конечно, никто так близко не стоял к безвременно погибшему Никите Ивановичу Серебренникову, как Числов, и никто не знал о сделанном им поразительном открытии; но, с другой стороны, как же никому в голову не пришла простая догадка о том, что дело тут непростое? Как никто не заинтересовался странной и, — прямо скажу, — таинственной личностью покойного Никиты Ивановича? Ведь следует, все-таки, иметь в виду, что первое появление его на Невском 26-го октября прошлого года вызвало заметки почти во всех газетах; а ведь сколько же народу видело его там своими собственными глазами! Если, кроме юмористической стороны, никто при этом ничего не сумел уловить, то едва ли это можно отнести к чести петербургской публики. Дальше: когда Серебреников жил у Числова, ведь он не таился, не скрывался — его видели и с ним разговаривали, как доподлинно известно, несколько интеллигентных лиц. Как курьёз, могу сообщить, что с Никитой Ивановичем лично были знакомы два профессора: один — истории, другой — химии, и их взоры покоились на нём не с большим интере-

сом, чем на дыме от папироски! Из уважения к их званию, я не назову здесь их фамилий… Наконец, нельзя не заметить, что если один Числов знал о погибшем ныне открытии, то он один и заслужил это, поддержав совершенно бескорыстно Никиту Ивановича в тяжелую для него минуту. Да, конечно, он упустил открытие, которое могло совершить целый переворот в науке и коренным образом изменить человеческие отношения. Но он и глубоко перестрадал свою ошибку. Когда он доставил нам приводимые ниже записки, касающиеся непродолжительного пребывания у него Никиты Ивановича Серебреникова, он, отдавая их, заплакал и сказал, ударяя себя в грудь:

— Дурак! Разиня!

И, помолчав немного, прибавил:

— Нет прощения идиоту!

Не будем все же слишком строги в своём суждении о нём.

I

Часов около шести вечера я шёл по Невскому по направлению к Николаевскому вокзалу[10] и

[10] Примечания: 10
Ныне Московский вокзал северной столицы.

обдумывал один из вариантов доказательства теоремы Фермата (я обычно занимаюсь этой теоремой на прогулке или перед сном в постели, так как она служит мне отдыхом, успокаивая мои нервы). Вдруг на повороте от Литейного я увидел странную процессию: впереди быстро шёл господин лет сорока в цилиндре. Господин пребывал в очень возбуждённом состоянии: он размахивал тростью, которую держал в одной руке, а в другой нёс небольшой сундучок. Непосредственно за ним двигались три жирных и довольно противных субъекта под руку, пошатываясь и надрываясь от хохота. Шествие замыкала довольно порядочная толпа ротозеев, а кругом бегали, кричали и кривлялись мальчишки.



Я успел мельком заметить в толпе продавца газет, который с дикими возгласами махал ве-

черним номером перед самым носом господина, шедшего, так сказать, во главе процессии, и какую-то даму в съехавшей на бок шляпке, кричавшую истерическим голосом:

— Это сумасшедший! Его надо связать! В полицию его!

Больше я ничего не успел рассмотреть, так как почти без паузы произошло следующее совершенно неожиданное происшествие. Господин в цилиндре, не обращая никакого внимания на сопровождающую его свиту, двинулся прямо через Невский, на котором шло обычное в это время шумное движение.

Нет места опаснее для перехода через улицу, чем угол Невского и Литейного!

Результат сейчас же сказался: через секунду господин оказался под автомобилем. В числе других я бросился к месту печального случая. В один миг громадная толпа Невского, в которой потонули три жирных субъекта и дама, и мальчишка с газетами, окружила городового, который поднимал пострадавшего.

Я протискался вперёд. Громко спорили о чем-то шофёр, господин в богатой шубе, городовой и бритый тип в котелке. Пострадавший стоял на ногах. Он, видимо, был только ушиблен и оглушён, но

не ранен. Затем все спорящие обратились к нему и заговорили разом. Раздались восклицания:

— Протокол! Под суд!

— Неправда, шофёр не виноват!

— Под суд! Пора прекратить эти безобразия!

Тип в котелке, представлявший, несомненно, сторону обвинения, схватил упавшего незнакомца за борт сюртука и кричал ему в самое ухо:

— Вы только скажите городовому свой адрес! Вы только адрес скажите!

Незнакомец, подавленный и смущённый, оглянулся кругом.

— Адрес? — проговорил он. — Но у меня нет адреса…

В его тоне было что-то такое беспомощное и жалкое, что все сразу замолчали. Прошло, по крайней мере, полминуты, пока городовой догадался спросить:

— Вы приезжий?

— Д-да… приезжий.

— Где остановились?

— Ещё… нигде.

Незнакомцу в это время подали его шляпу и странный, окованный железом сундучок, откатившийся в сторону при его падении. Сундучок был, по-видимому, очень тяжёл, но незнакомец,

машинально протянув руку, взял его, как перышко. Кто-то щёлкнул языком:

— Вот так силач!

Между тем городовой продолжал допрос: не ушибся ли он? Не ранен ли? Не желает ли в больницу? Незнакомец на все вопросы отвечал отрицательно. Тогда городовой не особенно решительно заговорил о протоколе (он, по-видимому, был на стороне автомобилистов, а господин в шубе давно уже совал ему в руки свою визитную карточку). Но незнакомец сделал изящное и решительное движение рукой (вообще в его манерах, несмотря на смущение и рассеянность, проглядывали изящество и благородство).

— Но я никого и ни в чём не обвиняю, — сказал он. — Я сам виноват в своей рассеянности.

Господин в котелке разочарованно вздохнул.

— Они так быстро ездят, так быстро…

Тут котелок воскликнул:

— Ага, он обвиняет их в быстрой езде!

— Нет, — возразил незнакомец, — но я не привык ещё… к такой езде, в этом моя вина.

— Быстрая езда! — презрительно фыркнул шофёр, усаживаясь на место. — И двадцати вёрст в час не шли!

Толпа, потерявшая надежду на скандал, начала

редеть. Владелец автомобиля всучил, наконец, свою карточку городовому и, ворча под нос на всяких «пропойц» и «проходимцев», уселся в автомобиль. Машина запыхтела и двинулась.

Через минуту незнакомец со своим сундучком и я остались одни. Так как он продолжал рассеянно озираться, и ему грозила опасность снова попасть под какой-нибудь экипаж, я осторожно взял его под руку и отвел на панель. Он с благодарностью посмотрел на меня и затем спросил со скромным достоинством:

— Милостивый государь мой, не знаете ли вы какой-нибудь приличной гостиницы, где бы я мог остановиться?

— Гостиницы? Какой: подороже или подешевле? Затем… есть ли у вас паспорт? — прибавил я с сомнением.

Он с испугом посмотрел на меня.

— Паспорт?

Затем усмехнулся горько, и болезненно.

— Боюсь, что мой паспорт… не годится, — отвечал он.

Вот тут-то и пришла мне в голову странная мысль, которая впоследствии меня самого немало изумляла. Я решил пригласить незнакомца к себе. Надо сказать, что я занимал квартирку

на окраине Васильевского острова с отдельным ходом; прислуги у меня не было, так что вопрос о паспорте меня мало беспокоил.

Но почему мне не пришла в голову мысль, что предо мной просто какой-нибудь проходимец, преступник или сумасшедший — я положительно не знаю. Вероятнее всего, что вид этого субъекта с изящными манерами и благородством на лице, попавшего в неприятное положение, вызвал во мне сострадание. Так или иначе, но я твёрдо высказал незнакомцу свое приглашение. Он с жаром и многословно поблагодарил меня и за приглашение, и за «покровительство» и принял предложение. Затем прибавил с достоинством:

— Относительно денежных средств моих, милостивый государь, прошу вас не сомневаться, а равно и относительно моего происхождения. Говорю вам о сём, видя и в вас со своей стороны человека высокопоставленного. Хотя я сейчас и попал в беду, но, смею вас заверить, человек я не бедный и благородного звания.

Удивляясь витиеватости его речи, я предложил ему сесть на извозчика, и мы покатили на Васильевский остров.

II

Для меня сейчас многое в моем собственном поведении в тот вечер кажется нелогичным. Не говоря уже о странности моего приглашения, не могу понять, как костюм гостя не навёл меня тогда же на правильную догадку. Я объясняю свою недогадливость исключительно теоремой Ферма́та. Действительно, перед самой роковой встречей с незнакомцем, я как нарочно напал на очень интересную формулу для выражения разности равных степеней двух величин. Стремление моего мозга поскорее вернуться к этой формуле объясняет невнимание к дальнейшим словам, поступкам и костюму моего спутника.

А костюм этот был очень интересен. На госте были высокие сапоги с отворотами, узкие брюки и сюртук с высокой талией и очень широкими фалдами. Года два тому назад такие сюртуки были у нас в моде и назывались, кажется, «cloche», но такую утрировку этой моды я видел в первый раз! Затем у него был весьма высокий воротничок, обмотанный чем-то вроде белого кашне. Галстук же своей игривостью напоминал дамские кружевные галстуки. Всего занятнее была его шляпа:

хотя я назвал ее цилиндром, но правильнее было бы назвать её усечённым конусом: при этом узкий конец конуса был повернут вниз, так что если бы мысленно продолжить этот конус, когда шляпа находилась на голове, то вершина его пришлась бы примерно под подбородком.

Таков был костюм моего незнакомца; прибавлю, что всё это было грязно, запылено, изорвано и помято до последней степени.

На извозчике мой незнакомец вёл себя, насколько я успел заметить, весьма странно. Он во всё время нашей поездки издавал возгласы изумления и восторга по поводу самых обычных и неинтересных предметов. По-видимому, это был самый глухой провинциал. По крайней мере, его занимали и восхищали даже такие вещи, как пяти- и шестиэтажные дома, трамваи, автомобили, деревянная мостовая, электрические фонари, форма солдат, чиновников и прочее.

Он ужасно надоел мне своими восклицаниями, тем более что формула равных степеней, насколько я мог проследить её мысленно, давала поразительно интересные результаты.

Временами восклицания его принимали характер какой-то нелепой сентиментальности; так он с нежностью и восторгом протянул руки к памят-

нику Петра Великого и кричал какую-то чепуху, обращаясь на «ты» и в самом напыщенном тоне. Раньше, перед Казанским собором, он остановил извозчика и, пренебрегая опасностью снова попасть под автомобиль, побежал в скверик; став там на колени, он начал молиться с экспансивностью, едва ли удобной для Невского проспекта.

Зато Исаакиевский собор привёл его просто в трепет; он издавал свои восклицания по поводу его архитектуры и поворачивался к нему на извозчике всё время, пока мы не скрылись за углом набережной. Сильное впечатление на него произвела также и Нева — особенно, пароходы на ней.

Желая быть вежливым и хоть несколько поддержать разговор, я спросил его:

— Вы, конечно, в первый раз в Петербурге?

Он посмотрел на меня с удивлением:

— В первый раз?.. Но я же жил здесь!

Наступила моя очередь удивляться.

— Вероятно, очень давно?

— Давно ли? — спросил он, и вдруг морщины горького страдания пролегли возле углов его рта. — Давно ли? — переспросил он. — О, давно! Очень давно!

И я имел глупость даже и в эту минуту ничего не понять и ни о чём не догадаться!

Моя квартира состоит из четырёх комнат, из которых одна стояла совсем пустая. Едва мы приехали, как я поспешил провести его в эту свободную комнату, предложил ему диван, постельное бельё, лампу, книги — и пожелал спокойной ночи. Сам же я уселся в кабинете за проверку своих выкладок. Я заработался до позднего вечера и, когда пошел спать, совсем забыл о своём госте.

III

Вы, может быть, знаете неприятное ощущение проснуться от того, что кто-нибудь сидит у вас в ногах и смотрит на вас?

Так я проснулся на следующее утро и увидел своего вчерашнего гостя, непринужденно развалившегося в кресле у моей постели и рассматривающего меня в лорнет! Я присел на постели и протёр глаза, — до того нелепой показалась мне его фигура.

— Что на вас за костюм? — спросил я, забывая всякий долг гостеприимства и вежливости.

Незнакомец слегка покраснел.

— Я сам хотел извиниться перед вами, милостивый государь мой, извините, имени, отчества

вашего я не знаю, — произнёс он. — Костюм мой, действительно, порядочно повреждён и вчерашним случаем с этим… самокатом, да и предшествующими немногими, но тяжёлыми днями испытаний. Кроме сего, он, по-видимому, несколько вышел из моды… Между тем человек я вовсе не бедный. — Он достал из кармана большой кошёлек старинной работы и высыпал на ладонь порядочную горсть золотых монет. — Я мог бы одеться получше и помоднее. По всем сим причинам, хотел я просить вас, милостивый государь, рекомендовать мне вашего, уверен в том, отменнейшего портного, дабы он…

— Послушайте, да кто вы такой? — воскликнул я в недоумении, и в первый раз мелькнула у меня мысль о том, что это сумасшедший, и об ответственности, какая лежит на мне за то, что я его укрываю у себя. — Откуда вы взялись?

Незнакомец сразу изменился в лице. Опять те же болезненно скорбные складки появились у углов его рта. Он поник головой.

— Кто я?.. Может быть, вы думаете, что я сумасшедший или пройдоха, ворвавшийся к вам, пользуясь сочувствием вашим к воображаемым страданиям моим? — сказал он тихим голосом и с таким выражением, что мне стало стыдно

моих подозрений. — О, нет, не думайте сего! Перед вами, может быть, несчастнейший изо всех смертных. Я умоляю вас, не гоните меня! Мне некуда пойти. Я один в целом мире… Ваше участие и доброта для меня первыми были… о, за сколько лет! Посему поймёте вы, быть может, что трудно мне с первых слов вполне откровенно изложить вам всю злосчастную историю жизни моей. Ах, милостивый государь мой, сколь плачевна судьба моя, этому трудно поверить…

Он заплакал. Я вскочил, пожал ему руку и сказал, что ни о чём его не расспрашиваю и буду ждать, когда он сам поведает мне свою историю. Он с жаром поблагодарил меня. После этого мы представились друг другу.

— Никита Иванович Серебреников, — произнёс не без гордости мой гость, — столбовой дворянин… О, многоуважаемый мой Александр Николаевич! Смею вас уверить, не придётся вам раскаиваться в доброте своей. Выкладки, замеченные мною у вас на столе, доказывают, что вы учёный, а для учёного могу я полезен быть некоторыми сведениями, кои у меня имеются, если только… наука за последние годы в стремительности своей моих скромных познаний не обогнала.

Я повёл его в магазин готового платья и к парикмахеру, где он привёл в порядок свою наружность. Когда он расплачивался, кассир подозрительно подбросил его монеты на мраморную подставку.

— Скажите, какие старинные монеты! — сказал он, но, всё же, принял их.

Затем мой гость, выразив уверенность, что я человек занятой, попросил меня не стесняться им и дать ему побольше книг. Я всё же, видя, как он плохо лавирует на улице между экипажами, предпочёл довести его сам до дому и там оставил его, отдав ему ключ от библиотеки, а сам, действительно, поспешил в университет на лекции.



По возвращении я застал своего гостя за книгами. Он был буквально обложен ими. Но выбор их удивил меня немало. Пренебрегши моей библиотекой, которою я имею право гордиться, он предпочёл ей кучу старых гимназических и университетских учебников, сложенных у меня в углу. Возле него были: физика Краевича, учебники элементарной химии, географии и космографии, курс политической экономии Морева, какой-то дешёвенький «энциклопедический»

словарь и т. п. Впрочем, отобрал он кое-что и из беллетристики, именно Пушкина, Толстого и Гоголя. В руках он держал учебник Иловайского.

Глаза его блестели, и весь он был возбуждён.

— О, сколь всё это восхитительно и мудро! — закричал он, увидев меня и потрясая Иловайским. — Сколь великие и неожиданные шаги сделаны гением человечества! И как должны мы гордиться и благодарить Провидение за его мудрость и благосклонность!

Затем он засыпал меня целым рядом вопросов, из которых я убедился, что он, будучи человеком не только не глупым, но даже и с развитым умом, был вместе с тем невероятно необразован и не осведомлён о самых простых вещах. Как ни старался он хитрить со мной, мне показалось, что он впервые слышит от меня об аэропланах, двигателях внутреннего сгорания, о радии, Х-лучах и т. п. Он не знал даже лучших произведений Горького, Андреева… даже Чехова и Тургенева! И всё же…

Всё же, если бы кто-нибудь спросил меня коротко и определённо тогда же, во время этого первого разговора, принадлежит ли он к классу образованных людей, я, не колеблясь, ответил бы — да. Но, конечно, представить доказательства этому мне было бы нелегко.

Впрочем, кто определит точно, что мы собственно понимаем под «образованным человеком»?

В конце разговора, однако, он мне дал некоторые доказательства того, что он, по крайней мере, человек мыслящий. Разговор наш коснулся того, насколько ускорился темп жизни благодаря изобретениям последних десятков лет в области передвижения и сношения людей.

— Выходит, что благодаря этому жизнь людей стала длиннее, — сказал он. — Ведь мера жизни суть переживания людей, а жизнь сама есть движение… Как вы, Александр Николаевич, разумеете относительно времени и пространства? Суть ли понятия сии, действительно, явления существующие, или не больше, как одно воображение человеческое, для удобства понимания нами мира, нам Провидением преподанное?

Его вопрос невольно напомнил мне Канта, и я не без сомнения и колебания спросил его, читал ли он кёнигсбергского философа. Он слегка запнулся и ответил грустно:

— Образование моё остановилось на некоторой ступени… благодаря причинам, не от меня зависевшим. Вы видите, что я не читал ни сочинений Канта, ни многих других достопримечательных сочинений. Но я надеюсь при помощи вашей

пополнить сии пробелы моего образования. Я также хотел бы многое и посмотреть, например, аэропланы. Помогите мне в этом…

Видя его расстроенное лицо, я, конечно, обещал ему, а он со своей стороны подтвердил своё обещание рассказать мне чрез несколько дней историю своей жизни.



На следующий день мы бродили с ним по Петербургу, и я должен был бы обладать прямо энциклопедическими познаниями для того, чтобы удовлетворить его любопытству. Он интересовался буквально всем: кладкой рельс при стройке домов, машиной финляндского пароходика, эстампами и рисунками в окнах магазинов, электрическими трамваями, архитектурой зданий, магазином кустарных изделий, артиллерией, Государственной Думой, фасоном брюк, устройством земств, деятельностью Крестьянского банка и т. д.

Кинематограф, в который мы зашли, привёл его буквально в восторг и изумление. Когда мы вышли из него, он потёр ладонями виски и воскликнул с энтузиазмом:

— Сколь поучительно зрелище! Как сие гени-

ально задумано и как чувствительно на полотне разыграно!.. Позвольте просить вас направиться домой, ибо зрелище сие до глубины души потрясло меня.

Дома Серебреников тоже не терял времени: он читал, а если я был дома, то забрасывал меня вопросами. Чтением его руководил я, но он вносил поправки. Некоторые книги он отвергал вовсе, как слишком трудные. Так как иногда это были довольно доступные издания, то мне пришлось на первое время предложить ему просто школьные учебники.

Так прошло три дня. Несмотря на то, что он отнимал у меня порядочно времени, он ничуть не тяготил меня. Наоборот, мне доставляло даже удовольствие беседовать с ним, так как мои рассказы возбуждали в нём неподдельный энтузиазм.

Он понемногу приспособлялся к петербургской жизни, научился не попадаться под трамваи и не выражать свои чувства на улице в излишне экспансивной форме, так что я решался отпускать его иногда и одного. Обедали мы с ним вместе в маленьком ресторанчике на Васильевском острове. Там, однажды, не обошлось без курьёза. Дело было в пятницу. Когда нам подали суп (помнится, какое-то мутное консоме), он вдруг с гневом

отодвинул тарелку и накинулся на лакея:

— Что ты нам подал, болван? Или ты не знаешь, какой сегодня день? — закричал он. — Слава Богу, ты имеешь дело с православными христианами, а не с мухомеданами какими-нибудь… Подай сейчас же уху!

Пришлось ему ждать ухи, и он с большим удивлением и даже, кажется, отвращением смотрел на то, как я ел мясо.

IV

Дня через три после его появления у меня он однажды вечером спросил, свободен ли я и хочу ли сейчас выслушать его историю. Я не был свободен, но он так заинтересовал меня, что я поспешил предложить ему кресло и приготовился слушать. Он был настроен особенно грустно и начал так:

— Помните вы тот костюм, ту… шляпу, в которых вы меня встретили впервые? Этот фасон платья носили прежде, он тоже считался модным когда-то. Не вспомните ли эпохи, когда носили такой цилиндр и такие… жабо?

Я ответил ему взглядом недоумения.

— Я помогу вам; было это в начале девятнадца-

того столетия. Не правда ли, сколь смешно это платье, попав в современную вам эпоху? О, над ним немало посмеялись в Петербурге! Представьте же себе, что вместе с платьем попал бы сейчас в Петербург и человек того времени. Во сколько раз он показался бы смешнее!

Слова его были странно выразительны, а глаза — полны горечи.

— Не бойтесь, я не сумасшедший! Я дам вам в этом позднее доказательство научное. Перед вами сидит человек с столь странной судьбой, какой не испытал, вероятно, никто до меня. Выслушайте же историю, которая поистине покажется вам сказкой или бредом безумного. Я родился в 1775 году.

Словно, не замечая моего изумления при этой дате, странный незнакомец продолжал:

— Отец мой, столбовой дворянин, был, к сожалению, беден. Это соединение бедности и благородного происхождения послужило источником всех моих бедствий, так как я не был приучен к труду, а средств без сего не имел. Пропуская всю историю моей жизни до 1809 года, сообщу вам, что в том году я жил в Петербурге и состоял на службе гражданской, где с появлением великого Сперанского многие ожидали крупных

и важных реформ для нашего отечества…

Он вздохнул и промолвил, похлопав рукой, по учебнику Иловайского.

— Отсюда я узнал, что реформы были прерваны посредине вместе с опалой великого человека. И конец царствования Благословенного Александра был омрачён реакцией и усилением ничтожнейшего Аракчеева. Такова превратность судеб! Даже и Наполеон, сей величайший из гениев, понёс должное. Изменив тем принципам свободы, равенства и братства, коим призван был служить, сам пал позорно на Святой Елене…

Для того чтобы понять, с каким изумлением, с каким бесконечным интересом смотрел я на этого человека, нужно представить себя на моём месте: видеть человека, современного Наполеону, который о его конце узнал из учебника Иловайского!

— Да, я понимаю изумление ваше, — сказал он с улыбкой, но грустно. — Теперь вы, может быть, поймете и моё состояние три дня тому назад: ведь это был мой первый день в двадцатом столетии! Впрочем, разрешите мне продолжать, — перебил он сам себя.

— Для лучшего устроения карьеры моей посоветовали мне сделаться братом масонской ложи:

там можно было встретиться с могущественнейшими мира сего… И я, презренный, единственно с сей целью, действительно, поступил туда! И сколь я был за это наказан!

В петербургской ложе в то время был некий брат, фамилия которого была граф Трезор. Он был таинственнейший из людей. В ложе пользовался он влиянием громадным и был несказанно богат. Познакомившись со мной, он подарил меня дружбой, которую в то время я высоко ценил. Он помог мне действительно в устройстве карьеры моей, и через него имел я случай даже лично быть представленным Сперанскому. Но, к сожалению, он на этом не остановился, а пригласил меня бывать к себе в дом. Сей граф был учёнейший муж нашего времени и великий философ. Если он вам не известен, то потому лишь, что все научные занятия свои и знания скрывал он в превеликой тайне. Но меня познакомил он с сей тайной, взяв клятву не открывать её никому. Будучи учёным весьма во многих науках, преимущество отдавал он занятиям алхимией и химией, а также философией.

В сей последней глубина взглядов его была поразительна. Вы припомните, вчера спрашивал вас я о времени и пространстве. Интересовало

меня, как наука смотрит на предмет сей в настоящее время. Вопрос о сём касается близко моей истории, и я изложу вам коротко, что разумел об этом граф Трезор. Он говорил, что не знаем мы мира таким, как он есть на самом деле, но лишь как свидетельствуют о нём чувства наши, как принимает их разум наш. А последние могут постигать мир лишь в пространстве и времени. Но существуют ли действительно пространство и время, — сего не знаем. Граф склонялся к тому, что их на самом деле нет, а есть только одно, что он называл: «энергия». Когда она в состоянии действующем, в движении, мы её воспринимаем во времени, а когда в покойном, то как тела, в пространстве… Я сам не философ, и потому трудно мне изъяснить вам вразумительно мысли графа Трезора.

— Продолжайте, прошу вас, — воскликнул я с интересом.

— Вы поняли? — удивился Серебреников. — А я так весьма плохо усваивал сию метафизику… Далее Трезор говаривал, что если бы был способ остановить всякое движение, то остановилось бы и время. Таковы были главнейшие его взгляды на время и пространство… Он также говорил, что всякий предмет, и человек в том числе, из

мельчайших частиц состоит, которые суть не частицы, а как бы центры сил.

Рядом с философией занимался он, как вам говорил я, алхимией и искал философского камня. И вот однажды он сообщил мне, что в поисках за золотом он, работая над раствором одного известного только ему металла в азотной кислоте, нашёл новое простое тело, коему дал имя Трезорий. Сей «трезорий» имел примечательнейшие свойства, а именно: он исчезал никуда. Если его взять в закрытой колбе, например, один лот, отвесив количество сие весьма тщательно, то через некоторое время весила колба меньше. Единственный способ сохранить это вещество без улетучивания был: поместить в бутыль из того металла, из коего добыл граф «трезорий». Куда же девалось таинственное сие вещество? По мнению графа, уходило оно из энергии покойной в энергию, действующую. И при сём переставало материей быть, становясь силой. Но не это ещё самое примечательное сего вещества свойство, а то, что оно могло остановить всякое движение вокруг себя, не портя этим, однако, ничуть предметов. Изрядно поработав в лаборатории над сим веществом, сообщил мне граф затем, что теория его об остановке времени себе подтверждение во

вновь открытом веществе находит, и, наконец, предложил однажды испытать чудодейственное вещество. «Трезорий» оказался белой жидкостью, довольно заметной. Приближая её к различным частям тела, можно было вызвать временный паралич сих частей. Она тушила своей близостью огонь, останавливала часы заведённые. Едва же её уносили, как всё восстанавливалось по-прежнему. Поднося её к мозгу, человек как бы терял сознание, незаметно для него самого. Можно было просидеть час с компрессом из сей жидкости на лбу, и час казался мгновением. Таков был волшебный «трезорий»!

Граф предложил мне сделать более сложный опыт с «Трезорием», пробыв год целый в ящике с полыми стенками, в которые налит был бы «Трезорий». Покорно поблагодарил я, но отказался, сославшись на службу. Граф усмехнулся (о, зачем я тогда не понял сей адской усмешки!), но ничего не сказал.

Однажды он предложил мне поехать к нему в имение на охоту. Было сие летом. Я спросил, где его имение. Оказалось, что оно в Финляндии. Я заинтересовался, ибо недавно присоединённая страна сия казалась мне, как и всем, чем-то незнакомым и весьма чуждым. Он пояснил мне,

что сам он — швед по происхождению, почему и имение его в том крае, и весьма настаивал на приглашении. Пришлось, чтобы не раздражать сего влиятельного человека, принять его приглашение.

Не стану описывать путешествие наше, длившееся на почтовых три дня, но скажу, что оно и послужило моей гибелью.

Когда мы приехали в дом его, ночью он напал на меня с помощниками и, связав, снёс на берег озера.

Здесь, между пустынными скалами, нашёл он одну скалу, нависшую над водой, но внутри пустую, попасть в которую можно было только снизу, нырнув в воду. В этой скале, в пещере, был у него заранее поставлен ящик, наполненный «трезорием». Он впихнул меня в ящик и сказал:

— Вот вам свечка и спички. Вот ящик, в котором найдёте вы состояние, чтобы прожить безбедно. Когда вы отсюда выйдете, не знаю. Во всяком случае, мы с вами никогда больше не увидимся. Желаю вам счастья.

Затем щёлкнула крышка ящика, и я упал навзничь. Меня охватил ужас. «Трезорий», прежде всего, подействовал на ноги, так как они ближе всего к нему находились. Затем наступил пара-

лич рук, языка…

Мне показалось, что я лежал не более полминуты, когда почувствовал, что ко мне возвращается возможность управлять органами своими. Попробовал я шевельнуть рукой, ногой. О, чудо! Хотя и плохо, но они действовали. С каждой секундой ко мне прибывали силы. «Трезорий», по-видимому, действовать перестал. Я поспешил зажечь свечку и прежде всего, посмотрел на брегет свой: он шёл и показывал четверть второго; нападение на меня было сделано в половине первого; немало времени прошло, пока дотащили меня до озера и втолкнули в ящик. Следственно, мог я быть в ящике не более нескольких минут.

Затем я осмотрелся. Ящик, в коем находился я, был закрыт крышкой, открыть которую труда не представляло, ибо она не имела затвора. Но я провозился с крышкой почти час времени. Оказалось, что была она весьма заржавлена; меня только удивило, как с ней легко справлялся граф, который был слабее меня несравненно.

Затем нырнул я в воду, не забыв прихватить с собой ящичек, и выбрался из пещеры тем же способом, как и попал в неё. Опять удивило меня, что вода была весьма холодна в то время, как несколько минут назад она показалась мне со-

всем тёплой.

Я высушил по возможности платье своё и прежде всего, ознакомился с содержимым ящика. В нём оказалось целое богатство, состоявшее из золотых монет и драгоценных камней. Кроме того, была в нём бутылка, сделанная из незнакомого металла с жидкостью. Раскупорив её, я убедился, что это был «трезорий». С ящиком под мышкой отправился я в путь, сам не зная куда, по незнакомой стране.

Пришлось мне идти не очень долго, пока не повстречал я одного чухну на тележке. Я показал ему золотую монету и сказал:

— В Петербург! На почтовую станцию. Понимаешь? В Петербург!

Помню, что при этом у меня мелькнула мысль: «Как удивятся сослуживцы мои, когда меня увидят в Петербурге ранее конца моего отпуска».

Чухонец меня не сразу понял. Но вдруг закивал головой и сказал:

— Понимай! Станция! Понимай!

Я обрадовался, что натолкнулся на такого, что знал хоть одно русское слово, и полез на тележку. Тележка была очень удобная, дорога неблизкая, ночь тёмная и не теплая, и я задремал.

Каково же было изумление моё, когда я проснул-

ся! Проклятый чухонец подвёз меня к какому-то большому деревянному зданию, вовсе не похожему на почтовую станцию, которую накануне я проезжал. Пришлось выйти здесь, так как этот дом напоминал хоть отдалённо станцию, а меня никто кругом, ни сам возница не понимали. Я прошёл через станцию, ища, кому бы заказать лошадей, и вышел на большую, длинную крытую веранду. По ту сторону её тянулись на земле штук шесть каких-то длинных и узких железных полос. Полоски сии уходили вдаль в обе стороны, насколько я мог их видеть.

Недоумевая по поводу странных полос сих, прошелся я по веранде, как вдруг услышал за спиной странный шум, который быстро усиливался. Оглянувшись, обомлел я от ужаса: прямо на меня неслось что-то чудовищное, огромная, длинная адская машина, или какое-то колоссальное трёхглазое чудовище. Я притаился к стене; чудовище с дьявольским шумом и грохотом пронеслось мимо меня и остановилось около веранды. Когда я поднял глаза, то увидел, что передо мной стоит ряд огромных, богато убранных и ярко освещённых внутри карет. Даже и тут истина ещё не открылась глазам моим!

«Финляндия сделала какое-то колоссальное

открытие», — промелькнуло в мозге моем, ещё не очнувшемся от пережитых впечатлений.

Я стоял, прислонясь к стенке, когда ко мне подошел возница мой и человек с голубой фуражкой на голове.

— Pietari? Petersburg? — спросил меня человек в фуражке, и я ответил утвердительно.

В это время прозвонил где-то колокол заунывно три раза.

Человек в фуражке и возница подхватили меня под руки и потащили к каретам. Я тупо смотрел на них: мне вспомнился граф Трезор… Я решил, что мое бегство открыто, и сообщники проклятого графа схватили меня. В отчаянии решил я не сопротивляться.

Меня подвели к одной из карет и довольно вежливо толкнули к ней. Я поднялся на небольшой балкончик кареты и вошёл. Карета тотчас же дрогнула, шевельнулась и покатилась вперёд. Я всё стоял и смотрел. Карета неслась всё быстрее и быстрее, производя шум столь оглушительный, что казалось, у меня треснет череп. Кроме сего, мне было страшно холодно. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Опять передо мной стоял человек в форменной фуражке и требовательным голосом кричал что-то по-фински. Я вспомнил о

золоте своём и решил попробовать от него откупиться. Я вынул горсть монет и протянул ему их с умоляющим видом.

Это оказался довольно порядочный человек. Он взял только одну монету и даже дал мне немало серебряных денег сдачи. Кроме сего, он сунул мне в руки какую-то бумажку, которую я потом, конечно, выбросил, и открыл внутреннюю дверь кареты, как бы приглашая туда.

Я вошёл.

Там уже сидело и дремало несколько человек. Было несколько пустых мягких диванов.

С робостью сел я на один из них. Человек в фуражке одобрительно покивал головой.

Наши кареты ночью останавливались. На некоторых остановках в нашу карету входили новые пассажиры.

Так время шло, и было уже около трёх часов дня, когда на одной остановке, где кто-то закричал: «Териоки», вошло много народу. Все толкались, кричали, лезли друг на друга. Послышалась русская речь. Трое толстяков кинулись к тому дивану, где сидел я, протолкнули меня к самому окошку и заговорили между собой…

Один из толстяков вынул из кармана ведомости и, развернув, начал читать их. Я посмотрел на

ведомости и удивился; то была незнакомая мне русская газета, какое-то «Новое Время». Я бросил случайно взгляд на число и месяц ведомостей и уронил от страха из рук палку. На ведомости было напечатано: «26 октября 1913 года»!

Ужасная догадка, как молния, пронизала мне мозг: я провёл в ящике пещеры не несколько минут, а сто лет! Но сие показалось мне столь нелепым, что я громко захохотал, к удивлению и негодованию толстяков. Я купил у проходившего газетчика номер какой-то другой газеты и с жадностью углубился в чтение её. Но, о, ужас! Я ничего не понимал из читаемого, хотя было написано по-русски. Наконец, дочитался я до такой фразы: «Эта реформа не могла бы показаться чересчур смелой, даже сто лет тому назад, когда Сперанский…» и у меня снова помутилось в глазах, и я машинально бросил взгляд на число и месяц газеты; там стояло так же 26 октября 1913 г.

Тогда только упала завеса с глаз моих, и я окончательно понял ужасную действительность! О! Как мне было горько! Сколь бурным потоком слёзы полились из глаз моих! Я, кажется, зарыдал, не обращая внимания на возмущение и смех соседей.

Как ужасно! Очевидно, я пережил всех моих современников. Где мои сослуживцы, мои друзья и покровители? Где коварный граф? Вероятно, и кости их уже истлели в земле. Я плакал, молился, стонал!

Затем стал я думать. Как же всё сие могло произойти? Как мог я не заметить столь огромный промежуток времени? Тогда я вспомнил страшные свойства «Трезория». Бесчувственное состояние, им производимое, незаметно для человека, ему подвергшегося.

Но брегет? Очевидно, он стоял сто лет и пошёл, едва действие «Трезория» прекратилось.

Но куда же делся, наконец, сам «трезорий»?

Он в силу своего свойства постепенно улетучивался, переходил в действительную энергию, пока весь не исчез.

Но почему он улетучивался так медленно, целых сто лет?

И этому было объяснение: он помещался в футляре из металла, который сохранял его, и улетучивался, очевидно, лишь через какое-нибудь отверстие, случайно или умышленно оставленное ненавистным Трезором.

Сомнений быть не могло! Я пробыл в бесчувственном состоянии сто лет.

Странные кареты, влекомые машиной по железным полосам, и костюмы окружающих, смешные и нелепые, — они говорили лучше всяких доказательств.

Я лишь смутно помню, что со мной было дальше. Как сквозь сон, мерещится мне какое-то огромное здание, куда мы приехали.

Мы вышли из кареты и шли какими-то улицами. Сначала я не думал даже, что это Петербург, но вид Невы и Адмиралтейского шпица убедил меня в сём. Я был в странном состоянии возбуждения и полупотери сознания, как пьяный. Меня толкали, мне что-то говорили. Но я тупо относился ко всему. Помнятся мне гигантские здания, огромные магазины, какие-то бешено несущиеся и ярко освещённые кареты без лошадей…

Дальше… дальше меня задавили было, и я наткнулся на вас и увидел, наконец, первого доброго и действительного просвещённого человека в XX-ом столетии…

V

Так закончил свой невероятный рассказ Никита Иванович Серебреников. Он сидел передо мной — жалкий сгорбленный и подавленный своей

ужасной судьбой. Я в искреннем порыве участия протянул ему обе руки и горячо пожал их.

— Дорогой Никита Иванович, — проговорил я. — Не унывайте. Конечно, история поразительная, и жизнь ваша трагична и наводит на глубокие размышления, но не стоит приходить в отчаяние. Бог даст… заживёте и в двадцатом столетии не хуже девятнадцатого.

Он поднял на меня свои печальные глаза и пожал мне руки.

— Жить мне сейчас трудно, ужасно трудно! — сказал он печально. — Всякое знание дается мне теперь с величайшим трудом. В то время как вы владеете им, не замечая его. Может быть лучшее, что я мог сделать, — это не просыпаться вовсе. Впрочем… скажите, поверили ли вы моей истории, Александр Николаевич?

— Поверил, — сказал я, но, видимо, что-то всё-таки помимо моей воли дрогнуло в моем голосе.

— Пойдемте, я вам покажу сейчас «трезорий», — сказал он решительно.

Мы поднялись и пошли в его комнату. Там он открыл свой сундучок и достал из него странной формы бутылку. Мельком я ещё увидел в сундучке золото и драгоценные камни.

Серебреников откупорил бутылку и налил на

стол немного жидкости.

Муха, ползшая мимо, вдруг остановилась и точно застыла. Я сбросил её со стола, и она ожила на лету и с жужжанием улетела.

Он предложил мне поднести палец к жидкости, и палец застыл, точно парализованный, хотя ни малейшего неприятного чувства при этом не было! Только, когда я отнял его и тронул рукой, он был холоден, как лёд.

Мы сделали еще два опыта: остановили и пустили в ход мои карманные часы, и — что всего поразительнее, — остановили текущую воду! Вода из перевернутого стакана повисла, точно застывшая стеклянная масса. Но в это время весь «трезорий» улетучился, и вода быстро полилась, вымочив мне жилет и брюки.

— Поразительно! — воскликнул я. — Это перевернёт всю науку! Никита Иванович, вы мне дадите хоть немного этой жидкости для анализа?

— А вы верите моему рассказу… теперь? — ответил он вопросом на вопрос.

Я горячо заверил его.

— Конечно, дам с удовольствием, сколько хотите! — сказал он.

Было уже два часа ночи, и мы были сильно

утомлены. Поэтому решено было опыт над «трезорием» отложить на завтра. С этим мы расстались и пошли спать…

Ах, зачем всё так сложилось?

Зачем тогда же я не взял у Никиты Ивановича его бутылку?

VI

На следующий день у Никиты Ивановича с утра сильно разболелись зубы. Как я ни желал поскорее приступить к опытам над Трезорием, но пришлось мне вести его к зубному врачу.

Не буду рассказывать, с каким восторгом и благоговением отнёсся Никита Иванович к самому зубному врачу и к бормашине, и к кокаину…

Когда мы возвращались домой, Серебреников вдруг заметил на противоположной стороне живую рекламу, — ряд людей нёсших буквы: К, И, Н, Е, М и т. д.

Это привело его в такую весёлость, что он, не слушая меня, бросился на другую сторону. В это время из-за угла выскочил трамвай. Один момент… и он был под ним!



Я бросился к несчастному… Голова почти была отрезана от туловища тяжёлым вагоном. Он даже не вскрикнул перед смертью.

Так окончил свою жизнь этот человек, проживший 137 лет…

Начал собираться народ, показалась полиция. Я решил скрыться. Помочь было уже невозможно, а неприятности я мог получить немалые. Незаметно я смешался с толпой и поспешил домой.

По пути я с грустью вспоминал беднягу, к которому успел привязаться за четыре дня нашей совместной жизни.

У меня было только одно утешение. Если умер Никита Иванович, то «трезорий» был жив!

Придя домой, я бросился к сундучку Никиты Ивановича; я схватил бутылку и хотел бежать в университет в лабораторию. Второпях я не заметил, что бутылка не очень хорошо закупорена. Пробка от толчка соскочила, и несколько капель жидкости попало мне на руку. Пальцы мои бессильно разжались, и не успел я подхватить бутылку, как она была уже на полу. Драгоценная жидкость быстро разливалась по полу. Я хотел броситься подбирать, спасать то, что ещё можно было спасти: ведь для анализа требовалось так немного! Но вдруг колени мои задрожали, и я

упал на пол.

Я не мог шевельнуть ни одним членом, не мог крикнуть, а жидкость быстро улетучивалась. Всё продолжалось не более получаса, — которые мне показались мгновеньем!

Когда я поднялся на ноги, ни в бутылке, ни на полу не было уже ни одного атома белой жидкости.

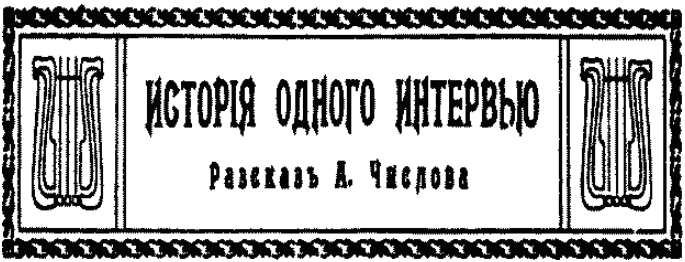
Я в отчаянии заплакал! Но и слёзы не могли помочь: «трезорий» навсегда погиб для мира…

Быть может, и к лучшему?

Кто знает, что сталось бы, если б люди получили возможность засыпать на сто лет? Не привело ли бы это к повальному бегству всех более чувствительных к страданиям жизни людей — из современной жизни в будущее? Не вызвало ли бы это новых несчастий и катастроф? Не разрушило ли бы семей и других уз, соединяющих людей? Не лучше ли, в самом деле, что «трезорий» погиб?

Последним моим действием, имеющим касательство к описанной мной истории, была анонимная отсылка одному благотворительному обществу ящика с золотом и бриллиантами. Впрочем, если вы читаете газеты, то, вероятно, уже знаете об этом нашумевшем пожертвовании.

История одного интервью



От уважаемой редакции журнала «Мир и человечество» я получил почётное поручение интервьюировать посетившего проездом Петербург английского писателя У., пользующегося всемирной известностью.

Выбрив первым делом начисто усы и вообще «англизировав» свою наружность, поскольку это

оказалось возможным — я решительным шагом вышел было из дому, направляясь к У., когда вспомнил, что не знаю его адреса. Пришлось прибегнуть к телефону. Спросить редакцию было проще всего, но хорош интервьюер, который не может сам узнать адрес интервьюируемого лица! Я обратился сначала в английское посольство, затем к консулу, потом в две-три гостиницы и, наконец, соединившись с *«English House»*, напал на следы великого писателя. В это самое время проклятый телефон начал шуметь и выстукивать отчаянную дробь в мое левое ухо.

Но разве молодого журналиста можно остановить таким пустяком?

Поссорившись с тремя обыкновенными и одной старшей телефонной барышнями, я с грехом пополам установил, что У. остановился у своего родственника Грина, англичанина-фабриканта.

Через несколько минут я уже беседовал с супругой мистера Грина.

— Вы желаете видеть нашего гостя?.. Интервью? Сейчас я спрошу его… Да, он согласен… Что? Писатель ли он? Конечно… (сильный шум в телефоне, несколько стуков: ток! ток! ток!)… посвятил спорту и охоте. Что? Я говорю о его последней книге… Прежние книги? Вы об них уже сами зна-

ете? Читали? Ну, конечно… Горячий поклонник?.. Сегодня, в три часа. До свидания.

С немалым энтузиазмом покинул я телефонную будку. Результаты переговоров превзошли мои ожидания.

Во-первых, сегодня же, через какие-нибудь два часа я увижу его! А во-вторых, я узнал уже немаловажную новость: великий писатель-фантаст написал новую книгу о спорте и охоте; этого даже наш редактор не знал!

Собственно говоря, я предчувствовал, что У. напишет когда-нибудь нечто в этом роде. Ведь у него поразительно разносторонний и слегка капризный талант: сегодня он пишет роман на интересной психологической основе, завтра выпускает юмористический рассказ, послезавтра печатает фантастическую повесть из жизни марсиан или людей каменного века, потом, неожиданно — социальную утопию. Такие-то именно таланты зачастую кончают чем-нибудь совершенно непредвиденным, например, охотой!.. Эту мысль стоило упомянуть при описании интервью…

Кстати, по поводу интервью. Я не одобряю тип американского интервьюера. Они действуют нахрапом. «Как вам нравятся наши края? Ваше

мнение о Толстом? Об аэропланах Сикорского?»… Так нельзя. Нужно вести себя с величайшей деликатностью, чтобы не спугнуть настроения интервьюируемого лица и не заставить его спрятаться в скорлупу.

Ровно в три часа я был уже у Грина. Познакомившись со своей недавней собеседницей, я не без волнения вхожу в кабинет к У.

Комната обставлена изящно. На столах куча английских книг и журналов. На полу ковёр из шкуры белого медведя, несколько ружей и пара рапир.

Навстречу поднимается с кресла господин средних лет. Наружность корректная и типично английская. Лицо благородное и высоко-одухотворенное.

Представляюсь. Жмём друг другу руку сдержанно, но тепло, как люди, хотя незнакомые, но связанные обшей профессией и притом представители двух великих дружественных наций.

— Как вы себя чувствуете в нашей столице, глубокоуважаемый коллега?

Мне кажется, что я сразу взял верный тон, так как гениальный писатель ответил мне весьма любезно:

— Благодарю вас, я чувствую себя у вас так же

хорошо, как и везде, где могу бывать часто на свежем воздухе.

— Долго ли предполагаете пробыть в нашем городе, сэр?

— В общем, довольно продолжительный срок. Но, конечно, я намерен возможно чаще покидать его, выезжая на охоту.

— На охоту?

— Да. Мой родственник мистер Грин и некоторые из его друзей устраивают для меня несколько великолепных зимних охот в окрестностях Петербурга. Конечно, зайцы и даже медведь после тигров…

— Вы говорите… тигров? (читатель может быть спокоен: и тени удивления в моем голосе не дал я заметить великому писателю при этом вопросе).

— Тигров. В джунглях Индии. Я прямо оттуда. О слонах не упоминаю просто потому, что охота на тигров затмевает всякую другую; это поистине королевская охота! Возвращаясь к нашей теме о зимней охоте, я должен сказать, что и в ней я — не новичок. В Сибири, близ Якутска…

— Я поражён, — вставил я драматическим шепотом. — Такие обширные путешествия и в то же время такая блестящая и плодотворная литературная деятельность!

Мистер У. задумчиво потер пальцами верхнюю часть переносицы и сказал:

— Литература, да… Говоря вообще, если бы литература отнимала у меня столько времени, сколько охота, может быть… Но не будем отклоняться от предмета нашей беседы. Вы ведь намерены меня интервьюировать. Ну что ж, хотите я сообщу вам один эпизод, который еще неизвестен прессе…

Я выразил свой восторг, конечно в пределах английской сдержанности.

— Этот эпизод, дорогой сэр, имеет отношение несомненно к вашей литературной деятельности? — спросил я.

— Нет, — ответил У. скромно, — не к литературной, а к охотничьей деятельности. Это было в тундрах Сибири…

Истинные таланты, когда коснутся их произведений, долго уклоняются от разговора о них со скромностью и застенчивостью, которые можно назвать поистине целомудренными. Я оценил эту сдержанность У. и решил безропотно прослушать его охотничий рассказ, чтобы затем уже осторожно навести разговор опять на литературу.

Мистер У. пустился рассказывать, а я слушать. «Эпизод» происходил видимо в каком-то чер-

товском захолустье. У. повёз меня (конечно, в переносном смысле) сначала по Сибирской железной дороге, потом на лошадях, наконец, на собаках. Мы стремились добраться до одной весьма редкой породы лисицы. Мороз стоял ниже 40° (или 80°, не помню). Мы ехали по двенадцати часов в день и ночевали у якутов. В пути отморозили себе палец на ноге.

— Девятьсот шестьдесят пять ваших верст мы проехали без одной большой остановки! — воскликнул У.

Наконец, мы приехали к цели нашего странствия, в какое-то селение, где жило около ста русских и сотни три якутов. Оттуда опять поехали, отморозили еще два пальца и ухо. И наконец… убили-таки проклятую лисицу!

Похлопав меня дружески по плечу, писатель прибавил с детской гордостью.

— Можете смело описать эту охоту в вашем журнале; этот случай ещё нигде не был напечатан.

Я решил, что пора действовать энергичнее.

— Конечно, я не премину воспользоваться вашим любезным разрешением, дорогой сэр. Позвольте же мне заодно спросить вас… Я конечно, и сам охотник… в душе, но для ваших русских

читателей… литературная ваша деятельность…

— Вы хотите меня спросить о моей книге?

— Да, — ответил я, становясь смелее, — но не о вашей последней книге.

Последние слова я подчеркнул, так как охоты, откровенно говоря, с меня было довольно! Но английский писатель, к сожалению, не вполне меня понял.

— Свои предыдущие книги я, признаться, сам не очень люблю; это произведения моей молодости. В таком случае, давайте поговорим о моей будущей книге.

Наконец-то!.. В какой новый мир унесёт нас его прихотливая фантазия? Снова на Марс? Или в XXX век? В четвёртое измерение? Или, быть может, даровитый романист готовит произведение, в котором нас пленит глубокая психология, яркость типов, живость рассказа? Я собирался уже засыпать У. всеми этими вопросами, но он сам предупредил меня сказав:

— Это будет книга… о ружье.

Я едва не утратил своего душевного равновесия, но… неожиданная догадка озарила мой ум. Улыбнувшись тонко, как человек, собирающийся сострить, я спросил:

— О ружьях будущего, дорогой сэр? Что-нибудь

в роде скорострельного электрического ружья тридцатого века, не правда ли?

Но У. почему-то не понял моей шутки и даже как будто обиделся.

— Речь идет не о ружье будущего, а о современном ружье. Не понимаю собственно, почему…

Надо было спасти положение. Я решил это сделать посредством новой остроты.

— Ружьё, пожалуй, и обыкновенное, — сказал я, подмигивая ему глазом, — но владелец его окажется, конечно, жителем Луны или подводного царства?

Писатель, признанный тонким юмористом, стоял сейчас передо мной, заложив руку за борт сюртука с холодным изумлением и вопросом на лице. Положение становилось неловким. Я решил отказаться от шутки и спросил серьёзно, почтительно и задушевно:

— Вот вы советуете мне напечатать сообщенный вами эпизод в нашем журнале. Но отчего вы сами не опишете этот… замечательный случай в одном из ваших блестящих рассказов?

Мистер У. посмотрел на меня пристально и необыкновенно выразительно:

— Я не за-ни-маюсь беллетристикой, — отчеканил он.

Если известный писатель, романами которого зачитывается весь мир, заявляет вам, что он не занимается беллетристикой, — то это достаточно ясное указание, что интервью кончено. Я откланялся глубоко и низко…

Редактор, пробегая мое интервью, был поражён. У. увлекается охотой? Вот неожиданность! Целый эпизод из его охотничьих похождений, нигде ещё не напечатанный — великолепно-с! Тайга, якуты, лисица, восхитительно-с!

Он положил рукопись на стол.

— Вы счастливец! — проговорил он с завистью. — Какая жалость, что я сам не говорю по-английски… Ну, рассказывайте, каков он? Как он устроился в Европейской гостинице?

— Он остановился не в гостинице, а у своих родных, — поправил я его с рассеянной снисходительностью.

Редактор стал задумчив. Он перелистал мою рукопись, заглянул зачем-то в свою записную книжку, потом посмотрел на меня. Я начал положительно убеждаться, что зависть способна преобразить самого добродушного человека. Вдруг он спросил:

— А как фамилия тех родственников, у которых У. остановился?

— Грин, — отвечал я равнодушно.

Редактор начал хохотать и смеялся минуты три, внушая мне опасение за состояние своего здоровья. Наконец, я услышал:

— Вы были, мой ангел, не у писателя У., а у известного охотника и спортсмена по фамилии…

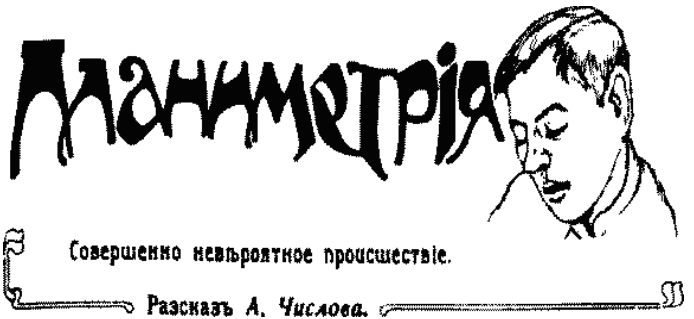
Зачем вам, читатель, знать его фамилию? Она отличалась от фамилии великого писателя всего на три буквы, да и то две из них в английском языке не произносятся…



Планиметрия

Совершенно невероятное происшествие

Рассказ А. Числова



Если Николай Двойкин, несмотря на свои 18 лет, все еще находился в пятом классе гимназии, то объяснялось это чистым, хотя и печальным недоразумением. Причина крылась в геометрии или, чтобы быть точнее, в геометре Павле Павловиче Точкине, человеке, несомненно, отсталых педагогических взглядов. Результатом явилось то, что Двойкин дважды уже садился на второй год.

Такие невесёлые мысли бродили в голове Двойкина, когда он шёл по коридору гимназии мимо

двери, над которой висела надпись:

«Физический и математический кабинеты».

«Ну, хоть бы раз, например, свёл нас в этот кабинет, — думал с негодованием Двойкин про своего врага. — Вся современная педагогика основана на наглядности, а Павел Павлыч ограничивается задаванием по Давидову от параграфа до параграфа. Что же он такое, как не педагог в футляре?»

Как видит читатель, Двойкин был не чужд интересов ни литературы, ни педагогики. Самого же Двойкина мысль о параграфах по неумолимой ассоциации, заставила вспомнить, что сегодняшнего-то параграфа он как раз и не успел прочитать, так как засиделся накануне в гостях до поздней ночи. Поэтому он поспешил в класс на традиционную Камчатку, где и погрузился в созерцание начал стереометрии. В этой стереометрии была одна загвоздка, которую Павел Павлович называл третьим измерением, и которая Двойкину представлялась настолько непонятной, что он лишь горько зевнул, склонив бедную головушку над мудрёным чертежом.

В такой унылой позе он просидел не больше двух-трёх минут, когда внезапно наступившая

в классе совсем необычная тишина заставила его поднять голову. К своему удивлению, вместо ненавистной физиономии Павла Павловича он увидел в классе директора и ещё какого-то господина довольно странной наружности.

Надо сказать, что сам Точкин тоже не отличался большой красотой, имея несколько плоскую и вытянутую вперёд голову. Но незнакомец, стоявший теперь в классе, обладал наружностью несравненно более оригинальной, чем Павел Павлович. Голова его представлялась просто-таки сплюснутой с боков, глаза сидели почти на переносице, а руки и ноги напоминали рисунки персидских царей и египетских жрецов.

— Павел Павлыч заболел, — сообщил директор тоном, не допускавшим возражений. — Но Фёдор Иванович Плоскотелов… приват-доцент университета, да-с!.. любезно согласился заменить его на несколько уроков. Я надеюсь, гм… гм… что под руководством столь опытного педагога… словом, надеюсь на ваше усердие, господа, внимание и при-ле-жа-ние-с!

Когда директор удалился, Плоскотелов повернулся всем телом сразу на 90° и сказал:

— Я сторонник, господа, наглядного метода обучения. И кроме того-с… — прибавил он с неко-

торой запинкой — предпочитаю читать лекции, а не спрашивать уроки. Ведь вы же почти взрослые, господа!

«Молодчина! Дельный малый! — похвалил мысленно Двойкин и тут же невольно добавил про себя: А фамилия-то у него довольно подходящая к наружности…»

Плоскотелов прошелся раза два по классу, причём Двойкин заметил, что когда он поворачивается лицом, то становится тонким и узким, как жёрдочка, — и спросил:

— Что вы проходите теперь, господа?

— Мы переходим сейчас к стереометрии, — хором отвечал класс, — параграф 137.

— А! Переход от двух измерений к третьему, — воскликнул с увлечением приват-доцент. — Великий Гельмгольц по этому поводу предлагал представить фантастические образы существ, живущих в двух измерениях… Вообразите себе, господа, плоских людей, живущих в плоскости. Какой жалкий мир! Дальше планиметрии они не могли бы двинуться… Вся красота и прелесть шара, цилиндра и даже параллелепипеда для них не существовали бы! Одни фигуры: треугольники, квадраты, круги, и вот вам вся их геометрия… Впрочем, самое лучшее, если для дальнейших

объяснений мы обратимся к наглядности.

К Величайшей радости всего класса, Плоскотелов предложил немедленно же перебраться в математический кабинет. Двинулись через коридор; и вот, наконец, заветные двери с заманчивой надписью открылись.

Да, здесь было на что посмотреть! Первый огромный кабинет — физический, весь был уставлен разнообразнейшими машинами и аппаратами. Огромные стальные рычаги и зубчатые колёса казались перевитыми электрическими проводами, бесконечными ремнями и какими-то причудливо изогнутыми стеклянными трубками. Под потолком был подвешен изящный и лёгкий аэроплан.

Двойкин только что хотел повнимательнее разглядеть подводную лодку, наполовину погружённую в особом бассейне, как Плоскотелов увлёк уже учеников в следующий, математический кабинет.

Здесь в холодном величии красовались только геометрические тела из гипса, картона и проволоки, да алебастровый Евдоким строго поглядывал со шкафа. Лишь в полутёмном углу виднелась какая-то огромная сложная машина с красиво отполированной дверцей.

Плоскотелов, не теряя времени, рассадил учеников и продолжал свой урок.

— Итак, господа, упомянутые мною существа двух измерений, в пределах планиметрии могли бы ещё идти рука об руку с нами. Так, они, подобно нам, нашли бы, что движущаяся точка описывает линию. Вот так приблизительно…

Плоскотелов быстро вынул из шкафа блестящую точку и, подержав её с минуту на руке, подбросил на воздух. Точка вытянулась в блестящую линию.

— Движущаяся же линия образует плоскость, которая для людей двух измерений составит весь их мир.

Плоскотелов дал лёгонький щелчок линии, и она послушно двинулась боком вперёд, оставляя в своём движении блестящую, как золото, плоскость.

— В этом мире не очень-то разойдёшься, господа, как вы думаете?

Класс, видимо, несколько озадаченный таким непривычным для него *наглядным* обучением, промычал в ответ что-то неопределённое. Двойкин же задумался над одним странным обстоятельством.

«Как же вся эта штука держится сама на возду-

хе, во имя всех чертей?» — формулировал он свои размышления.

Плоскотелов продолжал, всё более и более увлекаясь:

— Так как мы живём в мире трёх измерений — Двойкин заметил, что плоскость успела уже превратиться в куб, который так же, как раньше плоскость висел непонятным образом в воздухе, — то нам трудно даже представить себе, как бы мы могли существовать в плоском мире, где всё окружающее нас было бы тоже плоскими фигурами. Великий Гельмгольц... Впрочем, лучше всего наглядность! Мне удалось изобрести один прибор; я на всякий случай велел перевезти его сюда из университета на несколько дней. Вот вы видите его там в углу. Сейчас мы приступим к опыту с этим прибором. К сожалению, одновременно в опыте может участвовать только одно лицо. Поэтому попрошу желающего подвергнуться опыту первым заявить мне.

Он обвёл класс глазами. Двойкин почувствовал неожиданно дрожь самолюбивого волнения и энтузиазма между лопатками и, движимый импульсом, сильнейшим, чем само благоразумие, шагнул вперёд.

— Я желаю подвергнуться опыту, — заявил он

решительным тоном и, отдав этим дань своему увлечению, тотчас же струсил.

— А это не опасно? — заговорил он, замечая на себе общие насмешливые взгляды товарищей. — Видите ли, у нас следующий урок — французский язык… И если опыт может затянуться…

— Он французскому языку не учится, — ехидно вставил ученик Благонравов, противнейшая личность в классе.

Впрочем, Плоскотелов и не слушал возражений. Едва взглянув на Двойкина, он открыл дверцу машины и решительно подтолкнул его в какую-то узкую тёмную камеру.

— Вот вы и познакомьтесь поближе с планиметрией для того, чтобы лучше усвоить переход к стереометрии, — сказал Плоскотелов голосом, в котором Двойкину послышались зловещие ноты.

Дверца захлопнулась. Что-то стукнуло, дрогнуло. И не успел Двойкин отдать себе отчёта в последствиях своей смелости, как всё в глазах у него помутилось от такой необычайной тряски и грохота, которые могла производить, по его мнению, только одна адская машина.

Когда Двойкин несколько пришёл в себя, первым его делом было основательно выругать Плоскотелова, Благонравова, остальных своих товарищей и самого себя. Затем он ощупал стенки своей камеры. Они оказались мягкие и упругие, как толстый слой гуттаперчи. Стенки не были неподвижны; наоборот, они находились в беспрерывном колебательном движении, сокращаясь, как мускулы. Скоро Двойкин с беспокойством заметил, что стенки не только сокращаются, но и сближаются между собою, охватывая постепенно его тело со всех сторон, как тестом.

Затем по усилившемуся шуму и тряске Двойкин понял, что машина прибавила ходу. Осторожным, но сильным движением она повернула его спиной к дверце, в которой он хотел, было, искать спасения. Перед самым его носом оказалась в стенке вертикальная, длинная во весь его рост и узкая, как нитка, щель, сквозь которую проникал яркий свет, слегка освещавший края щели. На одном из них Двойкин, несмотря на слабое освещение, успел даже заметить вырезанный ножичком вензель «Ф.П.» Повернув Двойкина, машина выдвинула вперёд его правую ногу и обе руки, а левую ногу отодвинула назад.

Этим все предварительные манипуляции бы-

ли, видимо, закончены, так как шум и тряска внезапно прекратились и вместо — них начался однообразный монотонный скрип. Стенки машины со страшной, но равномерной силой стали сдавливать Двойкина справа и слева. Всё тело его испытывало адскую боль; он не мог шевельнуть ни одним членом, и каждый из них ныл и болел. Особенно страдали кости и сочленения. Казалось, что проклятая машина вывихивала один член его тела за другим.

Двойкин, наверное, упал бы в обморок, если бы одно новое достопримечательное обстоятельство не отвлекло его внимания в другую сторону: щель, бывшая перед его носом, стала медленно расширяться…

Впрочем, назвать это в полном смысле слова расширением было нельзя, так как если Двойкин напрягал свое внимание и зрение, то ясно убеждался, что щель остаётся всё такой же узкой, как и раньше. Похоже было, как будто кто-нибудь, шутя, надавливал на его глаза, как это нередко, играя, делают дети. Но страшнее всего было то, что края щели стали постепенно уходить из поля его зрения. Вензель, который он только что ясно видел, медленно уходил направо; пропало П, потом от Ф осталась только левая половинка и

прихотливая завитушка наверху; наконец и они исчезли. Теперь Николай мог видеть только одну ярко освещённую щель.

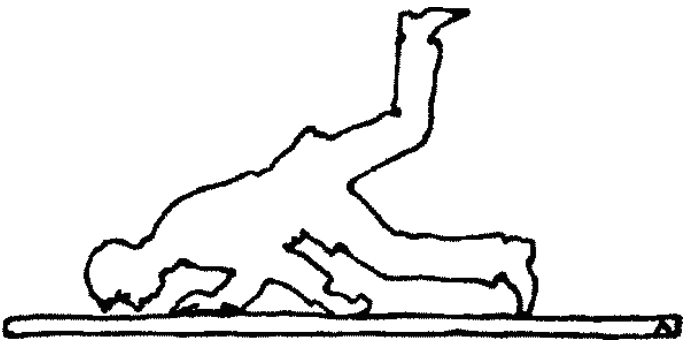
«Что за фокус такой?» — удивлялся Двойкин, морщась в то же время от боли. «Или глаз у меня сжимается, что ли?»

И вдруг ужасная догадка, как молния, промелькнула в его голове. Эта дьявольская машина, сдавливающая его с боков, эта расширяющаяся щель, наконец, предшествующий урок о каких-то людях, живущих в плоскости… Ясно! машина превращает его самого Николая Двойкина, в плоскость, в математическую фигуру, толщина которой равна нулю! Понятно, почему он и видит теперь только эту щель: ведь видеть можно только поверхности тел, а раз тела заменяются для него плоскими фигурами, то он может видеть только «поверхности» фигур, а именно — линии.

Двойкин, не отличавшийся вообще храбростью, громко вскрикнул от ужаса и уже собирался в третий раз упасть в обморок, как вдруг машина, сильно вздрогнув, остановилась. Он получил сильный толчок в спину.

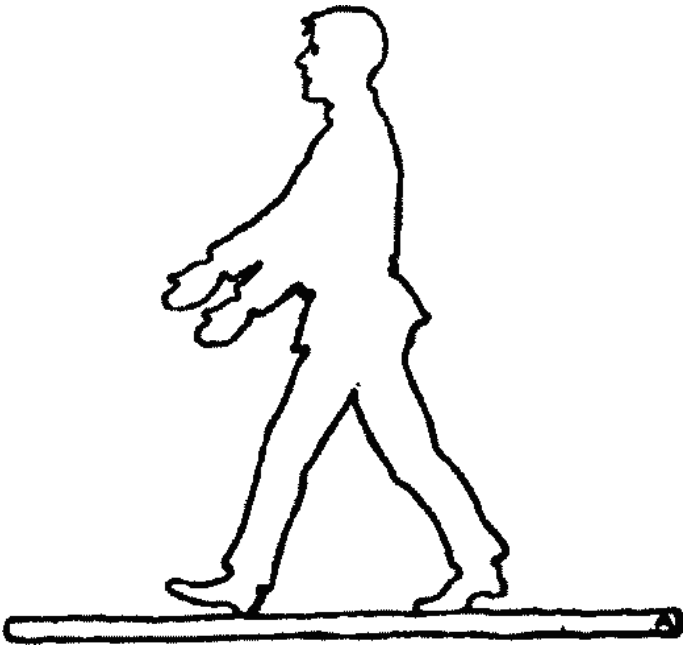
Худшие его подозрения оправдались: как лист бумаги, проскользнул он сквозь узкую щель и, вылетев кувырком из машины, упал носом… на

чёрную линию! Только по запаху он догадался, что это была земля. Да, эта чёрная линия стала для него теперь поверхностью всего земного шара, нет не шара, а земного круга, так как земной шар более уже не существовал для бедняги Двойкина...



Итак, гимназист Николай Двойкин, работой недавно изобретённой математической машины был превращён в силуэт гимназиста, в свою собственную тень и этой же машиной был выброшен в плоскость мира двух измерений.

Да, это была невесёлая минута в его жизни, — пока он лежал, уткнувшись кончиком своего плоского носа в линию земного круга! К счастью ещё, что плоский мир был вертикальный, как лист бумаги, поставленный стоймя. По крайней мере, он мог хоть подняться на свои плоские ноги. Но нужно сознаться, что и эта, обычно столь лёгкая операция, далась ему теперь лишь после ряда долгих неудачных попыток, несмотря на блестящие былые успехи в военном строе и гимнастике. Дело в том, что размещённые машиной его ноги — правая вперёд, левая назад — осуждены были оставаться в этом порядке навсегда; никогда уже левая его нога не могла обогнать правую, так как в этом случае хоть на мгновение обе ноги должны бы были помещаться рядом, а это в вертикальной плоскости с толщиною, равною нулю, было совершенно невозможно.



Напрасно Двойкин бесцельно махал по воздуху своей левой ногой; правая нога, лежавшая на земляной линии, не пропускала её вперед.

Пришлось оперировать только одной правой ногой, причём работа безмерно усложнялась ещё тем, что повернуться направо или налево нечего было и думать: законы вертикальной плоскости абсолютно не допускали этого; движения были возможны только вперёд и назад, вверх и вниз.

Когда Двойкин судорожными усилиями, как паралитик, поднялся, наконец, на ноги, он с изумлением и отвращением разглядел тот новый мир двух измерений, куда забросил его капризный случай. Что это был за жалкий мир! Представьте себе, что вам дали бы заглянуть в узкий, не толще нитки, коридор без крыши, с абсолютно чёрными стенками. Что бы вы увидели? Только линии. Синяя линия наверху было бы небо; коротенькая, огненно-яркая линия изображала бы солнце; чёрная линия внизу была бы землёю; все предметы на земле представлялись бы тоже линиями разной длины. Если бы вы глядели подольше, то благодаря разности освещения увидели бы, какая линия ближе, какая дальше, какая кривая, какая прямая или ломаная, наконец, разобрали бы оттенки цветов этих линий… но и только!

Вот каков был тот мир, который созерцал Двойкин, обращённый в плоскую фигуру.

К счастью, плоскостное зрение (одним глазом,

который помещался на самой переносице) было довольно тонко развито, и Двойкин легко различал и перспективу линий, и их окраску.

Он находился в пустынной местности. Небо было безоблачно; солнечная линия ярко освещала линию земли; несколько линий камней и немного зелёных травяных линий было разбросано перед ним.

Двойкин попробовал было повернуть голову направо или налево, но тотчас же рассмеялся горьким смехом: не то, чтобы что-нибудь постороннее мешало ему это сделать, но даже собственные плоские мускулы не создавали и не могли создать подобных движений.

Двойкин был не из тех людей, которые способны найтись во всяком положении. Наоборот, он, как легко приходил в возбуждение, так же легко и падал духом и отчаивался. Так и здесь, постояв с минуту перед открывшейся перед ним линейной картиной, он грустно побрёл по линии земли, не думая о том, что тем самым всё более удаляется от математической машины, которая составляла теперь его единственную надежду на возвращение в мир трёх измерений.

Скоро Двойкину пришлось познакомиться с плоскостными людьми. Впереди него был рас-

положен небольшой пригорок. И вот, над этим пригорком показалась какая-то движущаяся линия. Вглядевшись в неё повнимательнее, Двойкин увидел, что это среднего роста пожилой господин.

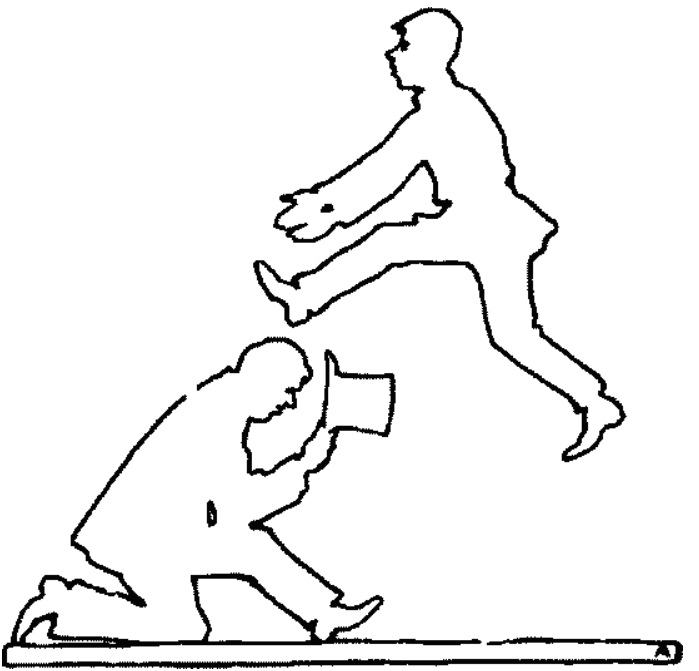
Повстречавшись с Двойкиным, незнакомец любезно приподнял цилиндр и попросил разрешения пройти. Двойкин, будучи от природы вежлив и деликатен, тотчас же хотел подвинуться в сторону, но не тут-то было! Ведь сторон-то в мире двух измерений не было. Как ни старался Двойкин, он всё двигался только вперёд, да назад, а это нисколько не помогало делу.

Между тем плоскостной господин стал проявлять уже признаки нетерпения. Наконец, видимо, очень недовольный, он произнес с досадой:

— Хотя вы, как молодой человек, могли бы и должны бы были сами мне уступить дорогу, но мне некогда давать вам уроки вежливости. Прошу вас, проходите!

С этими словами незнакомец снял цилиндр, и попросту сел на землю склонив вниз голову. Тогда Двойкин понял, наконец, что от него требуется, он разбежался и перепрыгнул через незнакомца. Таков был, по-видимому, единственный способ расходиться при встрече у людей двух измере-

ний.



Двойкин отправился дальше. Скоро выяснилось, что между людьми двух измерений есть, если можно так выразиться, две породы; одни обёрнутые лицом в ту же сторону, как Двойкин, другие, глядящие в противоположную сторону, как господин, с которым только что повстречался Двойкин. Обе эти породы, выражаясь языком математическим, были неравны, но подобны. Двойкин, который за последние полчаса сделал уже крупные успехи в геометрии, мысленно представил себе, что при наложении один на другого люди эти могли бы совпасть, подобно симметричным треугольникам только в том случае, если бы их вывести из плоскости и перевернуть, так сказать, наизнанку.

При встрече или перегоняя друг друга, плоскостные люди прибегали к тому же способу, какому только что научился Двойкин. Он сам беспрекословно садился на землю, завидев ещё издали человека двух измерений, и только один раз из самолюбия заставил уступить себе дорогу одного встречного плоскостного гимназиста…

Двойкин прошёл немалое расстояние и подумывал уже о том, что пора начать пятиться назад (другого способа вернуться он не мог придумать), как вдруг услышал сзади быстрые шаги и серди-

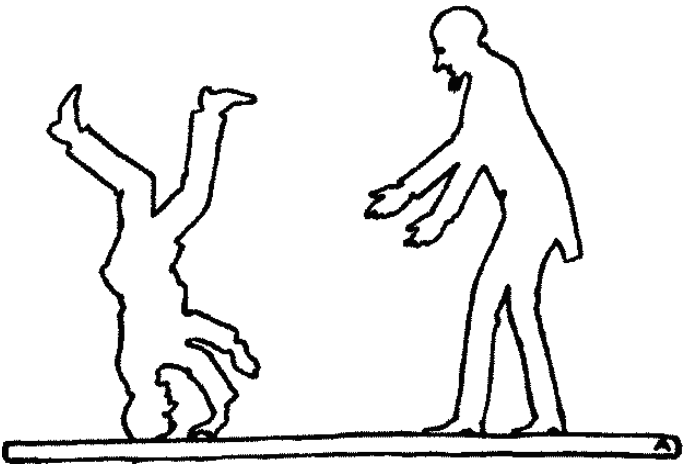
тый голос:

— Чёрт возьми, как вы быстро ходите. Я еле догнал вас, — сказал этот голос, показавшийся Двойкину знакомым.

Двойкин остановился и сделал судорожное усилие обернуться. Когда оно, конечно, не удалось, он услышал сухой смех.

— Что, не можете? — произнёс голос. — Н-да-с, вы порядочное таки ничтожество в геометрии! Вы даже не соображаете, как можно повернуться в плоскости на 180°... На голову же встаньте, тупой вы человек!

Двойкин, в состоянии пассивной покорности, встал на голову и увидел перед собой ломаную линию, в которой не без некоторого труда узнал Плоскотелова. Он искренно обрадовался появлению приват-доцента и приветствовал его настолько энергично, насколько ему позволяла забота о сохранении равновесия.



— Слушайте, господин Двойкин, — перебил его строго Плоскотелов, — помните, что нас ждут двадцать три ваших товарища, и не теряйте зря времени! Сейчас в мире двух измерений происходит интереснейшее популярное заседание математического общества. Мы ненадолго зайдём с вами на это заседание, а затем скорее домой!

С этими словами Плоскотелов бесцеремонно

перевернул Двойкина на ноги, перепрыгнул через него и направился вперёд решительным шагом. Двойкин поплёлся за ним.

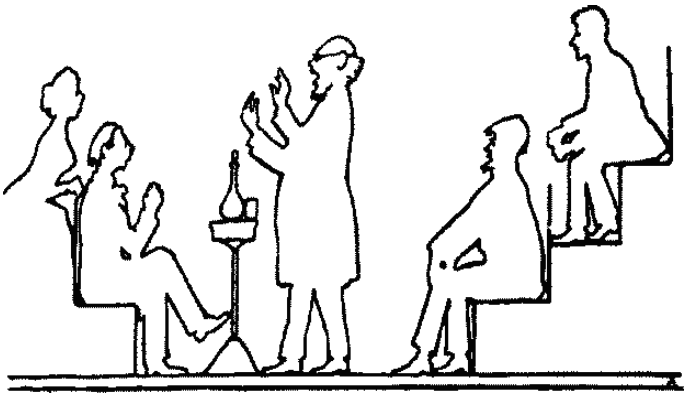
Вскоре перед ними появилась высокая тёмная линия, оказавшаяся домом; в трёх местах эта линия прерывалась ярко освещёнными короткими линиями окон, из чего Двойкин заключил, что дом трёхэтажный. Он не мог не усмехнуться презрительно: трёхэтажный дом с тремя окнами! Вообще Двойкин с появлением Плоскотелова сильно осмелел.

Внутренность дома, в который они вошли, была расположена, по словам Плоскотелова, «плоскостным амфитеатром» по такой фигуре:

В середине внизу помещался лектор, к сожалению Двойкина, из породы повёрнутых к нему спиной. Публика расположилась по ступенькам с обеих сторон.

Лекция уже началась.

— Вопрос о третьем измерении интересовал многие умы, — говорил лектор. — Им занимались: математики, философы, спириты и просто люди фантазии. Каждый подходил к вопросу со своей стороны: математики, отлично понимая, что *никакого третьего измерения нет и быть не может…*

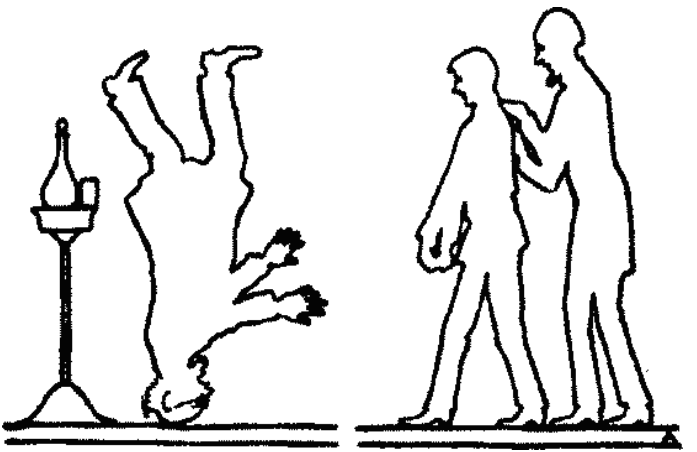


Двойкин, услышав эти слова, сказанные самоуверенным тоном учёного, не выдержал и довольно громко произнёс:

— Не существует? Гм-гм… здорово!

Лектор быстро встал на голову и, поддерживая ногами равновесие, смерил Двойкина уничтожающим взглядом. Тот, ободрённый присутствием приват-доцента университета трёх измерений, хотел тотчас же возражать, но Плоскотелов довольно выразительно толкнул его в спину, и он

промолчал.



Лектор, не дождавшись возражений, презрительно фыркнул и повернулся к нему спиной. Лекция продолжалась.

— Философы, подвергая критическому анализу все понятия и сомневаясь в существовании всего существующего, усомнились в реальности даже

времени и плоскости. При такой постановке вопроса, где даже и мир двух измерений понимался лишь как способ человеческого мышления, как создание человеческого ума, достаточно представить себе иное существо, ум которого мыслит в трёх измерениях, и мир трёх измерений станет таким же реальным…

— Молодцы философы! — воскликнул Двойкин, но так тихо, что лектор его не расслышал.

— Господа спириты, — продолжал лектор самоуверенным и насмешливым тоном, — населили мир трёх измерений… духами! Мир духов для них несомненная реальность; они входят даже, как известно, в сношения с ними… посредством качания столиков! Когда впервые человечество услышало о третьем измерении, господа спириты тотчас же ухватились за него: им мир трёх измерений давно известен, это и есть их мир духов. Я, конечно, не стану останавливаться на этих, лишённых всякого научного обоснования, мечтаниях, не буду останавливаться и на беллетристических произведениях на тему о третьем измерении: хотя должен признать, что автор одного из подобных произведений положил в основание своего талантливого рассказа весьма остроумную идею: третье измерение — есть из-

мерение времени… Я перейду, господа, к чисто математической постановке вопроса. Нам интересно, какие свойства, какие признаки отличали бы мир трёх измерений, если бы он существовал. В этом мире должны бы были быть непонятные для человеческого разума, фигуры, поверхностью которых были бы плоскости. Конечно, это чистый абсурд, таких фигур, как мы знаем, быть не может, но несомненно, что если бы, они были, то они были бы такими, как я сказал…

Услышав в эту минуту сзади себя подавленный смех, лектор гневно обернулся (конечно, по плоскостному способу) и тотчас же заметил, что Двойкин корчится от сдерживаемого смеха.

— Уже второй раз вы изволите прерывать мою лекцию, молодой человек, — воскликнул он с раздражением. — Может быть, вы будете так любезны, объяснить, что вы в ней находите смешного?

Двойкин почувствовал, как Плоскотелов дёргает его сзади за фалду, но презрительный тон лектора слишком уж задел его за живое. Николай принадлежал к числу тех людей, которые, если разойдутся, так их уж ничем не удержишь.

— Что смешного? — спросил он, задорно выступая вперёд. — А то, что вы с видом знатока

говорите о вещах, в которых сами не понимаете ни бельмеса!

Лектор страшно обозлился; лицо его покраснело, как у рака (впрочем, может быть, этому способствовала также его не совсем естественная для учёного поза — с задранными кверху ногами).

— Я, очевидно, имею честь говорить с представителем, одного из спиритических кружков? — ядовито спросил он. — Не правда ли?

— Нет, неправда, — отвечал Двойкин. — Я не спирит, а пришелец из того мира трёх измерений, который вы, как слепец, отрицаете и который в бесконечное число раз лучше и богаче вашего плоского, как доска, мира, — выпалил он, сжигая все корабли, хотя ясно чувствовал, как Плоскотелов предостерегающе щипал его за плечо.

Слова Николая произвели сенсацию. Все сидевшие спиной к нему, поспешили встать на головы, чтобы посмотреть на него.

— Сумасшедший! Пьяный! — зашептали некоторые.

Лектор насмешливо, но снисходительно улыбался.

— Может быть, вы будете так добры, поделиться с нами богатствами этого нового мира, — спросил

он. — Где же этот мир помещается?

— Да здесь же, кругом вас, — отвечал он.

— Кругом нас помещается плоскость, — назидательно возразил лектор: это мы все и без вас знаем. Но я спрашиваю, где же мир третьего измерения?

— Сумасшедший! — снова раздалось чьё-то восклицание.

— Не сумасшедший, а просто хулиган, отвечал другой голос сердито. — Вон бы надо вывести нахала!

Это раздосадовало Николая.

— Да, направо и налево от вас, господа, плоскости! — закричал он. — Направо и налево, понимаете вы эти слова?

Ропот недоумения пробежал у слушателей.

— Направо и налево, — спросил кто-то из них. — Что значат эти слова? Мне пятьдесят лет, я двадцать пять лет состою преподавателем математики в гимназии, но таких слов никогда не слышал…

— Может быть, он футурист и обогащает язык вновь изобретёнными словами? — пробормотал насмешливо плоскостной критик.

— Покажите нам эти направо и налево, — предложил третий.

Николай окончательно рассердился. Он с апломбом поднял руку, чтобы показать этим слепцам правую и левую сторону и… конечно, остановился в бессилии: рука не поворачивалась ни направо, ни налево…

Но это не обескуражило Двойкина.

— Я не могу сейчас показать вам правой и левой стороны, — сказал он с досадой, — так как, переселившись в ваш мир двух измерений, тело моё конечно, подчинилось его законам. Но зато я вам расскажу о мире трёх измерений и докажу вам, что он существует! — горячо воскликнул он.

— Просим! Просим! — раздались частью заинтересованные, частью насмешливые голоса.

Плоскотелов снова подтолкнул Двойкина, но видя, что ничего не помогает, с досадой буркнул:

— Вот, свяжись только с гимназистами! Со студентами ничего подобного никогда бы не случилось…

— Мир трёх измерений — не плоскость, как у вас, а пространство, — начал Двойкин.

— Что такое «пространство»? — перебили его, нельзя ли говорить общеупотребительными словами?

— Пространство… как бы вам это объяснить, — замялся Двойкин, — это… это… Впрочем, я вам

это иначе объясню. Представьте себе, что ваша плоскость составляет основание нашего мира и возведите к ней перпендикуляр…

— Перпендикуляр можно возвести в плоскости, но не к плоскости, — сухо поправил Николая лектор.

— Ах, как с вами трудно разговаривать, — горячился Николай. — Неужели вы не понимаете, что и к плоскости тоже можно возвести перпендикуляр? Ну, представьте себе, что ваша плоскость есть низ, и возведите к ней перпендикуляр вверх.

— Нельзя представить себе вздора, молодой человек, — отвечал плоскотелый учитель математики. — Низ существует в самой плоскости, так принято называть в просторечии линию земли, на которой мы находимся, но сказать, что вся плоскость есть низ — это бессмысленно, так как плоскость бесконечна. Не правда ли, господа?

— Конечно, конечно! — подтвердили голоса.

— Ах, господа, — грустно воскликнул Николай. — Я вижу, что объяснить вам это невозможно! Вы для этого просто слишком плоски. Но зато я опишу вам мир трёх измерений со всей его свободой, о которой вы и понятия не имеете. Это мир, где можно повернуться направо и налево

и даже кругом себя не становясь на голову. Вы осуждены вечно смотреть только в одну сторону, одни вперёд, другие назад. У нас же люди могут смотреть на мир, по желанию, в ту или другую сторону. Даже и вас, если бы вы жили в нашем мире, можно бы было перевернуть на другую сторону.

— Это уже не так глупо, — отвечал лектор. — Кое-что вы, видимо, читали из литературы о третьем измерении, молодой человек… Но ведь вы взялись нам доказать не это, а то, что мир трёх измерений существует реально. Докажите же!

Но Николай уже не слушал его.

— Встречаясь друг с другом в нашем мире, люди расходятся направо и налево, как благовоспитанные джентльмены. Вообще мир наш лучше вашего: у нас каждый человек имеет по два глаза и может выдвинуть вперёд ту или иную ногу по желанию.

Кто-то из публики громко захохотал.

— Где же эти глаза и ноги помещаются? — с ужасом прошептала одна молодая и весьма кокетливо одетая дама.

Насмешки окончательно взбесили Николая.

— Наконец, наш мир могущественнее вашего! — закричал он со злостью. — Если бы человек

трёх измерений случайно пересёк вашу плоскость, он мог бы попасть сбоку…

— Опять новое слово! — воскликнул математик.

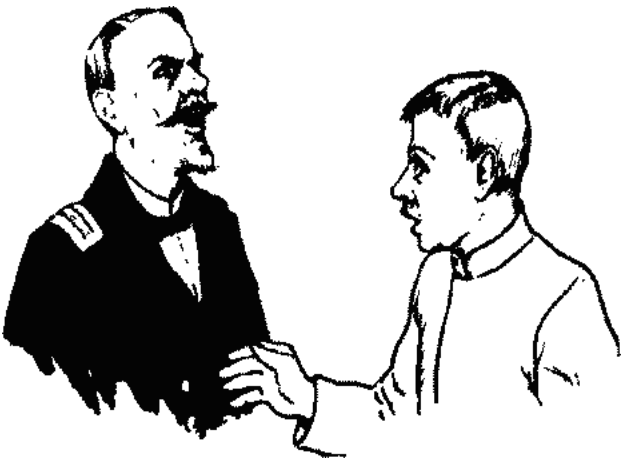
— Ну да, сбоку, ослы! Как же иначе я скажу, если сбоку он мог бы попасть в эту аудиторию, хотя бы все ваши линейные двери были заперты вами на три замка! Он мог бы, не коснувшись линейной поверхности вашего тела, засунуть палец в ваше сердце сбоку. Да он просто переломал бы ваши тоненькие тела на кусочки, как английское печенье!

Трудно себе представить бурю негодования, которую вызвали эти слова дерзкого гимназиста. Публика повскакала с мест и, прыгая друг через друга, кинулась с поднятыми кулаками на Двойкина. Началась общая свалка. Плоскотелов тянул его в одну сторону, плоскостные люди — в другую. Откуда-то выскочивший плоскостной гимназист дал Двойкину «в зубы» и подставил ножку. Тогда Плоскотелов, видя, что дело становится плохо, напряг всю свою силу, рванул Двойкина за кушак и вдруг этим яростным усилием… вывел его в третье измерение.

Двойкин сразу же почувствовал, как тело его наливается, округляется, становится действительно

телом, а не плоской фигурой. Глаз его раздвоился, стал двумя глазами. Он с удовольствием протёр их и увидел, что находится в классе. Прежде, однако, чем разглядывать что-либо из окружающего, он, движимый чувством благодарности и товарищества, поспешил на помощь Плоскотелову, который ведь всё ещё оставался в мире двух измерений перед разъяренной толпой плоскостных людей. Он быстро протянул руку приблизительно в том направлении, где должен был помещаться приват-доцент, и схватил, вместо Плоскотелова… Павла Павлыча Точкина.

— Да что вы, очумели что ли! — грозно воскликнул тот. — Какая наглость разваливаться на скамейке в классе, точно в будуаре на кушетке, и ещё хватать учителя за пуговицу вицмундира!



Приведённый нами совершенно исключительный случай с Двойкиным, насколько нам известно, не получил надлежащего научного объяснения. Гипотеза же Двойкина о том, что он во время своего путешествия в плоскости прошёл всё расстояние от математического кабинета до класса, проникая, благодаря своей толщине, равной нулю, сквозь гимназические стены, как чернила сквозь кляксапапир[11], отпадает, вследствие непонятного появления в классе Точкина, который, как известно, был болен. С товарищами

---

[11] Примечания: 11

Кляксапапир *(klyakspapir,* нем.) — промокательная бумага.

Двойкин вовсе не беседовал по поводу своих приключений. Одно достоверно, что Плоскотелов больше в гимназии не появлялся, и стоит ли изобретённая им машина в математическом кабинете или нет, — этого проверить нет возможности, так как Павел Павлыч — враг наглядного обучения.

Ковер-самолет



I

Князь Пермский был частым гостем антиквара Бутылкина и потому со стороны последнего пользовался особым почтительно фамильярным вниманием. Когда князь вошёл в тесно заставленную старинной мебелью лавку, Бутылкин, тотчас же передав двух дам, покупавших буфет красного дерева, своему сыну, сам направился к князю, в котором уважал не только постоянного покупателя, но и истинного знатока и любителя.

Князь хорошо знал лавку Бутылкина; он уверенно лавировал между шкапами, столами и диванами, рассеянно обегая взглядом вещи, большинство которых ему было давно знакомо. Он зашёл в лавку, как и всегда, не затем, чтобы купить что-нибудь определённое, а так, посмотреть, не появилось ли чего-нибудь новенького, интересного и «подходящего».

В лавке холодновато и темно; князь двигается вперёд быстро, так что Бутылкин еле успевает зажигать перед ним электрические лампочки. В одном месте Пермский заинтересовался столом «бобиком», в другом долго и внимательно

рассматривал кресло, вернее сказать, одну единственную ножку, сохранившуюся от кресла.

— Петровское? — кратко бросил он.

— Говорят-с, а только ведь кто их знает, может и врут, ваше сиятельство, — отвечал как будто и простодушно Бутылкин; он знал, что Пермский мебели почти не покупает: нет больше места в квартире.

Князь хотел уже пройти в специальное отделение бронзы и фарфора, когда взгляд его упал на небольшой шкапчик палисандрового дерева с инкрустацией. Форма шкапчика, высокого и очень узкого, а также художественная работа инкрустации заинтересовала его.

— А это что? — спросил он.

— А вот, не знаю, как понравится вашему сиятельству? Не то шкапчик-с, не то подставка для часов, — несколько неуверенно отвечал Бутылкин. Он только недавно купил эту вещь, случайно и до нелепости дешево, но настоящей цены его не только не знал, но, к удивлению своему, даже и не «чувствовал», что с ним бывало редко.

— Вещь, кажется, новая, — схитрил князь, который, так же как и Бутылкин, не «понимал» шкапчика. — Откройте-ка его.

Бутылкин открыл шкапчик. Полок в нём не

было, но он доверху был наполнен какими-то проволоками и странно переплетёнными между собой деревянными дощечками.

— Выньте-ка этот мусор, — приказал Пермский.

«Если не подорожится, можно будет взять; вещь красивая и места много не возьмёт», подумал он.

— Не вынимается, ваше сиятельство, — не без лукавства отвечал Бутылкин.

— Не вынимается? — протянул Пермский.

— Никак нет-с, приделано прочно. Да вот, не угодно ли взглянуть, ваше сиятельство, шкапчик-то ведь разборный…

Бутылкин придавил кнопочку и затем нажал на боковые стенки; они подались, раздвинулись и весь шкапчик развернулся на скрытых в спинке шкапчика петлях; проволоки и планки, соединённые хитрою и замысловатой связью, пришли в движение, распространяясь во все стороны. Внизу шкапа выдвинулась какая-то деревянная подставка. Из шкапа получился довольно-таки странный аппарат, отдалённо напоминающий автоматические весы.

Князь смотрел с недоумением.

— Это что же за инструмент? — спросил он.

— Полагаю так, ваше сиятельство, что остатки

часового механизма… а впрочем, не могу знать-с.

Князь потрогал пальцем проволоки. Работа была искусная и тщательная, но на часы не было вовсе похоже. Нечаянно князь рукавом задел один небольшой и скрытый сзади стерженёк. Стерженёк этот подался под его рукой. Желая понять смысл стоявшей перед ним странной машины, Пермский сильнее нажал пальцами стержень, и вдруг ему показалось, что концы его пальцев точно срезаны и на кончиках покрыты кровью. В испуге он отдёрнул руку и быстро поднёс её к глазам, но, очевидно, тусклый свет лампочки, висевшей под потолком, обманул его: на пальцах не виднелось ни малейшей царапины.

— Занятный механизм! — усмехнулся про себя князь. — Может быть, *неудавшийся perpetuum mobile* какого-нибудь изобретателя?.. Сложитека, Иван Прокофьевич, шкапчик. Во что вы его цените?

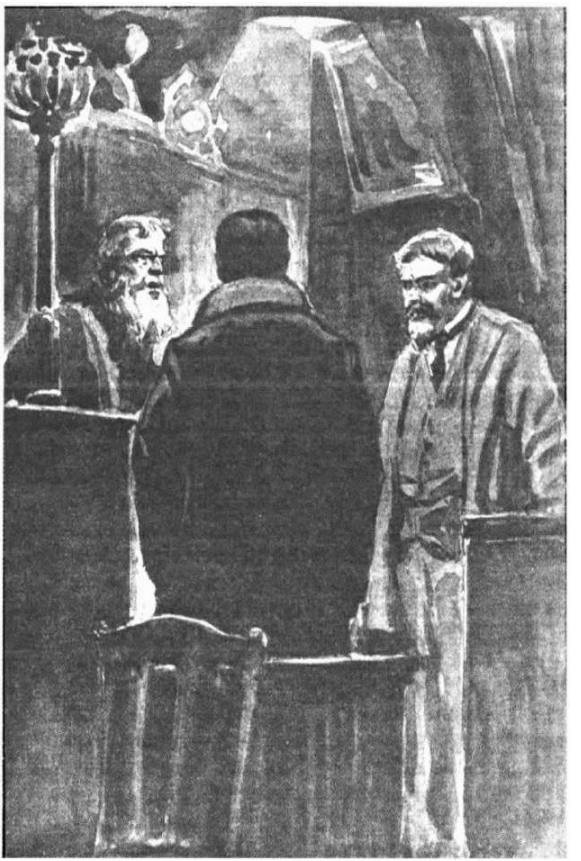
Бутылкин медленно складывал шкап. Он колебался: заломить ли на всякий случай цену так, чтобы шкап до выяснения настоящей его цены остался у него, или уважить постоянному покупателю: ведь, в сущности, вещь ему самому досталась почти задаром…

— Да что… если положите рубликов полтораста, ваше сиятельство, так дадите десятку нажить Ивану Прокофьевичу, — отвечал он всё ещё неуверенно.

Князь тоже поколебался: полтораста рублей за шкап давать не «стоило», — а механизм?.. Вдруг одна новая мысль озарила его. Он решился.

— Хорошо, я беру, — сказал он и только что хотел хорошенько рассмотреть шкап, как вдруг сухой резкий голос за его спиной заставил его обернуться.

— Я даю сто семьдесят пять! — прохрипел высокий старик с седой растрёпанной бородой и острым блестящим взглядом из-под косматых бровей.



Он, видимо, только что вошёл и перед этим шёл быстро, так как сильно запыхался.

— Я даю больше, вещь за мной, — повторил он, кладя руку на шкап.

Князь с холодным удивлением и даже несколько брезгливо посторонился. Бутылкин быстро оглядел старика с головы до ног, причём от него не ускользнул более чем скромный наряд незнакомца.

— Вещь уже продана, господин, опоздали-с, — сказал он, с достоинством закладывая руку за борт сюртука.

— Но я даю больше… И, кроме того… кроме того, шкап этот… он — краденый! — вскричал старик с раздражением.

Однако внимательный наблюдатель уловил бы и некоторую нерешительность в его голосе.

Бутылкин тотчас же заметил в его голосе эту нотку сомнения; он был тонкий знаток человеческих слабостей, а что касается до апломба, то его у него хватило бы на троих. Оконфузить, например, смутить или просто так уничтожить любителя-новичка, — на это он был большой мастер.

Заметив, что старик говорит не совсем уверенно, он тотчас решил, что или тот высказал своё обвинение зря, наудачу, или, если вещь и была

украдена, то доказательств на это у владельца нет.

— А вот за это обвинение, господин, не угодно ли вам ответить перед мировым судьёй-с?! Мигом состряпаем протокольчик… Извините, ваше сиятельство, — кинул он вдогонку князю, который медленно направился к выходу: — изволите-с обождать в той половине-с… не угодно-с?.. как изволите… вещи я пришлю ужо на квартиру, или ещё лучше завтра-с. Простите великодушно-с, всякий, с позволения сказать, прощелыга, и позволяет себе, так сказать, оскорблять честного человека… Счастливый путь, ваше сиятельство…

Бутылкин отвернулся; выражение почтительной фамильярности слетело с его лица; осталась одна деловитость и презрительная строгость. Он двинулся к старику, но тот успел уже скрыться из лавки…

II

Соображение, которое заставило князя не пожалеть денег и купить шкапчик палисандрового дерева было совершенно особого свойства и не имело прямого отношения к его коллекционерным наклонностям…

Князь не был женат, и как старый холостяк, имел свои маленькие чудачества. Если в провинции чудаки и люди странных вкусов одиноки, то в столице их всегда оказывается достаточно, чтобы составить общество или хотя бы кружок.

Князь тоже принадлежал к одному довольнотаки оригинальному кружку. Каких только нет кружков в Петрограде?

Кружок, членом, председателем и даже основателем которого быль князь Пермский, назывался «Общество любителей бесполезного в математике».

Общество это было весьма далеко от строго научного и систематического исследования и изучения. Члены кружка шли в данном случае по линии наименьшего сопротивления и интересовались тем, что давало пищу лёгкой и приятной игре ума, не выходя в то же время за пределы общеобразовательного курса. Хитроумные задачи на построения, теория чисел и другие отделы математики, которым посвящают свои последние страницы некоторые ежемесячные журналы — вот та область, которой увлекались члены кружка. Он имел даже свой юмористический устав, первый параграф которого гласил:

«Кружок имеет в виду исследовать лишь те отделы математики, которые не имеют практического приложения и абсолютно бесполезны».

Кроме математики, кружок интересовался ещё шахматами и некоторыми другими играми, и в особенности одной военно-морской игрой, которая была так усовершенствована членами кружка, что, по мнению их, вполне уже приближалась к условиям настоящей стратегии и тактики.

Члены кружка были очень довольны своим обществом. Они собирались у князя регулярно раз в неделю по средам; это были всё одни и те же лица, настолько сблизившиеся между собой за несколько лет, что, вероятно, распадение кружка доставило бы всем им немалое огорчение. Тут были офицеры, лицеисты, один студент, учитель гимназии, товарищ прокурора, два английских дипломата, популярный врач по детским болезням, несколько чиновников и один довольно известный шахматист-писатель. Душою кружка был сам князь, всеми любимый за свою мягкую деликатность и энтузиазм, с которым он относился к делам кружка.

Вот об этом-то своём кружке и вспомнил князь, когда решил купить шкапчик. «Пускай подумают над этим механизмом и сообразят, что это такое за штука!» — не без некоторого ехидства решил он. При этом он вспомнил старика, своего соперника по покупке шкапчика, и романтическая сторона приключения доставила ему немало удовольствия.

III

В ближайшую среду у князя не предполагалось начинать какой-либо новой игры, так как предшествующее военно-морское сражение, длившееся шесть вечеров и кончившееся в ничью, всех утомило и всем надоело.

Поэтому князь, взявший на себя распорядительскую часть, волновался уже, чем занять своих гостей, как вдруг за день до среды и через два дня после покупки шкапчика, он получил письмо от студента, члена кружка, в котором тот просил разрешения привести одно постороннее лицо, которое студент аттестовал как великого, хотя и неизвестного математика, работающего преимущественно «в области бесполезного». Незнакомец, по фамилии Клобуко, прочтёт до-

клад о последовательности простых чисел и предложит им найденную формулу для всякого простого числа.

Князь, хотя такой доклад показался ему несколько сомнительным, но, не считая себя большим авторитетом в математике, решил всё же согласиться на приём Клобуко.

По средам все собирались к 8-ми часам и притом очень быстро, так что к четверти девятого все были уже налицо, кроме студента и Клобуко.

Князь, прежде всего, повёл гостей смотреть купленный им шкапчик, стоявший в гостиной рядом с кабинетом, где предполагался доклад, и где уже была приготовлена чёрная доска и мел. Все столпились около шкапчика, и князь, ещё и сам не очень-то разобравшийся в своём приобретении, долго копался, пока ему удалось, наконец, раскрыть шкапчик, превратив его в странный механизм, показавшийся при ярком свете люстры ещё более непонятным, чем в лавке антиквара.

Все с любопытством рассматривали механизм и пробовали привести его в действие. Вдруг ближе всех вертевшийся около шкапчика лицеист громко воскликнул:

— Я обрезался, господа… и притом кажется, очень сильно!

Его обступили. Он стоял бледный, отвернув лицо в сторону и поддерживая левою рукою правую.

— Извините, господа, я боюсь вида крови!.. Не откажите взглянуть, опасна ли рана?

Несколько человек поспешили с сочувствием и беспокойством осмотреть руку лицеиста, но с удивлением увидели, что на ней нет даже признака какой-нибудь раны.

— Вы, верно, укололись, а не обрезались? — сказал доктор, — сильна ли боль, и в каком месте руки?

Тогда лицеист нерешительно повернул голову, и вдруг лицо его выразило величайшее изумление, а затем растерянность и смущение.

— Боль… да, боль, — сконфуженно проговорил он: — Как это дико!.. я почувствовал, конечно, и боль, но ведь я видел также ясно и кровь, господа… кажется, здесь вот или здесь… Очевидно, я ошибся… Очень извиняюсь…

В эту самую минуту общего недоумения и вошли студент и Клобуко. Последний оказался весьма приличным на вид господином с бритым по-английски лицом и с чёрными с сильной проседью волосами. Одет он был довольно элегантно в смокинге. Он вошёл и поклонился с манерой

хорошо воспитанного иностранца. Хозяин познакомил его с членами кружка и предложил ему посмотреть таинственный механизм, но гость с видимым недоумением рассеянно взглянул на шкапчик, потрогал два-три рычажка и затем, явно только из вежливости, прибавил:

— Да, кажется, весьма интересная штучка, — и тотчас же спросил, здесь ли будет происходить доклад.

Через некоторое время все разместились в кабинете, и лектор начал свой реферат, говоря по-русски плавно и без всякого акцента, хотя, может быть, и чересчур правильно выговаривая для настоящего русского. Первая часть его доклада, посвящённая истории и современному положению в науке вопроса о простых числах, была малоинтересна.

Сосед князя, доктор, толстый и весьма глубокомысленный мужчина, пользовавшийся в кружке немалым авторитетом, наклонился к его уху и спросил.

— Какой национальности этот господин?

— Не знаю, — отвечал князь. — Спросите студента, который его привёл.

Оказалось, однако, что и студент тоже очень мало знает про старика, с которым познакомился

случайно всего два дня назад на публичном собрании астрономического общества.

— Могу только прибавить, что он не поляк, — сказал студент.

— По выговору и не хохол, — заметил доктор.

— И не русский, — добавил князь, — фамилия какая-то странная, я такой никогда не слыхивал. Кло-бу-ко… Не румын ли?

— Фамилия не румынская. Я думаю, скорее, не француз ли? Если читать, например, так: Клод Буко или Кло де Буко…

— Но ведь читается вовсе не так, да и пишется в одно слово. Может быть, итальянец или немец?..

— Выговор, безусловно, не тот. Я думаю, по манере, что он едва ли не англичанин.

— Или, наконец, португалец! — решил доктор.

Так окончился этот разговор, а докладчик между тем перешёл к описанию того пути, по которому он шёл в своих математических изысканиях, Лекция стала интереснее; в этом старике чувствовались недюжинные математические способности, чисто юношеская энергия, твёрдая настойчивость в достижении цели и терпеливая, свойственная скорее уже старости, выдержка при неудачах. На работу, оказывается, были затрачены годы большого серьёзного труда.

Лектор стал излагать самую теорию и выводить формулы. Мел заскрипел в его руках и перед удивлёнными и мало привычными слушателями начали появляться одна за другой огромные сложные формулы. Изумительно было, как этот человек мог удержать в памяти такое огромное число формул, а писал он их, ни на секунду не останавливаясь, твёрдо, красивыми ровными буквами и цифрами.

Все формулы постепенно стали объединяться в одну; буквы окончательно заменили собою цифры, и, наконец, общая формула была выведена, заняв собою на доске девять строк ровных мелких рядов букв. Тогда началось постепенное упрощение формулы; приёмы, которыми это достигалось, были поразительны по своему остроумию и «математической красоте», как шепнул князю учитель гимназии. Одна за другой производились замены, соединения и сокращения, формула становилась всё короче и короче. Наконец осталась только одна строчка, заключавшая в себе простой одночлен.

— Милостивые государи, дальше этого упрощения я не пошёл, — сказал старик со скромным достоинством и не без некоторой иронии. — Но и эта формула уже является, кажется, достаточно

ясной и простой. На этом я мог бы и окончить, но есть ещё один вывод, который я хотел бы иметь честь доложить почтенному собранию в заключение. Если вы *прологарифмируете* это выражение, то для всех будет ясно, что оно, во-первых, охватывает все простые числа, а во-вторых, что числа эти *не беспредельны.* Последнее и величайшее простое число насчитывает в себе сто двадцать четыре знака; я не имел, к сожалению, возможности вычислить это число, чтобы его могли выгравировать на моём надгробном камне, как это сделано на памятнике одного учёного — Клобуко слегка улыбнулся, — но я с уверенностью могу сказать, что это действительно *никем ранее не открытое простое число.* Я кончил, господа, и извиняюсь, что утрудил ваше внимание.

Единодушные рукоплескания были ответом лектору. Члены кружка, польщённые честью, которую оказал им Клобуко, избрав их кружок для своего поразительного доклада, повскакали с своих мест, с жаром потрясая его руки; кто-то пытался даже обнять лектора; князь настойчиво уговаривал Клобуко выпить стакан подогретого красного вина, «чрезвычайно хорошо действующего на утомлённое горло».

Только преподаватель гимназии сидел на своём

месте, сжав кулаками голову, и шептал про себя: «Но этого не может быть! этого не может быть!»

Князь упросил товарища прокурора, который считался в кружке лучшим оратором, ответить гастролёру маленькой речью.

— Неловко, дорогой, ведь он иностранец, а у них это принято. Надо выразить ему от лица всех, от лица Петрограда, от лица науки, наконец, чёрт возьми, что мы оценили значение его замечательной работы… Я, *mon cher,* велел к ужину подать шампанское… Лучше было бы, конечно, если бы вы ему ответили речью на его родном языке, но мы, к сожалению, не знаем, какой же его родной язык, в конце концов…

— И, кроме того, я ни на одном языке не говорю, кроме русского, — мрачно добавил товарищ прокурора.

Впрочем, речь была им сказана. Оратор коснулся истории математики, причём что-то очень долго и невразумительно рассказывал о папирусе Ринда, об Эвдоксе и Никомахе, но говорил воодушевлённо и с жаром, благодарил и прославлял лектора, увлекая всех своим энтузиазмом и, когда кончил, пот градом тёк с его лица.

Все зааплодировали и кинулись, было, снова пожимать руки великому математику, но… он

во время речи незаметно исчез. Заглянули в гостиную, столовую, — там тоже его не было видно. Тогда кто-то догадался посмотреть в переднюю, — пальто и шляпа гостя исчезли. Очевидно, он удалился по-английски, не простившись.

— Скромность, благородная скромность! — воскликнул с энтузиазмом оратор.

— Очень уж вы его захвалили, — ядовито прибавил шахматист, страдавший завистью.

И вся компания, разговаривая с большим оживлением, направилась ужинать.

IV

За ужином общий интерес к докладу Клобуко не ослабел. Наоборот, он перешёл даже в спор. Оказалось, что один человек не разделял общего энтузиазма: это был педагог.

— Господа, это невозможно! — сказал он. — Я, конечно, не могу сейчас подробно рассказать, не будучи специально подготовлен, но мне помнится ясно, что кем-то доказано, что *простых* чисел бесконечное множество. Предела им быть не может.

— Да ведь он же нам доказал противное! — возразил студент.

— И притом доказал, как дважды два! — прибавил с волнением товарищ прокурора.

— Это-то и скверно, что доказал, — отвечал учитель упрямо, — скверно, что он *доказал* невозможную вещь.

— *Я не помню,* чтобы в теории чисел было *доказано* кем-нибудь противное, — возразил кто-то.

— И я! И я! — присоединились голоса.

— А я помню, — горячился педагог.

Все заговорили разом. Тут вмешался доктор:

— Позвольте, господа, прошу минуту общего молчания. Я прошу нашего уважаемого коллегу, который сейчас выразил сомнение в правильности доказательства, которое прослушали девятнадцать человек, смыслящих, смею думать, в математике несколько больше четырёх действий над числами любой величины, и которое, повторяю, эти девятнадцать человек… Кто-то что-то сказал? — вдруг перебил он себя.

— Нет, это кто-то, кажется, кашлянул…

— А, по-моему, кто-то, господа, стукнул дверью в соседней комнате.

— Там никого нет, — возразил князь. — Все мы налицо, лакей обносит шампанское…

— Господа, да не перебивайте же, пожалуйста, доктора! — заволновался студент, — ведь это же

важный вопрос, а вы о пустяках! Ну, чихнула кухарка, и дай Бог ей здоровья! Продолжайте, доктор.

Доктор откашлялся.

— Позвольте же, господа. Итак, по мнению нашего уважаемого оппонента, все мы девятнадцать человек не заметили неверности или фальши в доказательстве Клобуко. Так я говорю, господин профессор?

Учитель смешался.

— Нет, этого я не утверждаю… Но с другой стороны…

— Позвольте мне, в таком случае, задать уважаемому коллеге вопрос: ну, а сам он заметил ошибку?

— Нет, — растерянно отвечал педагог.

— В таком случае, — торжественно закончил доктор, — в чём же вопрос?

— В таком случае, — сказал князь, который хотел смягчить остроту спора, — позвольте попросить вас, господа, взять ваши бокалы и выпить за здоровье того человека, который сделал величайшее математическое открытие двадцатого века. За иностранца Клобуко!

Всё поднялись с мест, чокнулись и молча уже готовились прильнуть губами к бокалам, как

вдруг из соседней гостиной раздалось громко и весьма уже недвусмысленно:

— А-пчхи!

Князь нервно отодвинул бокал, не выпив из него ни капли, и сказал, слегка запнувшись:

— Позвольте, господа, кто же это там может быть?

Он быстро направился в гостиную и повернул выключатель… И вдруг раздирающий душу крик его раздался оттуда. Испуганные гости стремительно бросились к двери, роняя на ходу стулья; кто-то из офицеров зацепил шпорой скатерть и, стянув её угол, разбил с полдюжины тарелок и стаканов драгоценного сервиза. Но на это никто даже не обратил внимания; все стремились в гостиную.

Там бледный, шатающийся стоял князь и дрожащей рукой как бы указывал, куда надо смотреть. Сам он боялся, видимо, даже взглянуть на страшное зрелище.

В это время раздался второй крик, — на этот раз лицеиста.

— Я не могу смотреть на кровь… а-а-а!.. — вопил он.

Вытянутая рука князя указывала действительно страшное зрелище.

Посредине гостиной стоял злополучный шкапчик, или, вернее сказать, половина шкапчика, ровно, как будто пилой отпиленная; другая половинка отсутствовала. Уцепившись руками за какую-то часть механизма, стоял Клобуко и с напряжением, ясно написанном на его лице, упирался в какой-то рычаг внутри шкапа. Но не в этом заключался ужас зрелища, а в состоянии самого Клобуко. Он был в шубе и шапке, но шуба его спереди была срезана с обоих боков от подмышек донизу; также спереди было аккуратно срезано всё его платье и даже бельё. Мало того, с него была кем-то аккуратно содрана или срезана вся кожа с шеи до ног! Спилена была вся передняя часть рёбер, и глазам зрителей представилась ужасающая картина анатомированного живого тела: ясно были видны сердце, лёгкое, грудобрюшная преграда, желудок и кишки! Представлялось непонятным, как человек, подвергшийся такой ужасающей операции, мог стоять на ногах и как не вывешивались из него его внутренности.

Это зрелище было настолько поразительно, что все застыли, как вкопанные, в тех позах, в каких кто был.

А затем события развернулись необыкновенно быстро и в такой последовательности.

Анатомированный Клобуко сделал новое напряжённое усилие, и рычаг механизма снова подался под его руками.

Вдруг, на глазах у зрителей, исчезло его сердце, затем пропал желудок, большая часть кишок и передняя часть лёгких. Изумлённые зрители мельком увидели, как исчезли и остатки лёгких и кишок; на мгновенье остались пустые полости грудной клетки и брюшины и мелькнул спинной хребет.

В то же время произошли поразительные вещи с головой великого математика.

Пропал первым нос, открыв два зияющих отверстия, как у черепа; веки точно соскользнули с глаз, обнаружив глазные яблоки, исчезли щёки, и на публику оскалились зубы в неприкрытых челюстях. Когда лобная кость, точно удалённая искусной рукой хирурга, обнажила мозг, с педагогом началась истерика, а князь воскликнул:

— Уберите, уберите скорее эту гадость!

Но убирать скоро уже было нечего.

Точно по волшебству, исчезли руки, ноги, остатки головы и туловища Клобуко. Секунду в воздухе продержалась пустая шуба, затем пропала и она.

Последним исчез шкапчик, который как будто растаял в воздухе: в середине гостиной не было

больше ничего…

V

Несколько минуть оцепененье владело членами кружка любителей бесполезного в математике. Зрелище перед их глазами промелькнуло так быстро, что многие детали не были ясно рассмотрены отдельными лицами. Впоследствии показания отдельных зрителей значительно даже расходились между собою.

Некоторые, например, утверждали, что части тела Клобуко исчезали не последовательно, как было изложено выше, согласно рассказу большинства, а *все разом.* О длительности всего процесса мнения были тоже чрезвычайно различны и противоречивы. Доктор утверждал, что всё было кончено в пять секунд, князь и педагог склонялись скорее к одной, двум минутам, а лакей, видевший также всю картину, полагал, что гость «все вышли в один момент».

Когда первый испуг и изумление прошли, члены кружка заговорили разом. Послышались разнообразные восклицания; кинулись рассматривать место, где только что стоял шкап и анатомированный Клобуко, но не нашли ничего,

решительно ничего.

Больше всех волновались товарищ прокурора и доктор. Первый кричал о наличности несомненного преступления и требовал полицию. Доктор же поспешил закрыть все двери и приставил к каждой из них по человеку.

— Господа, — шептал он то одному, то другому члену, — значение зрелища, свидетелем которого мы только что были, для меня понятно.

Его обступили.

— Что такое? Что же это? Как можно понимать значение чуда? — раздались восклицания.

Доктор таинственно собрал всех потеснее и шёпотом сообщил, что, очевидно, Клобуко известен секрет уметь делать себя невидимым.

— Какая-нибудь мазь, изобретённая им или что-нибудь в этом роде, — пояснил он.

— Человек-невидимка Уэльса! — воскликнул студент.

— И вот, господа, несомненно, что господин Клобуко, какой-нибудь опасный авантюрист, по всем вероятиям, находится сейчас среди нас, но только в невидимом состоянии. Он слышит и видит нас и, может быть, в это самое время замышляет против нас или против человечества какое-нибудь дьявольское преступление.

Все так и раздались в разные стороны от испуга.

— Невозможно в этом сомневаться! — продолжал безжалостный доктор, — вы вспомните только героя уэльсовского рассказа. Он ведь задумал, ни больше, ни меньше, как терроризовать и подчинить себе весь мир. Не знаю, каковы намерения господина Клобуко, но мне кажется, что мы не исполнили бы своего гражданского долга, если бы не схватили сейчас же преступника, который, очевидно, находится здесь же, в этой самой комнате, так как двери… бы-бы-бы… л-л-ло… лы-ды…

Ко всеобщему изумлению, речь доктора неожиданно перешла в глухое неразборчивое бормотанье, как будто кто-нибудь разом напихал ему полный рот каши. Доктор быстро махнул рукой перед носом, как бы силясь поймать муху, и тесно сжал зубы; даже лицо его покраснело… В то же мгновенье раздался крик хозяина дома:

— Господа, помогите! Погибаю!

Когда вся публика, всё более и более терявшаяся от происходивших перед нею чудес, кинулась к князю, то увидела, что утончённый и аристократически воспитанный князь, весь побагровев от натуги, отчаянно ковыряет у себя в носу.

— У меня что-то как будто выросло, или появи-

лось в левой ноздре! — воскликнул он жалобно.

— А у меня что-то постороннее было сейчас во рту! — прокричал доктор, — Как будто вырос второй язык или ещё вернее, кто-нибудь засунул мне палец в рот.

— Невидимка! — послышались голоса, но доктор запротестовал.

— Нет, господа, я закрыл рот, и если бы это был палец-невидимка, то я бы его, несомненно, откусил. Однако палец благополучно пробыл у меня во рту ещё несколько секунд и затем спокойно и не торопясь удалился *неизвестно куда* из *закрытого* рта. Я нащупал языком даже ноготь на пальце…

К счастью, нос князя был освобождён так же скоро, как и рот доктора. Но тогда начались новые явления. Из карманов присутствующих начали таинственным образом выпрыгивать содержащиеся в них вещи: бумажники, кошельки, часы, носовые платки. Они появлялись на миг в воздухе, мелькали, исчезали, снова появлялись то тут, то там, иногда в каком-то диком, непривычном и как будто вывернутом наизнанку виде, иногда не целиком, а кусочками; показывался, например, неожиданно механизм закрытых часов, внутренность портсигара и т. д. Затем из

закрытых кошельков стали сами собой вылетать серебряные и бумажные деньги; они выпархивали на воздух и затем частью падали на пол, как снежные хлопья, частью же исчезали, тая тоже, как снег.

Скоро все вещи, как будто наскучив своим диким танцем в воздухе, полетели в общую кучу в углу гостиной.

Затем пошли ещё более странные вещи. В гостиной стоял книжный шкап жакоб со стёклами — гордость князя. И вот на глазах у всех из закрытого шкапа одна за другой стали пропадать книги и затем с шумом падать в углу на пол.

Доктор сел в кресло, бледный отирая пот с лица.

— Нет, это уж не невидимка, это что-то ещё хуже! — пролепетал он. Все стояли ошеломлённые, напуганные, чувствуя себя во власти какой-то неизвестной, непонятной и потому страшной силы.

— Господа, мы забыли совсем про шкапчик, — раздался надтреснутый голос князя. — Он исчез одновременно с Клобуко. Не в нём ли всё и дело?

Никто ему не ответил — так все были обескуражены.

В этот самый момент посредине комнаты на

пол упал, неизвестно откуда взявшийся, большой толстый конверт.

Студент поднял его и машинально прочёл:

«Его сиятельству князю Пермскому».

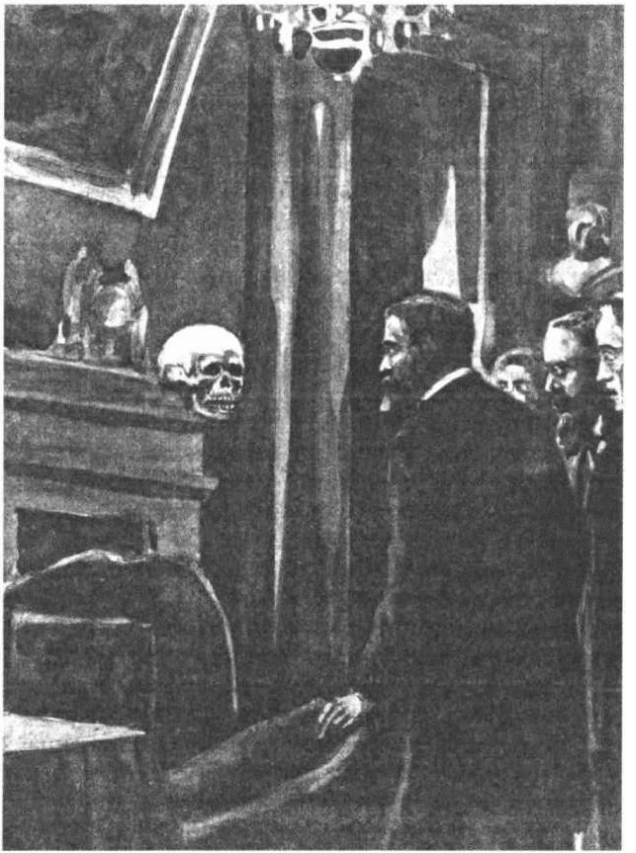
Князь также машинально протянул дрожащую руку и хотел уже разорвать конверт, но доктор остановил его:

— Тут ещё что-то написано карандашиком в углу конверта, — сказал он.

Князь прочёл:

«Прощайте, господа. Боюсь, что моё присутствие слишком сильно действует на ваши нервы. Поэтому расстаюсь с вами или навсегда или очень надолго»…

В ту же минуту в воздухе, на высоте человеческого роста, появился череп, пощёлкал зубами, как бы приветствуя присутствующих и… исчез.



VI

Князь сидел за письменным столом, окружённый всем составом кружка любителей бесполезного в математике. Прошло уже более получаса, как чудесные явления в гостиной князя прекратились. Члены кружка значительно уже оправились от своего испуга и растерянности. Перед князем лежала обширная пачка листков бумаги, исписанных характерным почерком Клобуко.

Пермский прочёл вслух:

«22 марта 191* года»… Вчерашнее, кажется, число, господа?..

> «Уважаемый князь. Я очень извиняюсь за тот способ, к которому должен был прибегнуть, чтобы возвратить похищенный у меня мой аппарат. Заинтересовавший вас «шкапчик» действительно принадлежал мне, и антиквар, очевидно, купил его у вора. Так как вы не хотели уступить его мне за деньги, то я вынужден взять его даром. К сожалению, теперь я уже

лишён возможности вернуть вам ваши деньги, так как истратил их полностью на приобретение фрака и шубы, которые вы на мне видели и которые куплены специально ради визита к вам; этот визит, впрочем, стоил мне также моей бороды и усов… Вы ведь, конечно, узнали меня, князь?.. Впрочем, всё это неважно. Важно то, что аппарат, стоивший мне усилий и труда половины моей жизни, опять у меня. Не скрою от вас, что эта вещь была мне дороже самой жизни, и если бы попытка моя вернуть её не увенчалась успехом, я, вероятно, покончил бы счёты с жизнью…

Уважаемый князь, вы, конечно, и не подозревали, какая ценная вещь находилась у вас в руках? Удаляясь от вас, я попробую показать вам два-три юмористических опыта, которые могут быть произведены при помощи моего аппарата. По ним вы можете судить о том могуществе, которое даётся моим аппаратом. Я мог бы, если бы захотел, ничем не рискуя, вынуть на глазах у всех из кладовых любого банка все содержащиеся

в нём драгоценности; я мог бы вывести из самой крепкой и наиболее тщательно охраняемой темницы любого преступника, хотя бы тысячная стража стояла вокруг и смотрела на него, не спуская глаз; я мог бы похитить из закрытой шкатулки запертую в ней вещь, не открывая замка; я мог бы, наконец, князь, вынуть из вас почти без малейшего усилия ваше сердце, так что на теле вашем не было бы заметно ни малейшей раны или царапины и так, что кругом стоящие люди даже и не догадались бы, что с вами происходит! Могущество моё, князь, в условиях вашей или, вернее сказать, общечеловеческой жизни, как видите, довольно велико…

Но не беспокойтесь, князь, я не употреблял и не употребляю его во зло, ни вам, ни кому-либо другому. Скажу даже больше: я почти никогда не применяю действие моего аппарата в условиях человеческой жизни. Эта жизнь меня просто… не интересует. Мой аппарат открывает мне двери в иной… о! насколько более интересный, чем ваш, мир!

Да, князь, шкапчик, в котором вы изво-

лили заинтересоваться только инкрустацией на крышке, довольно любопытная вещь. Я скажу вам, что это такое за машина (без больших научных подробностей, конечно)…»

Доктор перебил в этот момент чтение:

— Виноват, князь, здесь кажется что-то приписано карандашом на полях и помечено сегодняшним числом?

Князь приблизил письмо к лампе и прочёл приписку:

«Да и трудно делать научно-математические разъяснения людям, которые так слабы в математике, как вы. Удивляюсь, как из двадцати присутствующих никто не заметил той умышленной ошибки в выводе формулы, которую я сделал сегодня в своём докладе.

Успокойтесь, господа, ни мне и никому другому никогда не удавалось вывести формулы простых чисел… Но что просто-таки поразительно, так это то, как вы не заметили совершенно уже грубую фальшь в том утверждении, которое я себе позволил в конце доклада о *предель-*

ном первоначальном числе! Такого числа нет, господа-математики…

Приписано Петром Клобуко 23 апреля 19** г.»

Члены кружка молча переглянулись между собой, а доктор со студентом прибавили:

— Так-с. Здорово.

Князь снова взялся за письмо.

— Прикажете продолжать дальше? — спросил он холодно.

— Просим, просим! — с жаром отвечал учитель гимназии.

«Аппарат, которым вы так недолго и непроизводительно владели, князь, есть механизм, дающий возможность повернуть всякое тело, положенное на площадку внизу шкапчика, в направлении перпендикулярном или наклонном к пространству нашего мира… Вы не понимаете? Вам кажется, что я говорю математический абсурд?..

В таком случае постараюсь изъясниться понятнее. Аппарат, названный мною «Ковёр-Самолёт» есть *машина четвёртого измерения.* При его помощи можно в

любом месте и в любое время выйти из мира трёх измерений и, следовательно, очутиться в том неведомом вам сверхпространстве, существование которого так легкомысленно отрицается человечеством.

Конструкция самого аппарата весьма проста, хотя далась мне далеко не сразу. Принципы его: сверхтело, построенное на четырёх взаимно перпендикулярных металлических стрежнях, и несколько простых блоков; один из стержней и, следовательно, некоторая часть аппарата невидимы, так как всегда находятся в мире четвёртого измерения.

Таким образом, князь, покупая шкапчик, вы приобрели в нём не только то, что видели, но и ещё некую невидимую часть, которая, конечно, и ускользнула от вашего внимания.

Нажимая на один из рычагов, я привожу в движение систему блоков, которая поворачивает нижнюю площадку в направлении, которое мы назовём для простоты направлением четвёртого измерения.

Видите, как просто? Оговорюсь, впрочем, что проста лишь конструкция аппарата, но я, конечно, не стану утверждать, что просто было утвердить стержень в четвёртом измерении или, что это было достигнуто мною *исключительно научным путём.* Вообще говоря, весь аппарат дался мне не дешёво…

Аппарат четвёртого измерения изобретён мною давно. Тридцать лет служит он мне верой и правдой. Я много пользовался им, особенно в первые годы. Тогда я проводил часто по нескольку месяцев вне нашего мира и возвращался в него лишь на два-три дня, так только… чтобы посмотреть стоит ли ещё на месте наш старый грешный мир.

Не скрою от вас, господа, что тот, потусторонний мир, казался мне интереснее нашего бедного, дряхлого и всё ещё наивного, как ребёнок, мира: он неизмеримо разнообразнее его. Время в нём летит, как на крыльях.

Мне казалось подчас, что я провёл в нём какой-нибудь час или два, а, возвращаясь в ваш мир, я узнавал, что прошло уже

четверо суток! Так ускоряет ход времени богатство впечатлений…

Впрочем, я бы хотел хоть несколько приподнять перед вами завесу, отделяющую тот мир четвёртого измерения, в который вы так легко могли бы заглянуть, если бы заинтересовались в «Ковре-Самолёте» не только его художественной отделкой, но и другими, более существенными сторонами. Если у вас есть лишние четверть часа, то прочтите следующие страницы моего письма, представляющие из себя воспоминания о моём первом путешествии на «Ковре-Самолёте», восстановленные по старому дневнику; вы, хотя отчасти познакомитесь при этом, князь, с тем, что такое мир четвёртого измерения… Итак, разрешите начать эти краткие воспоминания?

«Был пасмурный серенький денёк, когда я, тридцатилетий уже, но ещё не окончивший курса вечный студент и никому не известный неудачник, с торжеством и гордостью закрепил, наконец, последний винт в изобретённом мною аппарате.

Последнее время мне пришлось особенно много работать над изготовлением «Ковра-Самолёта», и я сильно переутомился, но, окончив его, я, вместо того, чтобы предаться отдыху или тотчас же использовать своё открытие и немедленно же заглянуть в новый мир, невиданный никем из людей… опустился измученный в кресло и, глядя на свою работу, как пьяница смотрит на рюмку, отдаляя момент удовлетворения страсти, постепенно погрузился в глубокую задумчивость.

Странные мысли охватили мой мозг. Они мелькали и сменялись с лихорадочной быстротой, и я положительно не могу сказать, сколько времени просидел я так, рассеянный и глухой ко всему окружающему.

Я не мог бы записать ход моих мыслей в те часы, так они были сбивчивы, спутаны, и я бы сказал, даже безумны.

Вся минувшая жизнь промелькнула в моих мыслях быстро сменяющимися, но поразительно живыми образами. Так, говорят, бывает у человека перед смертью… Особенно ярко вспомнилось мне

моё раннее детство, когда я, сын мелкого землевладельца далёкой и малоизвестной в России горной страны, был еще маленьким мальчуганом.

Я вспомнил старика-отца, мать, свои детские грёзы… Я был ребенком очень мечтательным, князь, и фантазия моя уносила меня далеко за пределы нашего маленького домика и небольшой округи, составлявшей тогда весь мой мирок. Отец очень беспокоился по поводу моей мечтательности, которая казалась ему худым началом моей жизненной карьеры. Я помню, как часто его грустный взгляд останавливался на мне, когда я часами просиживал, в своем детском креслице, отдаваясь своим детским грёзам. Любимая моя мечта в то время был сказочный ковёр-самолёт, на котором я улетал в своих мыслях и носился над миром, рассматривая с высоты птичьего полёта синие моря, дремучие леса, огромные зелёные равнины, роскошные, блестящие золотом и пёстрыми красками, города и ослепительно жёлтые, дышащие жаром, как печь, пустыни. Не помню, из

каких книг или рассказов я черпал материал для своей фантазии, но знаю, что в мечтах моих я летал и над полярными, покрытыми льдом и снегом, краями и над вечнозелёными тропиками; мой ковёр-самолёт летал даже над звёздами и давал мне возможность взглянуть на жизнь чужих далёких планет…

Все эти мечты снова, как молния, озарили мой мозг в те часы, когда я сидел теперь, уже перед реальным, созданным мною «Ковром-Самолётом», готовясь к первому полёту на нём… Всё это и многое другое ещё промелькнуло и снова ушло в глубину моего сознания, и я уже думал о другом, — о тяжёлых годах отрочества и юношества. Мне вспомнился весь долгий мой труд по созданию «Ковра-Самолёта» и вся поистине нечеловеческая энергия и сила желания, с которыми я шёл к своей цели.

Теперь я у её порога. Не скрою, князь, что я далеко не чужд был грёзам о славе, которую считал справедливой наградой за свой труд. В мечтах моего зрелого возраста стремление к признанию людьми

моего открытия играло роль большую, чем это позволяет в настоящее время трезвая мысль старика. Я помню момент острого, почти непреодолимого желания кинуться к людям, рассказать, закричать громко на весь мир о своём открытии.

Впрочем, это желание, как и многие другие в те часы, быстро и бесследно тонули в других мыслях и желаниях.

Я не могу перечислить все мои чувствования: это была горячка. То я мечтал быть владыкой мира, то смиренно довольствовался ролью первого слуги человечества, верным и преданным его проводником, который вывел бы его, наконец, на светлый путь из бесконечного плутания во мраке. О да! Я немалого ждал, требовал от судьбы в то время… Впрочем, ни одно желание, ни одна мысль не удерживались сколько-нибудь долгое время в моём воспалённом мозгу…

Не знаю, право, сколько времени просидел бы я в этой горячке в своей крошечной комнатке на мансарде, посредине которой стоял мой «Ковёр-Самолёт», если бы одна мысль вдруг не промелькнула в

моём мозгу. С диким ужасом я вскочил на ноги: мне почему-то показалось, что у меня вдруг сейчас отнимут моё сокровище, не дав даже и один раз заглянуть туда! Я закричал каким-то чужим голосом и с отчаянием, не помня себя, кинулся к аппарату. Я вскочил на площадку и со всех сил потянул ручку рычага…

И вдруг всё сразу исчезло…

Трудно передать словами странное впечатление этого всеобщего исчезновения. Оно не похоже ни на внезапное наступление мрака ни на обморок. Я не чувствовал в себе самом никакой перемены, да и свет не исчез, собственно говоря, в том смысле, как мы привыкли это понимать: не было черно кругом; скорее какая-то серая туманная пустота охватила меня… Исчезло всё вокруг меня: не только предметы перестали быть видимыми, но умолкли разом все звуки, пропал тяжёлый запах непроветренной и закуренной комнаты и даже ощущение веса тела и давление площадки аппарата на подошвы ног — и то прекратилось. Я как будто повис в воздухе, и даже не в воздухе, а в той серой

пустоте, которая охватила меня. Я был, казалось, один во всём мире.

Этот странный переход от жизни к абсолютной пустоте страшно сильно подействовал на меня. Всё волнение, вся горячка разом прошли и чувство тихой бесконечной грусти и одиночества охватили меня.

И в нашем мире я был одинок, но разве это было такое одиночество, какое я испытывал здесь?!

Но когда я, наконец, сообразил это, я просто не поверил такому разрешению вопроса. Этого не могло быть! Резким движением я обернулся, задев при этом рукой аппарат. Я не сообразил новых физических условий моего существования; от лёгкого прикосновения аппарат так и рванулся из-под моих ног, как птица в пространство, точно какая-нибудь страшная сила метнула его. Я свободно повис в воздухе и едва успел удержать рукой «Ковёр-Самолёт». Он повис в том самом положении, как я его поймал, боком наклонённый вперёд, нарушая все общепринятые представления о центре

тяжести и о точке опоры. В мире четырёх измерений, по-видимому, не существовало даже и притяжения…



Обернувшись назад, я увидел, однако, что я вовсе не так одинок, как думал, и что сзади меня оставался нетронутым весь наш старый мир… но, Боже мой, в каком странном виде я видел теперь не наружную, а внутреннюю сторону всех вещей. Не надо забывать, что я смотрел теперь на мир с такой стороны, с какой никто ещё его не видел, рассматривал его как бы в разрезе. Действительно точно какой-то волшебник рассёк ножом все вещи и живые существа, бывшие передо мной. Я увидел как бы разрез нашего дома, внутреннюю часть своей комнаты, своего комода, закрытого ящика письменного стола, набитую волосом внутренность матраца, механизм стенных часов, даже внутренность моей кошки, которая, несмотря на такое ужасное состояние, очень весело пробежалась по комнате и вспрыгнула на стол. К несчастью, ещё одним неосторожным движением я задел, очевидно, какой-то из предметов в комнате, так как и я и аппарат получили неожиданное поступательное движение и помчались с такой быстротой от мира

трёх измерений, что через секунду исчез из моих глаз не только мой дом, но и его окрестности, а ещё через полминуты исчез весь мой старый мир с земным шаром (мельком я увидел огнедышащие недра его!) со звёздами, солнцем и луною... И снова серая пустая мгла охватила меня на этот раз со всех сторон. Я решительно не знал, что предпринять, чтобы остановить или дать обратное движение «Ковру-Самолёту». Напрасно я шевелил руками и ногами. Изменялись только мои позы и положение относительно аппарата, но движение наше, по-видимому, не только не прекращалось, но и не замедлялось, унося меня всё дальше и дальше от мира трёх измерений.

Что меня ожидало в этом неведомом пустом мире?!..

Вдруг впереди и несколько ниже меня мелькнуло сквозь серую мглу нечто еле уловимое и бесформенное, но всё же, несомненно, отличающееся от окружающего серого тумана. Это нечто только чуть промелькнуло и тотчас же снова скрылось. Прошло несколько минут,

раньше, чем я, напряжённо вглядываясь, снова увидел, на этот раз уже значительно отчётливее, огромную тёмную массу, как бы надвигающуюся на меня сбоку и снизу. Похоже было на впечатление человека, спускающегося на воздушном шаре в густом тумане к земле. Вот вдали как будто мелькнул контур какой-то скалы, вот… не силуэт ли это дерева или строения?.. Что-то, несомненно, надвигалось на меня… или я стремился к нему. Совершенно неожиданно увидел я под ногами землю. Тумань начал постепенно, но быстро рассеиваться; сначала обнаружилось ближайшее, что меня окружало: деревья, кусты, покрытый травою склон; затем постепенно открылся горизонт. Я находился над довольно высоким холмом, передо мной расстилалась очаровательная долина, окаймлённая всё возвышающимися горами, вдали, на вершинах их белел снег. Долина, к моему изумлению и радости, не оказалась пустынной. На берегу реки, казавшейся от меня тонкой ленточкой, виднелся сквозь клочья тумана утопающий в зе-

лени небольшой серый домик с красной крышей.

Туман всё рассеивался, уступая место ярким солнечным лучам. Внизу, у домика, я заметил стадо каких-то, казавшихся от меня муравьями, животных и даже почудилось мне, как будто двое людей на мгновенье показались в дверях домика.

Вдруг глубокое волнение охватило меня: я узнал картину, которая была перед моими глазами. Это было невозможно, невероятно дико!.. но долина, дом и стадо, на которые я смотрел — были мой дом, моя земля и мои овцы! Я находился над землей, где протекало моё детство. Следовательно…

— Отец! мать!.. — с неудержимой силой закричал я.

И в то же мгновенье я почувствовал, что стою на земле. От тумана не осталось и следов. Дивный солнечный день сиял надо мной. Домик моего отца, мой домик блистал передо мной во всем великолепии своих свежих красок. На лугу паслись густошерстые овцы; собаки лениво подрёмывали на солнце. Тут же степенно

прохаживались наши славные низкорослые лошадки. Я рванулся вперёд, потянув за собой аппарат, но тотчас же почувствовал в руке его тяжесть. Здесь закон тяготения действовал, очевидно, как и в мире трёх измерений, а мой аппарат весил более двух пудов. Я с трудом поднял его на плечи. Идти с такой ношей было нелегко…

Солнце село за облака. Картина перед моими глазами потускнела, а дом, луг и животные казались теперь, очевидно, в силу каких-то неизвестных мне оптических условий, значительно дальше, чем минуту перед тем.

Всё же я двинулся в путь. Медленно, шаг за шагом, шёл я по неровной местности и, хотя и держал направление прямо к дому, но гористая местность заставляла меня, то и дело уклоняться в сторону. Скоро я должен был вступить в какую-то, как мне показалось, небольшую рощицу, которая, однако, оказалась порядочным таки лесом. Я быстро устал и бессильно опустился на землю. Конечно, желание добраться до нашего милого домика было весьма

сильно, но… не следует забывать, что я был страшно утомлён уже тогда, когда вступал в мир четырёх измерений. Прогулка по неровной дороге с двухпудовой тяжестью на спине тоже отнюдь не способствовала укреплению моей бодрости. Конечно, можно было и бросить аппарат. Тогда я легко достиг бы дома в долине, но я боялся расстаться с своим сокровищем. Кроме того, усталость вызывала во мне какую-то странную растерянность и смешанность мысли. Несмотря на сильное впечатление, вызванное зрелищем моего домика, я временами как будто забывал о нём. Догадка о непонятной сущности открытого мною мира, мысли о неизмеримой важности моего открытия для человечества, о признательности людей, о славе… иногда совсем вытесняли образ серого домика.

Наконец я отдохнул немного и, взвалив «Ковёр-Самолёт» на плечи, начет искать выхода из леса или, по крайней мере, свободной прогалинки, чтобы хоть немного ориентироваться. Последнюю я скоро нашёл, но серого домика с неё, к сожале-

нию, не было видно. Зато, к удивлению моему, я увидел, что лес с другой стороны подходит довольно близко к предместью какого-то большого города, смутно рисовавшегося вдали фабричными трубами, крышами и куполами построек. Я с уверенностью мог сказать, что никогда не бывал в этом городе, но, как это не было дико, — что-то знакомое, и только забытое чудилось мне в нём.

Я снова пошёл вперёд, весь горя любопытством и нетерпением. Отдохнул ли я, — но только теперь тяжесть машины казалась уже мне не такой значительной. Бодро шагал я вперёд, и скоро лес стал редеть. Я выбрался на огороды, необыкновенно быстро миновал их и двинулся по улицам города. Вокруг меня — снова оживлённая шумная толпа, которая, чем я дальше шёл, тем становилась гуще. Народ двигался всё по одному и тому же направленно и куда-то видимо торопился. Это была толпа преимущественно интеллигентных мужчин и нарядных женщин, оживлённо разговаривавших и жестикулировавших. Мне несколько раз

хотелось вступить с кем-нибудь из прохожих в беседу, но странная неловкость удерживала меня. Публика казалась мне взволнованной.

Как будто ожидание важного известия или интересного зрелища охватывало всех. Скоро я со своим аппаратом на плечах попал в живой поток движущейся толпы, и меня буквально понесло сначала по улицам, затем по ступенькам широкой лестницы, по открытой галерее, огромного здания, странной архитектуры и, наконец, вынесло в большой зал, высокий свод которого поддерживался могучими колоннами.

Такого огромного и роскошного зала не видел я ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни тем более в других городах. И, тем не менее, я узнал его, как будто и его я уже когда-то видел…

В этот момент раздался крик многотысячной толпы, и то, что кричала толпа, повергло меня в неописуемый испуг. Все произносили только одно слово, и слово это было… моя фамилия.

— Клобуко! — кричали со всех сторон.

Волнение в зале всё возрастало, число людей всё увеличивалось и общий крик: «Клобуко! Клобуко!» раздавался всё громче, и нетерпеливее. Я собирался уже расспросить кого-нибудь из окружающих, в чём дело и почему все так интересуются человеком по имени Клобуко, как неожиданно из толпы возле меня вынырнул какой-то суетливый незнакомец во фраке, с цилиндром на затылке и с огромным распорядительским бантом на плече. С него лил пот градом. Увидев меня, он сначала с секунду приглядывался и затем бросился ко мне взволнованный и, видимо, озадаченный.

— Что вы здесь делаете? — заговорил он. — Боже мой! И эта тяжесть на ваших плечах… Это ваш аппарат, конечно? Позвольте же я вас освобожу… Отчего же вы попали с этого хода? Мы вас ждали с другой стороны… Ах… ах… и вы ещё не во фраке!.. Но ради всего святого, что же теперь делать? Как вас провести? Где вам переодеться?

Его слова, сказанные по небрежности громче, чем следовало, были услышаны

кое-кем из соседей. На нас стали подозрительно поглядывать и шептаться. Вдруг из задних рядов протиснулась какая-то молодая дама и, приглядевшись повнимательнее ко мне, воскликнула:

— Это Клобуко! Сомненья нет. Это он!

Возглас дамы был подхвачен близь стоявшими и покатился дальше.

Послышались голоса: «Клобуко здесь! Клобуко в зале!»

Ближайшие передавали новость задним, и скоро она облетела весь зал.

Многие протискивались ко мне, чтобы пожать мне руку, другие говорили что-то дружественное и полное энтузиазма (слов я не слышал).

Затем я увидел медленно движущуюся ко мне сквозь толпу платформу — эстраду, на которой помещалась группа людей, из которых многие были украшены звёздами и орденами. Впереди всех стоял почтенный старик, по-видимому, учёный. Он держал в руках какой-то лист бумаги в богатом кожаном переплёте, кажется, адрес.

Платформа направлялась ко мне и

лица, несшие меня, двинулись ей навстречу, Через минуту я был посажен на платформу, и старик с адресом дружески протянул мне руки.

Затем меня поместили посредине платформы, на особом возвышении. Остальные сгруппировались вокруг меня. На эстраду поднялись шесть прелестных молодых девушек в белых платьях с цветами в руках. Одна из них держала в руках и протягивала мне лавровый венок…

Грянул невидимый оркестр и могучий хор голосов. Это был туш, марш, гимн… я не знаю что, но музыка была прекрасна.

Я был над толпой, выше всех. Я видел море поднятых голов, восторженные лица, направленные ко мне, слышал восхищённые возгласы. Передо мной почтительно склонялись головы учёных, артистов, сановников, и очаровательная девушка собиралась венчать моё чело лаврами… Теперь я вспомнил: это была моя мечта, мой сон…

В ту же минуту на одной из стен залы ярко вспыхнули огненные буквы: *«Слава».*

Вот почти дословная выписка из моего дневника, князь. Мне незачем говорить вам, что вся описанная мною сцена апофеоза моей славы растаяла в сером тумане так же, как и маленький домик с красной крышей…

Мне незачем теперь пояснять, я думаю, что такое мир четвёртого измерения… вы уже догадались, князь?

Это мир нашей фантазии, наших снов. Всякому образу, возникшему в нашем мозгу, соответствует в мире четвертого измерения реально существующий предмет или даже целое явление. Едва промелькнувшая мысль давно забытая человеком, носится в бесконечном пространстве, подчиняясь каким-то неведомым нам законам движения. Вы не можете, например, князь, помечтать о каком-нибудь старинном шкапчике, чтобы он не стал реально существовать в мире серого тумана.

Я не знаю: наша ли мечта порождает явление в мире четвёртого измерения, или это явление вызывает нашу мечту. Но я, несомненно, знаю, что существует

взаимоотношение между обоими: наша мечта имеет притягательную силу над соответствующими им предметами и явлениями, а приближение к миру трёх измерений, и в частности к тому или иному человеку, вызывает в этом человеке смутное воспоминание… Это взаимоотношение — единственный закон явлений в мире тумана. Достаточно настойчиво подумать о чём-нибудь, чтобы точная копия этого предмета или, вернее, мысли об этом предмете выплыли из тумана.

Как это интересно, князь! Как восхитительно иметь силу вызывать к жизни то, о чём вы мечтаете! Как разнообразна и прекрасна жизнь, когда вы сами, по своему произволу, создаёте её.

Я не могу перечислить вам всего пережитого мною. Я жил в утопических мирах, где добро и красота царствуют над людьми; я видел достижение счастья на земле; я переживал, как ребёнок, прекрасные сказки, и страницы седой старины развёртывались предо мною одна за другой. Я с радостным чувством присутствовал при первом зарождении жизни

на земле, я наблюдал с горькой печалью на сердце за грядущим умиранием её. Из серого тумана выплывали в причудливом разнообразии картины прошлого и будущего, воспоминания и впечатления реального и фантастического. Ни время, ни пространство, ни физические законы не служили препятствием для материализации в мире четырёх измерений.

Одна только беда: необходимо, чтобы мечта или воспоминания были ярки, а желание видеть их искренне и сильно. Лишь в этом случае можно действительно пережить их. Иначе они только мелькают перед глазами вдалеке, и нельзя прийти с ними в непосредственное соприкосновение, как это и было, например, с моим воспоминанием о сером домике… Но, конечно, не всегда так бывало. За тридцать лет моей жизни я переживал порой по нескольку месяцев подряд в каком-либо фантастическом мире, встреченном мною в сером тумане.

Из этих тридцати лет больше двадцати, в общей сложности, я провёл вне мира трёх измерений и никогда до последних

лет не скучал я в разлуке с нашим миром. Но за последние годы… какая-то странная потребность возвращаться в наш мир всё чаще и чаще охватывает меня…

Старость, князь, имеет свои причуды и слабости. Казалось бы, что может влечь в этот мир одинокого, полунищего старика, не имеющего ни друзей, ни определённой службы, ни профессии, ни даже какой-либо простой привязанности? Но вы не поверите, когда я, после долгого отсутствия, ступаю ногой на родную землю, меня охватывает такое волнение, что хочется пасть ниц и лобызать эту жалкую, ничтожную землю… Кроме того, и мечты мои стали теперь не так живы, как прежде, а в связи с этим и переживания в мире четвёртого измерения всё реже, всё короче. Всё чаще я остаюсь недвижно висеть в сером тумане, и лишь изредка вдали чуть заметно мелькают образы старых воспоминаний.

Старость, князь… Иногда я задумываюсь, кому отдать мой аппарат, когда наступит моё время навсегда покинуть этот мир, бросив своё бренное, стесняю-

щее свободу духа, тело! И я не знаю… Не отдать ли вам, князь, то сокровище, которое вы так не сумели оценить в первый раз? Не знаю, подумаю…

Мне пора проститься с вами, князь. Но я считаю, долгом вежливости разъяснить те «чудеса», которые я хочу вам показать и которые вы, следовательно, увидите ранее прочтения этого письма. Все эти чудеса объясняются одинаково и просто. Люди считают, что они покрыты кожей со всех сторон. Это большое заблуждение. Да, конечно, поверхность тела закрыта с видимых нам сторон, но если бы мы взглянули на человека в направлении, перпендикулярном нашему пространству, то увидели бы все внутренности человека обнажёнными. Далее, глядя с этой точки зрения на мир, мы увидели бы, что вообще закрытых вместилищ в мире трёх измерений нет. Замкнутая одиночная камера, закрытое портмоне, закрытый шкап, — всё это фикция, всё открыто со стороны четвёртого измерения. Да и закрыть-то нельзя, так как мир трёх измерений в этом направлении имеет

толщину равную нулю… Встав перпендикулярно к нашему пространству, можно легко доставать из «закрытых» помещений всё, что угодно. Выходя из нашего мира, я сам, прежде всего, поворачиваюсь в направлении наклонном к пространству. Если бы кто-нибудь взглянул на меня в этот момент, он, вероятно, последовательно увидел бы все мои внутренности, так же как я вижу его внутренности, когда мне приходит каприз заглянуть из мира четырёх измерений на наше земное человечество.

Прощайте, князь, пора кончать. Желаю вам всего лучшего и более удачных антикварных покупок.

Ваш Клобуко».



— Кончено, господа, — произнёс медленно князь, но никто ему не ответил. На всех чтение письма произвело впечатление и никому не хотелось говорить. Молчание продолжалось довольно долго.

Наконец доктор прервал его.

— В письме вы прочли, кажется, князь, что Клобуко перед смертью, быть может, отдаст вам свой аппарат? — спросил он.

— Да, — отвечал князь.

— В таком случае, я должен вам сказать, что это событие может наступить очень скоро, — прибавил доктор значительно. — Когда изобретатель стоял перед нами в анатомированном виде, так сказать, я успел заметить, у него сильное перерождение сердца. С таким сердцем недолго полетаешь по миру четвёртого измерения!..

— Но что же нам-то делать? — вскричал в недоумении учитель.

— Ждать! — хором ответили все члены кружка любителей бесполезного в математике.



Опыт профессора Парсова

научно-фантастическая повесть

Глава I

Странное соглашение

Решение покончить с собой, — как следствие полной безнадёжности положения, — было принято в окончательной форме Червяковым в тот самый момент, когда он выходил на набережную.

Поэтому выбор способа не представлял уже никакого решительно затруднения. С мрачной решимостью подошёл он к каменному барьеру и занёс левую ногу. Но тут неожиданно задержался и внимательно стал рассматривать воду, чуть отражавшую мутно-жёлтый свет фонарей. Шёл проливной дождь и дул сильный, неутихающий ни на секунду ветер; река вздулась; на ней плавали какие-то щепки и клочья грязноватой пены; гранитный барьер казался скользким и противным.

Вид воды был настолько неутешителен, что Червяков сразу почувствовал, что он насквозь промок, озяб, голоден, и что на голове его почему-то отсутствует шляпа, которая, несомненно, была на ней ещё с четверть часа тому назад.

Он с отвращением устало отвернулся от воды, и глаза его рассеянно остановились на появившейся за его спиной неизвестно откуда фигуре:

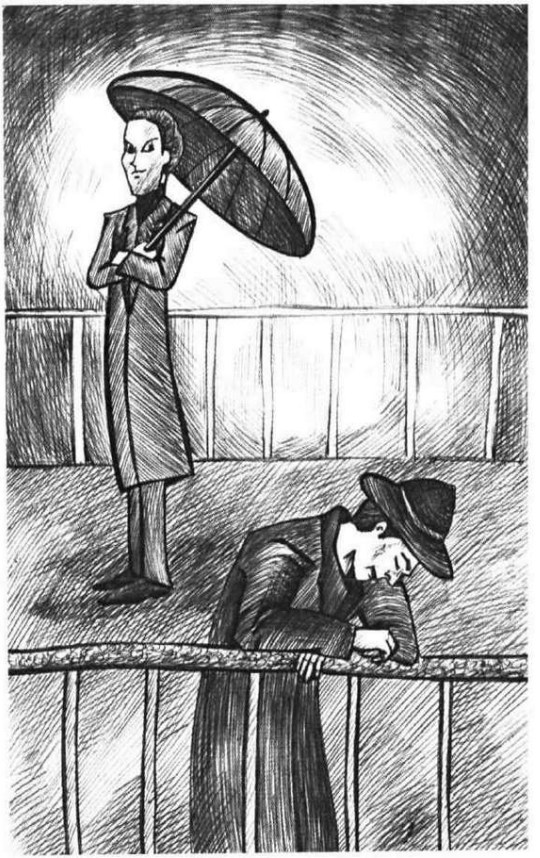
какой-то франтоватый господин стоял перед ним под зонтиком и рассматривал его с критическим вниманием и любопытством. Червяков с недоумением посмотрел на незнакомца; тот же весело и как ни в чём не бывало ему улыбнулся, дотронулся рукой до цилиндра, повернулся и пошёл.

После этого Червяков решил переменить место самоубийства. Тяжело хлюпая башмаками, направился он к мосту, добрался до середины его и опять стал смотреть в воду, перегнувшись через перила.

В это время его хлопнула по плечу чья-то рука.

— По всем признакам топиться задумали, голубчик? — произнёс над его ухом ласковый голос.

Он поднял голову и опять увидел того же самого франта, с которым встретился несколько минуть перед тем. Незнакомец дружелюбно улыбался, сверкая белыми зубами и белками глаз; глаза у него были тёмные и магнетические, красивые и томные, как у женщины.



— Я второй месяц ищу настоящего самоубийцу, — продолжал деловито франт. — Надеюсь, на этот раз не ошибся? Намерения ваши серьёзны?.. Предупреждаю, что могу быть во многом полезен. Я — Станислав Сигизмундович Стыка, врач, магистрант и ассистент известного профессора невропатолога Парсова… Ваше имя? Профессия? Причина самоубийства? На что жалуетесь?

Червяков смотрел, растерянно мигая глазами.

— Если вы не желаете объясняться, то этого можно и избежать. Угодно вам тайну? Я гарантирую полный секрет. Условия, как видите, самые приемлемые и выгодные…

— Что, собственно, вам от меня угодно? — пролепетал Червяков.

— Разумный вопрос, чёрт возьми! — одобрительно подхватил франт. — Сразу видно делового человека. Вы что… чиновник?

Червяков мрачно вздохнул.

— Был до сих пор бухгалтером банка, — отвечал он мрачно. — Сейчас — ничто!

— Потеряли место? Великолепно-с! — подхватил Стыка. — Идеальная причина для самоубийства. И самая, можно сказать, примитивная. Я вижу, мы с вами столкуемся. Особенно я рад, что вы оказались интеллигентом… Окончили,

небось, гимназию? Что? даже университет? О-о… Вот мне везёт-то! Я чувствовал, когда выходил из дому, что сегодняшний вечер не может не навести на окончательную решимость всякого порядочного самоубийцу… Недаром же у меня сразу вывернуло ветром зонтик наизнанку!

Стыка на минуту замолчал, как бы обдумывая возможность дальнейшего соглашения, потом удовлетворённо кивнул головой, очевидно, разрешив вопрос.

— Вы Соломона Соломоновича Петроградера знаете? — деловито спросил он, — директора Русско-Португальского банка?

Ещё бы Червяков не знал Соломона Соломоновича! Да ведь в руках этого гения финансового мира, взлетевшего и просиявшего на небосклоне биржи как ярчайшая из комет, была вся судьба уволенного бухгалтера!

— В таком случае наше дело в шляпе, — перебил Стыка, — Парсов знает Соломошку, потому что лечит его дочь от *globus hystericus*…[12] Надо вам сказать, что мой патрон — великолепней-

---

[12] Примечания: 12

globus hystericus (лат.) — является симптом проявления истерии. «Глобус истерикус» характеризуется судорожным состоянием мускулатуры зева, что наряду с другим симптомом — отсутствием рефлекса глотания, как правило, считается одним из признаков невроза.

ший старикашка, и хотя немножко пошаливает с теософией, но, несомненно, выдающейся ученый, известный врач и человек с крупными связями. Немножко раздражителен, конечно, как всякий старичок, но очень добр и охотно вам поможет. Словом, не вдаюсь в подробности, а обязуюсь предоставить вам не позднее послезавтрашнего дня местечко в Русско-Португальском банке не хуже вашего прежнего места. Теперь… в чём будут заключаться ваши обязанности?.. Вы должны, прежде всего, и главное: не задавать ни одного лишнего вопроса; а затем сейчас же ехать, куда я вас повезу, делать то, что я вам укажу, и вообще подчиняться мне беспрекословно в течение ровно одних суток! Поняли? Через двадцать четыре часа вы свободны, как птица, желаете топиться — топитесь себе на здоровье… Мы с вами вообще друг друга больше не знаем. Всё просто и ясно!.. Извозчик!

— Позвольте, — запротестовал Червяков, — но ведь я же вас совсем не знаю! Куда вы меня повезёте? Да я и не хочу…

— Топиться предпочитаете? Не знаю, хватит ли у вас на это храбрости, но… ваша воля! Я думал, что вам понравится мысль получить хорошенькое местечко в банке ценою безболезненного

и безобидного маленького опыта, который над вами произведут в целях двинуть вперед науку и, может быть, даже облагодетельствовать всё человечество… Но если вы предпочитаете вместе со щепками и мусором плыть к морю… Извозчик, подавай!..

Червяков и Стыка стояли друг против друга, удивительно напоминая удава и кролика: Червяков — маленький, дрожащий, с блуждающим взором подслеповатых глаз, а Стыка — длинный, узкий и гибкий со сверкающими огнём чёрными загадочными глазами.

— Ну, так в последний раз, угодно или нет? — Стыка занёс ногу на пролётку.

Червяков хотел было что-то сказать, о чём-то спросить, но Стыка строго приложил палец к губам. Бухгалтер посмотрел на воду, на извозчика… Неизвестно, что именно на него подействовало, но он вдруг мрачно махнул рукой и полез на дрожки. Стыка тотчас же заботливо окутал мокрую голову бухгалтера тёплым вязаным кашне, и они покатили.

Стыка по дороге так быстро переходил с темы на тему, ни на минуту не умолкая, что Червякову невольно пришла в голову мысль, что его спутник оттого так много говорит, потому что хочет

сам избежать вопросов.

Впрочем, бухгалтеру было не до разговоров. Он, казалось, потерял всякую энергию и волю от усталости. Он бессильно откинулся на мягкие подушки коляски, ветер и дождь не проникали под верх дрожек. Согревшись немного и покачиваясь на мягких рессорах, Червяков задремал под непрерывную болтовню Стыки.

Как в полусне он потом чувствовал, что Стыка при помощи огромного роста швейцара с длинными усами заботливо высаживал его с дрожек; в полусне подымался он по парадной лестнице, проходил по богато убранным комнатам, видел бесконечные шкапы с книгами, банки с препаратами, скелеты и черепа, какую-то чёрную собаку, привязанную на цепочке, которая яростно на него лаяла.

Наконец его ввели в большую комнату вроде кабинета или лаборатории. Здесь ему принесли перемену белья, платье и подали холодный ужин.

Как в тумане Червяков переодевался во всё сухое, ел паштет и цыплёнка и пил кофе с коньяком и, наконец, едва его оставили одного, он повалился на диван и заснул, не успев проглотить последний кусок.

Глава II
Приступили к опыту

Проснулся он от разговора, раздававшегося в соседней комнате. Говорили, очевидно, по телефону. Червяков сразу узнал мягкий тембр Стыки. Другой — хриплый голос — время от времени вставлял в этот разговор, как бы в скобках, отдельные комментарии. Когда бухгалтер понял, о чём идет речь, он весь похолодел от волнения: разговаривали, очевидно, о его назначении.

— Все вакансии заняты? С трудом, говорите, можно принять младшим кассиром? — услышал Червяков слова Стыки.

В то же время второй голос пояснил:

— Врёт, животное!

— Но это совсем не то, что нам нужно… Нам требуется место бухгалтера, уважаемый Соломон Соломонович… что? да, да, сам профессор вас об этом просит непременно… как же вы говорите, что нельзя?

— Скажите ему, Стыка, что он неблагодарная свинья, — вставил второй голос, — и что это говорю ему я, Парсов!

— Вот, вот именно… Профессор свидетельству-

ет вам своё искреннее почтение и просит вас… что? Да, да, я уверен, что ваш отказ так оскорбил бы его, что о продолжении лечения не могло бы быть и речи… Что? Так в Русско-Португальском банке, говорите? Бухгалтером? Шесть тысяч и проценты… Очень благодарен… До сви… маленький припадок у дочки? Это ничего. Поите её бромом! Поите целыми бутылками, говорю я вам, и барышня расцветёт, как роза! Приём послезавтра… Всего…

— Зазнавшийся скот, — резюмировал хриплый голос.

Трубку повесили, и Червяков собрался уже предаться самой бурной радости, когда снова услышал голоса.

— Я рад, что удалось устроить этого бедного молодого человека, — произнёс хриплый голос. — Меня трогает его искренняя преданность науке… Вы говорите, что он сам упрашивал вас подвергнуть его опыту?

— Ещё бы не упрашивал! — подхватил Стыка, — почти умолял на коленях!.. Человек так заинтересовался опытом, что… не пора ли приступить?

— Вы уверены, что не оказали на него никакого давления, что предупреждали его об опасности?

— Конечно, уверен. Как бы я позволил себе этого

не сделать, зная ваши гуманные точки зрения?.. Однако уже половина первого, профессор.

— Хорошо, — отвечал голос. — Тогда мы можем начать. Наука имеет свои права и... чёрт возьми! Теперь уже никакая сила не остановит производства опыта. Мы стоим на пороге великого открытия. Ни шагу назад! Прочь слабость!.. Идёмте.

Дверь, ведущая в комнату, где сидел Червяков, распахнулась, и на пороге её показались Стыка и ещё один человек, вид которого страшно поразил Червякова. Профессор Парсов имел не более двух аршин и двух вершков росту, но зато обладал такой огромной головой, увенчанной шапкой длинных седых волос, что Червяков готов был поверить, что в ней помещается вся наука без остатка. Глаза профессора смотрели довольно простодушно и доверчиво, но иногда в них вспыхивал раздражительный и упрямый огонёк фанатика.

В сущности, голова профессора, оставив в стороне её величину, была типичной головой учёного, немножко рассеянного и немножко чудаковатого. Но на Червякова вид её подействовал потрясающим образом. Он и вообще был несколько робок, а теперь струсил окончательно.

С минуту бухгалтер и учёный рассматривали друг друга в упор. Наконец второй из них слегка кивнул головой, как бы в знак того, что осмотр его удовлетворил. Затем он нашёл нужным преподать Червякову некоторые пояснения по поводу предстоявшего опыта. Он начал ему говорить что-то длинное и не особенно понятное о мозге и душе, обрисовал роль нервной системы в душевных процессах и тесную зависимость последних от первой; потом привёл ряд примеров, как при поражении той или иной части мозга у человека наступает расстройство определённой функции, вроде потери дара речи, или он заболевает определенной формой душевной болезни. Бухгалтер смотрел, широко раскрыв глаза и не мигая, но никак не мог себя заставить слушать профессора.

— Впрочем, вы всё это, вероятно, и сами знаете, если прослушали или прочли, хотя бы самый популярный курс психологии, — сказал профессор. — При вашем интересе к науке вы наверно читали, например, хоть Джеймса или «Мозг и душа» Челпанова?

Червяков не читал ни того ни другого, но со страху соврал, что читал.

— В таком случае, — продолжал профессор, — вы должны знать, что установление тесной

зависимости душевной деятельности человека от деятельности его нервной системы навело некоторых исследователей на мысль, что не только главным, но и единственным фактором всех духовных процессов является мозг и ничего иного в основе этих процессов и не имеется. Это, если хотите, сейчас взгляд официальной науки. Отдельные же психологи и психопатологи идут ещё дальше, отрицая даже вообще непрерывность душевных процессов. Не только не существует никакого «я» или «чистого ego» как «непрерывно мыслящего субъекта», но и вся душевная деятельность есть не более, как сумма отдельных быстро сменяющихся психических состояний, соответствующих отдельным состояниям нервной системы… Вы следите?

— Слежу! — отвечал Червяков, не спуская глаз с профессора и решительно ничего не понимая.

И опять речь профессора, привычная, гладкая, потекла, как ручеёк, а бухгалтер, убаюканный её размеренным течением, тихонько принялся мечтать о должности в Португальском банке.

Вдруг он весь вздрогнул от неожиданности: ученый схватил его за пиджак и, свирепо вращая глазами, закричал:

— *Вы* должны обнаружить всю ложность этой

теории! *Вам-с,* молодой человек, принадлежит честь *доказать* строго научным путем, что *душа существует!*

Такая нелёгкая «честь» показалась Червякову совсем не по силам. Он растерянно пролепетал:

— Как же я это буду… того, доказывать?

— Очень просто-с, — возразил профессор, — я произведу над вами опыт. Изолирую вас от вашей нервной системы. Отрежу вас в некотором роде от вашего мозга, а затем буду наблюдать и сравнивать… Понимаете, небольшой опыт по методу остатков и сопутствующих изменений!

Бухгалтер понял только, что его будут резать, и так побледнел, что Стыка поспешил вмешаться.

— Всё это совершенные пустяки, — шепнул он Червякову успокоительно: — старик вас только зря пугает! Пустячный опыт, в основе которого будет лежать гипнотизм. Я вам гарантирую 99 шансов безопасности!

Но видя, что Червяков всё ещё дрожит от страха, Стыка напомнил ему об ожидавшем его завтра месте бухгалтера и тем хоть несколько ободрил бедного бухгалтера.

— Ну что ж, пора бы и приступать, профессор, — сказал Стыка, боявшийся, как бы Парсов опять не огорошил Червякова каким-нибудь новым

«разъяснением».

Профессор взглянул на часы и заторопился.

— Да, да, — отвечал он? — приступим. Станислав Сигизмундович, вы бы измерили жизненную энергию испытуемого субъекта…

Бухгалтер насторожился было при последних словах, но затем махнул рукой, как бы складывая с себя всякую дальнейшую ответственность за могущие быть с ним последствия, и поплёлся вслед за Стыкой в лабораторию.

«Измерение жизненной энергии» производилось посредством особого аппарата, изобретения самого профессора Парсова.

Бухгалтера соединили в разных точках его тела проводами со сложным записывающим прибором и затем последовательно подвергали действию различных раздражителей: заставляли пробовать сахар и красный перец, нюхать розу и нашатырный спирт, слушать камертоны разных тонов; через него пропустили электрический ток, ослепили на мгновение вспышкой магния, и в заключение Стыка пребольно уколол его иголкой в икру левой ноги, так что бухгалтер заорал во всё горло.

— Великолепная реакция на неприятные раздражения! — констатировал Парсов, — и при

полном почти равнодушии к приятным… Поразительная односторонность! Вы, молодой человек, прямо созданы быть пессимистом и самоубийцей…

Профессор долго и с наслаждением рассматривал вынутую им из аппарата полоску бумаги, на которой появилась «кривая жизненной энергии» бухгалтера. Особенно его восхищал резкий скачок кривой в момент укола иглой. Наконец он оторвался от графика и сказал, обращаясь к Червякову:

— Здесь, молодой человек, записаны все приметы вашей души; истинный её паспорт, так сказать. Если бы ваша душа вздумала от вас убежать, — хе-хе! — то мы бы её изловили по этому документу-с, как преступника по отпечатку его большого пальца… хе-хе!

Стыка беспокойно бегал по комнате.

— Начнёмте же, профессор! — заговорил он чуть не в десятый раз.

Лицо профессора вдруг изменилось. Улыбка разом сбежала с него, уступив место выражению торжественности, которая постепенно перешла от него и к Стыке. Оба помолчали несколько секунд.

Наконец профессор произнёс дрогнувшим

голосом:

— Что ж? Начинать, так начинать…

Червякова уложили на диван. Ассистент сел рядом с ним. Профессор повернул выключатель; в комнате наступила тьма. В ту же минуту Стыка начал пассы, а перед глазами Червякова как бы в воздухе вспыхнула ослепительно яркая точка, к которой невольно приковался его взор. Им постепенно начала овладевать сонливость. Опыт профессора Парсова по сравнительному методу остатков и сопутствующих изменений начался с гипнотического сеанса…

Глава III
Первые впечатления бухгалтера

Некоторое время после того, как меня положили на диван, я думал о разных предметах, например, о предстоящем мне получении места, об опыте и т. п. Затем я начал впадать в забытьё и, наконец, как будто потерял сознание. Первое, что могу после этого вспомнить, были мои сонные грёзы… Так как сны, которые мне снились, были не совсем обычны, то я позволю себе остановиться на них хоть немного.

Наряду с обыкновенными зрительными и слу-

ховыми образами, во всех моих снах почему-то играли несоразмерно важную роль запахи, причём преобладали запахи съестные: жареного мяса, сырого мяса, какой-то жирной вкусной каши; были и другие запахи, с которыми определённо соединялись мысли о тех или иных предметах, людях и животных. Как это ни странно, были запахи симпатичные и несимпатичные; некоторые вызывали во мне сладкое биение сердца, другие возбуждали гнев, страх или тоску. Сны были отрывочные. Я видел, например, в одном из снов какого-то великана-мужчину и великаншу-девочку. Великан внушал мне страх и глубокое почтение, переходившее в преклонение, девочка — нежную любовь. Когда она положила мне на голову свою руку, я думал, что сердце мое разорвётся от радостной гордости и восторженного обожания. Затем мне снилось, что я преследую в безумной скачке какое-то огромное хищное животное, ростом с телёнка, но внешним видом близко напоминающее тигра или кошку. Запах этого животного раздражал меня до безумия. Я готов был растерзать его на куски… Это был мой последний сон.

Проснулся я от лёгкого укола, вроде укуса какого-нибудь насекомого, в шею. Не открывая

глаз, я ловким, привычным движением поднял на воздух левую ногу и кончиком её почесал укушенное место. Уверяю вас!.. Мне и в голову не пришла мысль о всей нелепости и неприличии моего поступка. Я даже не задумался ни на секунду о том, с каких это пор я стал способен на такие акробатические упражнения! Я не задумывался ни над этим, да и ни над чем другим, а просто, так как спать мне больше не хотелось, то я открыл глаза, сладко зевнул и лениво обвёл вокруг себя взором.

Я находился в комнате (лежал на полу) и надо сознаться… комната эта была довольно-таки оригинальна. Она, несомненно, предназначалась для великанов: не говоря уже о высоте стен, даже мебель по размерам казалась годной разве для людей раза в четыре выше ростом, чем обыкновенные люди. Курьёзны были стены комнаты: они как бы были наклонены наверху наружу. Но всего забавнее оказались картины: такую нелепую и бессмысленную мазню трудно было даже себе представить!

И вот, как это ни странно и ни противоестественно, — но вид такой изумительной комнаты не возбудил во мне ни малейшего любопытства. Мне эта комната показалась самой обыкновен-

ной… И означало это что, изменились — в силу непонятных причин! — мои собственные точки зрения!

Впрочем, я так же не замечет никаких перемен в самом себе, как не замечал и странностей в окружающей меня обстановке.

Изменились не только мои взгляды на вещи, но несомненно, и притом коренным образом, изменилось моё самосознание.

Самой важной переменой было исчезновение памяти о прошлом. Я в те минуты решительно ничего не помнил о своей прежней жизни. Поверите ли, я забыл даже, что я — бухгалтер Червяков!

Но, вместе с тем, я отнюдь не воображал себя и кем-либо другим.

Я просто не задавался вопросом о том, кто я, откуда взялся и почему лежу на полу. Такие вопросы для меня не существовали, уже по той одной причине, что я не замечал ничего необычайного или заслуживающая какого-либо внимания в моём настоящем положении.

Я принимал факты без критики и без всякого к ним интереса. Я думаю, самое верное будет, если я определю свой душевный мир в то время как *чрезвычайно бедный мыслями и какой бы то ни*

было психической работой. Изредка мелькали в моем мозгу какие-то коротенькие мысли о пище, о прогулке и ещё о чём-то таком же несложном… Они вспыхивали и тотчас гасли, так как сосредоточиться на чём-нибудь я положительно был не способен.

Впрочем, извиняюсь за все эти подробности, а потому возвращаюсь к фактическому изложению событий.

Я лежал, — как говорил уже, — на полу в странной, чтобы не сказать больше, позе: свернувшись полукольцом и опираясь на локти, я ухитрился положить голову подбородком на пол. Поза эта, несмотря на её явную противоестественность, была весьма удобна, и я собирался было долго так пролежать и, быть может, снова уснуть, как вдруг… чуть заметный шорох привлёк моё внимание. Хотя он раздавался из противоположного угла комнаты, но мой необычайно утончившийся слух ясно различил его.

Моментально с меня слетала всякая сонливость. Чувство самого напряжённого внимания, беспокойства и страстного любопытства овладели мною. Я почему-то уверен был, что шорох производит живое существо; и во мне с неудержимой силой загорелся *охотничий* инстинкт,

которого я никогда и не подозревал в себе раньше.

Как на пружинах, я вскочил с места и в несколько прыжков был уже там, где раздавался подозрительный шорох. При этом я заметил, что я привязан, так как что-то удерживало меня, сдавливая шею. Впрочем, я лишь мельком обратил на всё это внимание, потому что весь был поглощён тем, что увидел перед собой.

По ножке дивана полз… таракан!

И такое, по существу, ничтожное обстоятельство, оказалось, способно взволновать меня настолько, что я… нет, просто не могу продолжать, такая это была гадость, такой стыд!..

Я… одним словом, я схватил таракана зубами, с весёлой жестокостью несколько раз грызнул его и потом бросил на пол!

И в тот же самый момент, опустив случайно глаза вниз, я увидал… что вместо рук у меня маленькие, тоненькие…»

Глава IV
Неожиданный оборот событий

Сеанс гипнотизма, по-видимому, немало стоил труда ассистенту Стыке; он сидел на кресле со-

вершенно измождённый, отирая пот с лица.

Бухгалтер Червяков, или вернее то, что было только что бухгалтером Червяковым, а именно его бесчувственное и неподвижное тело лежало на кушетке.

Профессор вторично соединил это тело с аппаратом измерения жизненной энергии. Но напрасно он пускал в ход механизм, напрасно колол и щипал бухгалтера, — карандаш чертил совершенно ровную черту. Тогда профессор, который был, очевидно, вполне доволен именно таким результатом опыта, так как радостно потирал руки, отцепил проволоки и оставил бездыханного Червякова в покое.

— Энергия — нуль! — кратко резюмировал он и добавил, обращаясь к Стыке: — Теперь, поскольку с телом человека нам делать нечего, мы немедленно можем приступить к опыту над собакой… Станислав Сигизмундович, потрудитесь, пожалуйста, приступить к опыту!.. Не забывайте, что здесь не спальня, а лаборатория-с! Прежде всего, измерим жизненную энергию собаки…

Профессор, несомненно, не любил терять времени и, не окончив, видимо, одного опыта, брался за другой.

Так, вероятно, подумал Стыка, но он ничего не

ответил своему раздражительному патрону и со вздохом поднялся с кресла.

Он взял было собаку за ошейник, но тотчас же отдёрнул руку, так как пёс весьма недвусмысленно оскалил зубы.

— Гм… гм… Как же бы это её взять? Пёс, по-моему, совсем не интеллигентный! — замялся ассистент. — Знаете что, профессор, может быть, вы, как изучавший столько лет зоопсихологию, используете теперь свои знания и сами попробуете взять собаку?

Однако это вовсе не входило в планы профессора.

— Вы с ума сошли, милейший, — возразил он хладнокровно. — Где же это видано, чтобы ассистенты взваливали на профессора приготовление животного к опыту!.. И, кроме того, вы же сами откуда-то привели этого пса, следовательно, это ваш пёс и несомненно должен вас слушаться.

— Мой пёс… — проворчал Стыка, — да я его первый раз сегодня увидел! И, кроме того, нельзя отрицать, что субъект, продавший мне собаку, был очень подозрителен; я ставлю сто против одного, что собака была краденая!..

Стыке, однако, пришлось-таки взяться за собаку, и хотя он через несколько минут и обмотал

её проволоками вроде вестфальской колбасы, но она успела раньше укусить его за руку.

Началось измерение жизненной энергии собаки. Профессор внимательно следил за записью аппарата и то и дело потирал руки от удовольствия. Время от времени он сравнивал график с той кривой, которая осталась от предыдущего опыта над Червяковым.

— Поразительные результаты! — шептал он, и вдруг, когда бумажная лента окончилась, не выдержал — бросился к Стыке, и, тыча ему в самый нос бумажную полосу, вскричал:

— Вы видите этот скачок кривой? Понимаете вы всё его значение?!

Стыка, очевидно, видел и понимал, так как восхищался таинственной записью не менее профессора; однако ему волнение не мешало делать дело. Он промыл и забинтовал свою руку и пошёл развязывать собаку.

— Что с ней теперь делать? Снова на цепь? — спросил он. — Может быть, опять примемся за бухгалтера?

— Нет, — отвечал профессор, — бухгалтера пока оставим в покое. Посадите собаку на пол и давайте понаблюдаем за ней спокойно и терпеливо, — часа этак два подряд… Может быть, она

окажется и не такой уже «неинтеллигентной», как вам показалось, что? Ха-ха!

Собака оказалась действительно умнее, чем думали Стыка и профессор.

Едва ассистент успел посадить её перед профессором, как она, точно угорь, скользнула между их ногами, стрелой пронеслась к чуть прикрытой двери, открыла её лапой и с радостным лаем кинулась по коридору.

Стыка, было, на секунду растерялся, а затем бросился за ней с криком неподдельного ужаса. За ним следом побежал и профессор, ковыляя на своих коротких ножках.



Собака миновала коридор, слетела с чёрной лестницы и, так как наружная дверь оказалась тоже не запертой, выбежала во двор.

Напрасно профессор и ассистент кричали:

— Держи! Лови!

Собака мимо оторопевшего дворника выскочила на улицу, стрелой пронеслась по ней и скрылась за поворотом.

Преследователи остановились в отчаянии: дальше улицы расходились в четыре разные стороны, и куда побежала собака — отгадать не было никакой возможности.

Неудачные учёные вернулись с пустыми руками.

Уныние обоих было безгранично.

Ассистент лежал в кресле и стонал. Профессор после шибкого бега и от волнения был близок к обмороку.

— Погиб! — шептали трепетные уста Парсова, — погиб несчастный, доверившийся мне, и с ним погибла вся моя научная работа! О-о… Погибло великое научное открытие, которое могло всколыхнуть всё человечество! Погибло всё!.. Всё, ничего не осталось!

Стыка пробормотал что-то в утешение, но тотчас же снова умолк. В комнате воцарилась

мёртвая тишина…

Вдруг Парсов вскочил с места.

— Но что же нам теперь делать? — вскричал он. — Нельзя же оставить дело в таком идиотском положении! Мы должны во что бы то ни стало найти собаку!

Стыка слабо вскинул глазами.

— Но как? — пролепетал он. — Что мы можем сделать?

— Мы напечатаем объявление в газетах, что пропала собака…

— Боюсь, профессор, что она краденая. Теперь пёс, очевидно, вернётся к своему настоящему хозяину, если только… его не свезут раньше на Гутуевский остров!

Профессор посмотрел вопросительно на своего ассистента.

— Как вы сказали? — переспросил он. — На Гутуевский… остров?

— Это такое место, куда свозят бездомных собак, — пояснил Стыка.

— А что с ними там делают?

— Топят или вешают, — хладнокровно отвечал ассистент.

Профессор схватил себя за волосы и со стоном повалился на ковер.

Стыка не на шутку испугался, что его поразил апоплексический удар.

Он кинулся было к профессору, но тот вдруг сам вскочил на ноги.

— Сейчас же, немедля, не теряя ни секунды! — заговорил Парсов хрипло, надевая на голову шляпу задом наперёд, и с трудом натягивая на себя пальто Стыки, которое первым попалось ему на глаза. — Бегу, пока не поздно!

— Но куда, профессор?

— Туда, на этот ваш… как его к чёрту? Гутуевский остров! А потом в редакцию. — Слышите вы, — прибавил он с решимостью отчаяния, — если даже ваш дьяволов остров находится посредине Атлантического океана, я и тогда через час буду на нём! А вы извольте-с стеречь здесь тело бухгалтера… О, несчастный!

С этими словами профессор исчез. Стыка посмотрел на часы, с беспокойством взглянул на спящего Червякова, послушал его пульс, пожал плечами… ещё раз послушал сердце, подставил даже зеркало к его губам, попробовал разные пассы: тело оставалось недвижимо…

Тогда Стыка в мрачном раздумье опустился в кресло…

Глава V
Редакция, сыскное бюро и Гутуевский остров

Редакция газеты «Столичные ведомости» видела немало чудаков и оригиналов, но когда в неё ворвался растрёпанный, толстый и маленький человечек в явно чужом пальто, доходившем ему до пят, то редактор в изумлении приподнялся с места.

— Вы — редактор? Я желал бы поместить объявление, — заявил хрипло незнакомец.

— На послезавтра, конечно! — осторожно спросил редактор.

— К чёрту послезавтра! — возразил тот, — оно будет в завтрашнем утреннем.

— Невозможно, — отвечал редактор, и было сел.

— Пятьсот рублей! — произнёс незнакомец, и глаза его свирепо сверкнули.

Редактор подумал, спросил о чём-то находившегося здесь же метранпажа и затем решительно ответил:

— Нельзя. Газета свёрстана.

— Тысяча рублей!

— Нельзя-с. Дело не в цене…

— Две тысячи!

Редактор посмотрел на метранпажа, тот на него, и оба обменялись шёпотом несколькими словами.

— Деньги с вами?

— Здесь.

Вновь разговор шёпотом.

— Вот что, — ответил редактор деловым тоном, — за две тысячи мы разошлём при завтрашнем утреннем выпуске ваше объявление на особом листке. В вечернем же выпуске и послезавтра можно будет напечатать уже в самой газете…

— На первом листе, по самой середине и не меньше, чем вот такого размера…

Незнакомец отмерил руками расстояние вдвое больше газетного листа…

— Никак не меньше, — успокоительно заявил редактор, — каким же будет ваше объявление?

Редактор и метранпаж с изумлением услышали:

> «Пропал чёрный пудель, купленный накануне. Подозревается, что он был краденый. Примет никаких. Кличка неизвестна. Доставившему в редакцию газеты

— 3000 рублей вознаграждения».

Когда деньги были уплачены, и незнакомец удалился, метранпаж многозначительно похлопал себя пальцами по лбу.

Редактор же задумчиво произнёс.

— Н-нет, пожалуй… Не спрятано ли у пуделя под шерстью что-либо *особенно ценное?*

Через несколько минут маленький толстяк в чужом пальто, сидя в сыскном агентстве и окружённый пятью самыми способными сыщиками, сговариваясь с ними об условиях использования их услуг. Вознаграждение было настолько щедрым, что сыщики от удовольствия даже потирали руки.

— Но кого же мы должны ловить или искать? — спросил один из них, делая такое движение носом, как будто сейчас же хотел кинуться по следу.

Незнакомец посмотрел на него задумчиво.

— Пуделя! — выпалил он.

— Пуделя?.. то есть как же это …пуделя?

— Так. Собаку… Сбежала… Поймать надо непременно.

— Позвольте, господин. Как же её поймать, если она сбежала?..

Незнакомец заворочал гневно глазами.

— На то вы и сыщики, чтобы ловить.

— Но мы, господин, не для этого предназначены. Мы ловим только людей. У нас есть тоже свое… самолюбие!

— Удваиваю вознаграждение! — взревел незнакомец. — И к чёрту ваше самолюбие!

Через четверть часа пять сыщиков, побрякивая в карманах щедрым задатком и насмешливо перемигиваясь, отправились искать пуделя. Толстяк же с большой головой полетел на Гутуевский остров.



Стыка, утомлённый пережитыми волнениями и трудом, храпел на кресле, рядом с распростёртым на диване, по прежнему неподвижным Червяковым.

Вдруг какой-то странный шум заставил его вскочить на ноги. Шум всё увеличивался и как бы приближался. Скоро он раздался уже несомненно в соседней комнате. Похоже было, как будто рядом был не кабинет учёного невропатолога, а зверинец или, ещё вернее, псарня.

Стыка поспешил распахнуть дверь и остановился, как вкопанный. Перед ним стоял профессор,

державший на привязи десяток чёрных пуделей.

— Принимайте первую партию! — воскликнул он деловито. — Надо их покормить. Который час?

— Откуда это? — лепетал озадаченный ассистент, принимая из рук профессора концы верёвок.

— С Гутуевского острова… Я купил всех наличных чёрных пуделей и вошёл в соглашение с администрацией, что мне будут доставлять в редакцию газеты все вновь поступившие экземпляры по десять рублей с головы. Я полагаю, Станислав Сигизмундович, что вы теперь же, не теряя времени, приметесь по очереди проверять их жизненную энергию, сравнивая её с нашей записью. Других ведь признаков мы не имеем…

Но ассистент, оказывается, уже успел вспомнить ещё два признака сбежавшей собаки: у неё около левого плеча был вырван клок шерсти, и на ошейнике остался небольшой кусок проволоки.

Все пудели были тотчас же проверены, но, к сожалению, ни у одного из них не было ни того, ни другого признака.

Профессор с шумом вздохнул и направился к телефону, чтобы переговорить с редакцией. Едва их только соединили, как он услышал:

— Редакция «Столичных ведомостей»... Ах! Это вы, наконец?.. Приходите, прошу вас, немедленно! Доставлено сто шестнадцать пуделей... подвозят ещё новых... Если вы не явитесь тотчас, пошлю всех к чёрту!..

В редакцию поехал на этот раз Стыка. По дороге он купил только что вышедший вечерний номер. На середине первой страницы красовалось гигантское объявление профессора. Случайно Стыка заметил рядом с ним другое — весьма скромное — объявление:

> «Прошу лиц, видевших бывшего бухгалтера Червякова, сообщить об этом его жене. Ушёл вчера с утра, сильно взволнованный и огорчённый: был одет в серое пальто».

Глава VI
Продолжение рассказа бухгалтера

...Чёрные лапки!

Да, господа, на месте рук у меня оказались маленькие, тонкие, покрытые чёрной шерстью лапы. И сам я стоял уже не на двух ногах, а на четырёх лапах. Таковы были результаты неве-

роятного, рискованного, безумного опыта двух бессовестных учёных, который они не постеснялись произвести над живым человеком, даже не предупредив его о возможных последствиях.

Когда сейчас я рассказываю обо всех этих прошлых событиях, я уже знаю значение произошедшей тогда со мной перемены. Знаю, что непонятным для меня способом, профессор Парсов переселил моё сознание, или часть моего сознания, или, наконец, употребляя его собственное выражение моё «чистое я» в животное.

Да-с, именно — в животное… В собаку!..

Но в тот момент, когда взгляд мой впервые упал на злосчастную лапку, я далеко не так ясно воспринимал значение совершившегося события. Ведь я приобрёл не только наружность, но и мозг собаки. Мой собственный мозг остался инертным в парализованном теле бухгалтера, и я потерял всякую связь с ним, а, следовательно, и мыслил исключительно мозгом собаки. Между тем этот беспомощный жалкий мозг животного жил до этого своей собственной жизнью и продолжал её и после моего непрошенного переселения в него, лишь постепенно и очень неохотно начиная повиноваться «мне».

Конечно, мозг собаки не мог сколько-нибудь

ярко и ясно осветить мне моё положение. Я смутно чувствовал, что со мной что-то произошло и произошло нечто очень скверное. Но что именно — я совсем не понимал. Памяти о минувшей моей жизни не осталось вовсе или почти вовсе. Для мозга же пуделя зрительный образ лапы был самым обычным и не вызывал никаких беспокойных ассоциаций образом. При таких условиях неудивительно, что моё открытие, — если только можно назвать это открытием, — вызвало во мне лишь глухое, тоскливое волнение, без понимания даже его причин.

Быть может, вам всё же не совсем понятно моё тогдашнее душевное состояние? В таком случае постарайтесь припомнить, не было ли с вами вот какого переживания: вы попадаете в какое-нибудь совершенно вам незнакомое место, и вдруг… вам кажется, что вы здесь уже тут *когда-то были.* Вспомнить, когда и при каких условиях это происходило, вы абсолютно не можете, но чувствуете, что вы здесь были наверняка… А, между тем, разум говорит, что вы здесь первый раз. Наверное с вами было это хоть раз в жизни?.. Так вот, по мнению теософов, это смутное воспоминание служит ясным доказательством того, что вы действительно были в этом месте,

но были *до своего рождения,* т. е. тогда, когда вы были ещё не тем, что вы сейчас. Конечно, продолжают теософы, вы не можете вызвать в своей памяти отчётливых образов предметов, так как *не ваши* глаза их видели раньше и *не ваш* мозг их запечатлел. Это есть явление исключительно *душевной памяти.*

Не знаю, правы ли вообще теософы, но ко мне их теория вполне приложима, так как я — единственный из людей, пережил действительно *научно запротоколированный факт метампсихоза…*

Добавлю ко всему сказанному только ещё одно: единственным внешним выражением моего душевного беспокойства было то, что я совершенно непроизвольно и неожиданно для себя закинул голову и завыл тонким, жалобным собачьим воем…

А теперь позвольте продолжать описание фактических событий.

Мой вой был прерван совершенно неожиданно. Я увидел подходящих ко мне двух людей.

Оба были того огромного роста, какого казались мне все люди с тех пор, как я сам, превратившись в пуделя, уменьшился объёмом в несколько раз. Ноги людей представлялись мне огромными и

непропорционально длинными; тело кверху постепенно суживалось и увенчивалось совсем маленькою головкою. Такую иллюзию давала перспектива.

Одного из приближавшихся ко мне людей я знал и… ненавидел. Это был ассистент Стыка. Почему он внушал мне такую ненависть, не знаю, но она была несомненна. Другой был мне незнаком. Вероятно, это был профессор Парсов.

Увидев Стыку, я сразу почувствовал такой сильный прилив гнева и страха, что вся шерсть поднялась у меня на спине дыбом, зубы оскалились, и я яростно зарычал на подходивших ко мне людей.

Это, по-видимому, их испугало, и они ушли в противоположный угол комнаты. Я же продолжал лаять и рваться на цепи, к которой был привязан. Через несколько минут ко мне вернулся Стыка, на этот раз он был один. Он наклонился надо мной, не спуская с меня глаз. Очевидно, он ловил момент, чтобы удобнее схватить меня. Его взор обладал какой-то особой мучившей меня силой, вызывавшей во мне просто бешенство. Вдруг, удачно извернувшись, я кинулся на него и впился зубами в его руку!

Конечно, моё нападение помогло мне мало. Че-

рез минуту человек уже зажал меня под мышкой, как клещами, и поволок к какому-то странному предмету причудливой формы, внушавшему мне дикий ужас… Сейчас я знаю, что этот страшный предмет был всего-навсего невинным аппаратом для измерения жизненной энергии. Но если бы учёные могли представить себе, *что* чувствуют несчастные животные, обречённые на вивисекцию только от одного ожидания мучений, они, — я верю! — во многих случаях, когда это не вызывается безусловной необходимостью, отказались бы даже от сравнительно невинных опытов над животными. Вздор, что животные не понимают своей участи! Они так хорошо её понимают, что, говорят, некоторые собаки перед опытом седеют от страха…

О! Как я страдал!.. Такой ужас, такая смертная тоска, такое сознание беззащитности! Я стонал, я выл, слёзы текли из моих глаз, и я взглядами умолял жестокого человека сжалиться надо мной, — маленьким, слабым, беспомощным животным, которое не в силах защищаться и не может просить словами… Когда опыт кончился, я дрожал всеми членами, как в лихорадке…

Затем, благодаря рассеянности учёных, забывших запереть дверь, мне удалось бежать от моих

мучителей.

Какое это было счастье! Какое ясное чувство свободы, простора, избавления от опасности охватило меня, когда я выбежал на улицу. Чудно хорошо было мчаться, опустив голову вниз, к самой земле, отыскивая верное направление пути, то по еле уловимым запахам, то по какому-то ещё другому особенному чувству, определить которое я не умею! Земля, как длинная чёрная полоса, быстро уходила из-под моих ног, и я мчался — чем дальше, тем всё более уверенный, что я на верной дороге.

По мере того, как я бежал, мною овладевало чувство непреодолимого стремления к цели. Я ещё не знал её, но уже предчувствовал: это были те неведомые прекрасные существа, которых собачья половина моего «я» любила горячей любовью. Я знал, что я приближаюсь к ним и что вот-вот сейчас увижу их! Так велико было желание поскорее достигнуть цели, что я нарочно обегал кругом все попадавшиеся на пути соблазны: встречных собак, булочные и мясные лавки и разные кучи мусора, от которых шёл такой приятный, возбуждающий аппетит запах!

Постепенно я начал узнавать местность: вот улица, за поворотом которой будет другая, а там…

я понёсся как стрела!

Наконец я увидел небольшой деревянный дом с двориком, наполнивший моё сердце удивительно сладостным чувством. Уже издали слышался оттуда симпатичный звук собачьего лая и визга и родной запах многих знакомых псов… О, как я любил всё это!

Всё ближе и ближе… Бурей ворвался я на крыльцо и, наконец, увидел то существо, к которому так жадно стремился: это был он, тот самый прекрасный и величественный, как божество, великан, которого я видел во сне…

С восторженным лаем и визгом кинулся я лизать ему руки…»

Глава VII
Неожиданный аукцион у Дворняшкина

Владелец собачьего питомника Дворняшкин не очень огорчился, узнав о пропаже одной из своих собак. Это был человек тупой и опустившийся, непомерной толщины. Его трудно было вывести из сонного равнодушия. Не так отнеслась к делу дочь Дворняшкина, Маруся. Она была немало огорчена, узнав, что убежал тот самый пуделёк,

которого она особенно любила. Любила, кажется, за его выдающуюся глупость. Когда же на другой день Каро вернулся, неся на ошейнике обрывок какой-то проволоки, девочка была положительно тронута и собственноручно накормила его остатками обеда на кухне. Псы, надо сказать, особенно ценили эту честь.

Каро прыгал вокруг девочки, лизал ей руки и жадно засматривал в глаза. Девочка, больше ради того, чтобы не садиться сразу за уроки, начала учить пуделя разным штукам. Дворняшкин, между прочим, занимался и дрессировкой собак, продавая потом наиболее способных псов знакомому клоуну. У него были обручи для прыгания, узкие высокие табуреты, картоны с большими цифрами и буквами и прочие наглядные пособия собачьей педагогики.

Девочка попробовала две-три лёгких штуки, и, с удивлением заметив, что Каро против обыкновения на этот раз очень легко идёт на выучку, перешла к трудным фокусам. Оказалось, что и их Каро усвоил с какой-то исключительной лёгкостью. Тогда девочка взялась за карточки с цифрами…

Через час она не без торжественности позвала отца.

— Смотри, папочка, — сказала она ему, — ты говорил, что Карочка глупый пуделёк. Ну, вот ты и увидишь, как ты был к нему несправедлив… Каро, принеси «три»!

Пудель пошёл в угол и принёс в зубах картон с цифрой три. Он умильно замахал хвостом и остановился.

Дворняшкин тяжело дышал своим большим животом и молча подтянул брюки. Маруся погладила пуделя и велела ему принести «пять».

Пудель принёс и пять и снова остановился, не спуская преданных глаз с своей повелительницы.

— Теперь сложи… Каро, сложи три и пять!

Дворняшкин шевельнулся. На его жирном лице появилось нечто вроде слабого любопытства.

Каро быстро побежал в угол, разбросал там несколько картонов и схватил тот, который ему был нужен.

Когда Дворняшкин увидал на картоне цифру «восемь», он сильно засопел носом. Это у него означало, что он думает. Посопев немного, он наконец проговорил:

— За такого пуделя в цирке двух четвертных билетов не пожалеют, — и ушёл спать.



Поздно вечером дочь разбудила отца и, сверкая восхищёнными глазками, потащила в соседнюю комнату.

— Смотри, папочка… Каро читает! — воскликнула она.

Дворняшкин с изумлением увидел, что пудель стоит задними лапами на стуле, а передними опирается в развёрнутую книгу. Взгляд собаки, озадаченный и словно припоминающий, был устремлён на страницы.

Дворняшкин засопел было, потянул кверху штаны и вдруг рассердился.

— Глупости, это всё! Глупости! — воскликнул он с досадой, обращаясь к девочке. — Только шалишь зря! Уроки-то выучила?



Затем он пинком сбросил пуделя со стула и, ворча про себя, ушёл в спальню…

Он ещё не знал тогда, какие сюрпризы готовит ему пудель на следующий день!

Дворняшкин вставал рано, часов в пять. Но не успел он ещё окончить своего несложного туалета, как к нему явился уже первый покупатель.

Удивляясь такому раннему визиту, Дворняшкин вышел к нему. Это был довольно невзрачный и потёртый господин, одетый, впрочем, не без

претензии и с толстой золотой цепочкой на жилете. Он странно поводил носом, как будто нюхал что-то.

Незнакомец фамильярно кивнул Дворняшкину.

— Не ждали так рано покупателей? Хе-хе! Шел, гулял, да и увидел вашу вывеску. Дай думаю, зайду, посмотрю, нет ли и для меня чего подходящего…

— Ну, показывайте свой товар. Мне нужна полицейская собака. Я — сыщик! — представился незнакомец.

Оба вошли в питомник. Псы лаяли, выли, рвались за изгородью. Одного за другим выводил их Дворняшкин, но незнакомец, посмотрев на них, махал рукой: не годились!

— Да вы бы сказали лучше прямо: какой породы пёс вам надобен, — сказал, наконец, раздосадованный Дворняшкин. — А то, что же я вам всех собак-то водить буду!

Незнакомец снисходительно похлопал его по плечу.

— Полицейская собака может быть всякой породы, таково мое мнение, — сказал он. — А впрочем, покажите… чёрного пуделька, что ли?

В эту минуту сыщик заметил вертевшегося у

него в ногах Каро.

Он наклонился над собакой и долго гладил и разбирал ей шерсть. Вдруг он вздрогнул и тотчас же подозрительно посмотрел на Дворняшкина: не заметил ли тот? Но Дворняшкин решительно ничего не заметил.

— Иной раз шерсть у пуделей лезет? — сказал сыщик осторожно. — Я смотрю, у этого будто на плече вылезла?..

— Нет, — перебил Дворняшкин, — это у него давно уже… подрался с собаками, так и вырвали клок… Зато умён-то как! Не хотите посмотреть, какие он умеет штуки делать?

— Пуделек ничего себе, — сказал сыщик небрежно. — Только ведь они бедовые пуделя, того и гляди сбегут, а потом за них и отвечай. Он у вас никогда не сбегал?

Дворняшкин сознался, что сбегал.

— Ну, вот видите. И давно?

— Да вчера всего и вернулся, — отвечал Дворняшкин. — Только я думаю, не сбежал он, а его, не иначе, как украли. Потому что раньше за ним таких художеств не было.

— И очень просто, что украли, — подхватил сыщик. — Ведь до чего народ дошёл, не поверите! Собак нынче ловят воры особым приспособ-

лением из проволоки, которая их хватает за ошейники!

Дворняшкин засопел носом.

— Да что вы? А я-то думал, отчего это у пуделька на ошейнике проволока оказалась! И как же это они их ловят, расскажите, пожалуйста?

Однако сыщик, хотя весьма заметно обрадовался, узнав, что у пуделя на ошейнике был обрывок проволоки, но не пожелал рассказывать, как воры ловят собак, сославшись на профессиональный секрет, и перевёл разговор довольно-таки неожиданно на печать и газеты. Осведомившись, что Дворняшкин мало читает газеты, а «Столичных Ведомостей» никогда и в глаза не видел, сыщик по каким-то таинственным причинам повеселел ещё сильнее.

— Ну, — сказал он, хлопая Дворняшкина по плечу, — счастье ваше! Покупаю пуделька… Сколько он стоит?

Дворняшкин чуть запнулся, но затем твёрдо ответил, что в виду особого ума собаки дешевле 50 рублей продать её не может.

Сыщик так и покатился с хохоту.

— Ну, и шутник же вы! — произнёс он, наконец, сквозь смех. — Однако шутке время, а делу час. Сколько стоит собака? — И он деловито вынул

бумажник.

— Пятьдесят рублей.

Началась торговля, во время которой оба дельца так увлеклись, что не заметили, как к воротам подкатил автомобиль. Прежде чем Дворняшкин успел выйти навстречу новому клиенту, высокий красивый брюнет был уже во дворе.

— Кто здесь хозяин? Живо! Тащите сюда всех чёрных пуделей!

— Ваша милость… — заторопился Дворняшкин. — Пожалуйте сюда на крылечко… я сейчас… или, может быть, в дом изволите войти?

Но гость не слушал. Увидев Каро, он быстро наклонился к нему, разобрал шерсть на шее и громко воскликнул:

— Покупаю этого! Что стоит?

— Извиняйте-с, уже, — сказал спокойно, но нагло сыщик, выступая вперёд.

— В таком случай покупаю у вас! — не смущаясь, возразил брюнет. — Даю триста рублей. Согласны?

Но тут уже вступился Дворняшкин.

— Когда же это вы его купили? — обратился он с негодованием к сыщику. — Мы с вами ещё и в цене-то не сошлись. Пудель мой и я сам продаю пса его милости за… триста рублей. — На этих

словах Дворняшкин немного поперхнулся.

— Даю четыреста! — завопил незнакомец.

— Пятьсот двадцать пять!

— Тысяча!

— И рублик!

— Две тысячи!

— И… и… рублик!

— Три тысячи!

Сыщик отступился. Дворняшкин совсем ошалел. Он не верил своим ушам, и когда таинственный покупатель сунул ему пачку сотенных ассигнаций и, подхватив визжавшего пуделя под мышку, бросился в автомобиль, то Дворняшкин был близок к удару. В довершение его растерянности на крыльце появилась Маруся и, увидев происходившее на дворе, бросилась со слезами на глазах к автомобилю с криком: «Каро! Каро! Отдайте моего Каро!».

Но было уже поздно. Автомобиль тронулся и, дав сразу полный ход, быстро скрылся из виду.

Дворняшкин стоял с разинутым ртом, а сыщик неистовствовал:

— Дурак я, дурак! Упустил дубину… совсем ведь в руках была! А-а… О-о…

Затем он вдруг задумался и злобно добавил:

— Ну, и этот длинный чёрт тоже не жирно

попользуется. Ведь награды-то назначено всего-навсего три тысячи!

Глава VIII
Пробуждение и конец рассказа бухгалтера

Было уже 10 часов вечера, когда профессор Парсов и его ассистент, оба утомлённые бессонной ночью и страшной тревогой, бледные и осунувшиеся, хлопотали, склонившись над распростёртым и всё ещё недвижимым телом Червякова. Пудель Каро сидел в углу комнаты, привязанный на веревке, и удовлетворённо облизывался после съеденной тарелки костей.

Наконец труды учёных увенчались успехом: бухгалтер едва заметно вздохнул, у него стал прощупываться пульс, появился легкий румянец на лице. Червяков начал приходить в себя… хотя далеко не сразу. Его гипнотический сон, продолжавшийся столько времени, был, видимо, очень глубок. Учёным, которые в первый раз за два дня вздохнули свободно, пришлось прибегнуть к разным возбуждающим средствам.

Наконец, после повторных вспрыскиваний, Червяков резким движением поднялся с ку-

шетки, а затем, пошатываясь, встал на ноги. Он машинально сделал шаг вперёд, поднял руку к глазам и долго разглядывал её с жадным любопытством, заговорил что-то быстро-быстро и невнятно, не докончил, обернулся к профессору, схватил его крепко за руку, долго смотрел на него пристально и недоверчиво, и вдруг, точно вторично очнувшись от какого-то сна, сжал себе руками голову и опустился в кресло.

Стыка подошёл к нему и подал рюмку коньяку. Жадными глотками, расплескивая жидкость, он выпил коньяк.

— Как вы себя чувствуете? — спросил профессор осторожно.

— Ничего… хорошо… благодарю вас, — отвечал он глухо и рассеянно; затем озабоченно прибавил: — есть у вас зеркало?

Стыка принёс небольшое зеркальце.

Червяков нетерпеливо схватил его и тревожно начал себя осматривать со всех сторон. Осмотр видимо удовлетворил и успокоил его. Он отложил зеркало и задумчиво обвёл глазами комнату. На секунду взгляд его остановился на аппарате для измерения жизненной энергии, некоторое время сосредоточился на пуделе и, наконец, упал на дверь в углу комнаты.

— Эта дверь у вас в коридор? — спросил он рассеянно. — Как вы это так… неосторожны, господа, в своих опытах, не принимаете даже примитивных мер предосторожности?..

Профессор и Стыка виновато заморгали глазами, но Червяков уже забыл, о чём спрашивал, и с жадным любопытством рассматривал висевшие на стене картины.

— Да, да, — шептал он, — эти самые… Прекрасный картины! Ландшафт, портрет и жанр: очень выразительные и *простые* по сюжету картины… Послушайте, — вдруг перебил он сам себя, — неужели вы, в самом деле, превратили меня в собаку?

Учёные переглянулись.

— Не превратили, а временно переселили ваше «я» в собаку, — мягко ответил профессор.

— С научной целью?

— С научной целью.

— И что же, достигли цели? Узнали, что хотели?

— Как же… Мы с вашей помощью весьма обогатили науку, — сказал Стыка.

— Мы узнали, что «чистое я» существует независимо от мозга, — прибавил профессор, — но проявляется вовне исключительно через мозг

и…

Но Червяков перебил:

— Какой же… породы была собака?

— Разве вы не догадываетесь?.. Пудель.

— Пудель! — горько повторил Червяков и зашагал по комнате.

Учёные снова переглянулись.

— Вы не очень утомлены? — осторожно спросил Стыка, подходя к бухгалтеру. — Может быть, вы желаете поспать?

— Нет-с, увольте! — живо возразил Червяков. — Довольно с меня! К тому же сейчас я, кажется, совсем оправился…

— В таком случае, может быть, вы не отказались бы передать некоторые из впечатлений ваших от опыта?

Профессор сделал, было, знак протеста, но Червяков выразил своё согласие начать рассказ, и затем, изложив почти дословно всё, что нам уже известно из предыдущих глав, перешёл к описанию пребывания своего у Дворняшкина.

— Если вы думаете, господа, что знаете, что такое значить любить, — сказал бухгалтер, — то вы жестоко ошибаетесь… Обратитесь раньше в собаку, поживите у какого-нибудь человека, который будет кормить, поить, ласкать… и бить

вас, и тогда вы узнаете, что такое любовь! Вы узнаете, что если любимое вами существо на пять минут уйдёт из комнаты, то вами овладеет сначала беспокойство, потом скука, печаль и, наконец, такая отчаянная безумная тоска, что свет Божий покажется немил. Вы познакомитесь со всей полнотой блаженства, когда ваш хозяин или хозяйка похвалят вас за что-нибудь, и со всеми муками ревности, если они обратят при вас внимание на другую собаку. Вы, как нищий, будете искать их ласки и униженно просовывать свою голову под руку человека, чтобы он только вас погладил немного. Вы будете самоотверженным и преданным не за страх, а за совесть рабом человека, которого надо любить даже за побои! Вы, наконец, не пожалеете своей жизни за них!

— Впрочем, позвольте, я вам расскажу маленький эпизод, имевший место со мной сегодня ночью…

— Дом, в который я бежал от вас, находится, кажется, в чертовски глухом месте? По-видимому, у старика есть денежки и об этом было известно… Так или иначе, но сегодня к нам в дом забрался вор… Кроме меня, старика и девочки в доме находилась ещё только глухая прислуга. И вот, когда все уже спали, я услышал тихий и

подозрительный шорох. Я тотчас же проснулся, и уши мои поднялись. Какое-то неопределённое и доселе мне непонятное чувство подсказало мне, что в соседней комнате происходит недоброе, что там находится *враг*... Я вскочил и с рычаньем бросился в соседнюю комнату. Там, в этой комнате, находилась та, которую я любил больше себя, больше жизни, милая девочка... Кажется, это была дочь моего хозяина.

— Да, кажется, — отвечал Стыка.

— И вот, что я увидел, — продолжал Червяков. — В углу на кроватке мирно спала, свесив беленькую ручку, девочка, а над ней стоял огромный человек в лохмотьях, показавшийся мне совершенно черным... Он был бос, а в руке держал блестевший при тусклом свете луны топор. Он поднял топор над головой девочки... но не успел опустить его, ибо я впился зубами в его ногу. Человек застонал и, обернувшись ко мне, с бешенством взмахнул топором. К счастью, топор повернулся и только скользнул по мне боком. Было мучительно больно от удара, страх перед вторым готовившимся ударом был безумно велик... но вид девочки, беспокойно повернувшейся от произведённого нами шума, и мысль, что злодей убьёт её, если я его выпушу, прекра-

тила всякие колебания. Я *не разжал* зубов и *не выпустил* ноги негодяя! Да, господа, и поверьте мне, что этим поступком я считаю возможным гордиться больше, может быть, чем всем, что я сделал в качестве человека!.. Вор хотел ударить меня вторично, но в это время проснулись собаки в питомнике; они подняли такой лай, что вор испугался. Оторвав меня от своей ноги, он кинулся к окну и в одну секунду перемахнул через него. Когда девочка через мгновение проснулась, никого в комнате уже не было. Она даже не догадалась, в чём было дело. Заметив меня, она снисходительно дала полизать мне свою ручку и затем, повернувшись на другой бок, заснула… Она, впрочем, была хорошая девочка, господа, и очень плакала, когда меня увозили от неё…

Червяков печально вздохнул. Затем, как бы собравшись с мыслями, продолжал:

— Это, собственно, было последнее событие, случившееся со мной во время моей двухдневной собачьей жизни… Вас, вероятно, интересуют теперь мои общие впечатления за этот промежуток времени? Признаюсь, мне очень трудно передать их вам так, чтобы вы живо могли их представить себе. Ну что, например, из того, если я вам скажу, что мысль моя была в то время *вяла*

и отрывочна? Разве вы можете вообразить хоть приблизительно *настоящую степень* этой вялости и отрывочности. Можете вы вспомнить себя самих такими, какими вы были крошечными детьми, когда не говорили ещё *ни одного слова?..*

Бухгалтер остановился на секунду. Вдруг какая-то новая мысль как будто пришла ему в голову.

— Слово! — сказал он. — Вот, пожалуй, то понятие, которое даст мне хоть некоторую возможность объяснить разницу между психической жизнью человека и животного… Да, именно, слово это и есть то самое, что составляет главную, если не всю разницу между животным и человеком. Ведь мы, люди, не только говорим, но и *думаем словами.* Слово в мыслительных процессах играет такую же роль, как… заголовки книг в библиотеке! Как найти необходимую книгу, если у неё нет заголовка? Как напасть мыслью на нужное понятие, если нег слова, его обозначающего?.. Когда вы называете какую-нибудь книгу, — «Дворянское гнездо», например, — вы соединяете в этом названии целый комплекс идей. Так и слово обобщает в себе массу отдельных впечатлений. Как мы можем сопоставлять и сравнивать между собой книги, так и понятия, выражаемые словами, могут служить материалом для дальнейших

обобщений. А у животного этого-то материала и нет! Ведь у них нет слов не только на языке, но и в мыслях: следовательно, почти нет и самых мыслей…

Едва ли, однако, было бы верно считать, что животные вовсе лишены дара обобщения. Наоборот, факты опровергают это. Совершая, например, проступок, собака *заранее* знает, что её накажут. Разве это не обобщение? Но, не будучи в состоянии назвать свои впечатления словом, то есть, как бы наклеить ярлычок на книгу, животное часто теряет в памяти это впечатление, когда нужно связать его с другим впечатлением, не может уже вызвать его, как библиотекарь — найти книгу без ярлыка. Мыслить без слов также трудно, господа, как считать без чисел…

Между прочим, вы знаете, собаки вовсе не лишены способности счёта; но они только не сознают при этом, что они считают. Когда передо мной положили раз две кучи костей, из которых в одной было девять, а в другой шесть костей, я ясно понял, что в первой куче есть три лишних кости. Я сделал, таким образом, вычитание, не зная, что это вычитание…

Должен оговориться, впрочем, что этот процесс ничего общего не имеет с тем счётом, какой

проделывают дрессированные собаки в цирках. Выбирая из кучи картонов тот, на котором написано число, дающее верное решение заданного сложения или вычитания, дрессированное животное основывается вовсе не на вычислениях, а только на механической памяти проделанных ранее упражнений. Тут математики и признака нет! Животное даже не понимает, что цифры, написанные на картонах, означают числа!

— Скажите, пожалуйста, — перебил в эту минуту рассказчика профессор. — Есть какой-нибудь свой язык у собак, которым они разговаривают между собой?

— Нет, — категорически отвечал Червяков.

— Даже самого примитивного нет?

— Нет, — подтвердил бухгалтер. — Конечно, собаке понятны оттенки лая, визга и воя другой собаки. Я знал, например, что один лай радостный, а другой — злобный и трусливый… Но ведь разве это язык?..

— А инстинкт? Что вы скажете об инстинкте? — спросил Стыка.

Червяков немного помолчал, как бы собираясь с мыслями, От рассказа ли или от пережитых впечатлений, но он чувствовал себя очень утомлённым. Его сильно клонило ко сну, и он говорил

с трудом.

— Не знаю, как вам сказать… Мне трудно в своих переживаниях отделить инстинкт от мысли, которая по своей слабой сознательности сама мало отличалась от инстинкта. Инстинкт — это вроде шестого чувства, что ли… и он верно и целесообразно, хотя и бессознательно направляет поступки животного… Так, по крайней мере, я понимаю… да, да, нечто подобное я испытал… Только мне ужасно трудно почему-то стало вспоминать… Это было тогда… когда я…

Червяков решительно не помнил, как и когда он закончил свой рассказ ученым. Было ли то действие сильного утомления, или Стыка опять прибег к гипнозу, но Червяков незаметно для себя впал в глубокий сон.

ГЛАВА IX
Приёмная финансового короля и заключение

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тряс его за плечо и говорил на ухо в высшей степени убедительные слова.

Бухгалтер очнулся, спустил ноги, сел и протёр глаза. Затем он снова открыл и закрыл их, как

бы пробуя, что из этого выйдет. Нет, всё та же картина, как и раньше: улица большого города, дома, набережная какой-то реки, прохожие на тротуарах, извозчики, перед ним стоит городовой и ласково повторяет:

— Не хорошо-с. С виду господин, а… этакие поступки-с!

«Что это: новая метаморфоза? Кто же я сейчас?» — подумал Червяков и поспешно осмотрел себя.

Осмотр привёл к утешительным выводам: на нём оказались червяковские сапоги, червяковские брюки; червяковская шляпа лежала рядом на тротуаре. Рука оказалась рукой, а не лапой и не копытом. Даже сам город оказался знакомым. Это был Петроград. Несомненно, бухгалтер сидел на набережной, на той самой скамейке, с которой собирался прыгать в Неву, и где он в первый раз увидел Стыку.

Городовой подал ему шляпу и, преподав ещё пару назидательных и весьма полезных советов, ушёл. Червяков минут пять просидел на скамейке, медленно приходя в себя.

Вдруг неожиданная мысль сразу подняла его на ноги.

— Проверить! — чуть не закричал он на всю улицу. — Немедленно проверить! Или я с ума

сошёл, или через полчаса я буду знать истину. Я не позволю так шутить над собой. Я — человек, я — бухгалтер! К профессору! Немедля на квартиру Парсова, и там я потребую открыть мне истину: кто я?!

И полный горячей решительности, он быстрым шагом направился в путь.

Однако тотчас же наткнулся на затруднения, — куда идти? Он не знал ни улицы, ни дома профессора.

Напрасно он силился вспомнить направление, в котором вёз его Стыка, напрасно он обегал одну за другой все ближайшие улицы, — они смотрели на него рядами незнакомых домов, совершенно непохожих на дом профессора Парсова. Червяков заглядывал даже в лица швейцаров, но ни одни усы не напоминали великолепных усов профессорского швейцара.

Тогда Червяков кинулся в кофейную и потребовал «Весь Петроград». Лихорадочно вертел он его страницы, но, ни профессора Парсова, ни просто Парсова, ни Стыки в числе жителей не оказалось. Червяков приуныл, и энергия его ослабла, тем более, что он почувствовал сильнейший аппетит, а в кармане у него оказалось лишь три копейки. В эту минуту он вспомнил про Петроградера. У него

он найдёт объяснение волнующих его вопросов.

— К Соломону Соломоновичу! — решил он.

Через два часа, выждав установленный искус в приёмной — за это время пыл его, конечно, значительно остыл, — Червяков входил в кабинет финансового короля.

Этот знакомый ему роскошный кабинет, уставленный массивной дубовой мебелью, увешанный тяжёлыми портьерами, покрытый толстыми коврами, заглушавшими шаги, как-то сразу, против воли Червякова, вызвал в его душе чувство привычной робости.

Точно так всегда бывало и прежде. Достаточно было услышать тот сильный и характерный запах смеси дорогих духов и сигарного дыма, каким был пропитан кабинет всемогущего директора, чтобы сразу исчезло какое бы то ни было иное настроение, и чтобы в коленях почувствовалась некоторая слабость, а голова склонилась вперёд и несколько набок.

Так и сейчас, вступив в кабинет с твёрдой решимостью разъяснить истину, он вдруг почувствовал, что здесь, в этом кабинете, и он сам, и все его приключения совершенно ничтожная величина перед великими финансовыми делами, какие тут творятся. Даже его собственные

желания как-то непроизвольно менялись в финансовом святилище: Червяков неожиданно вспомнил, что главный его интерес заключается, в сущности, тоже в одной простой финансовой операции, именуемой получением места, а выяснение истины можно свободно отложить и даже произвести какими-либо другими более удобными путями и в другом месте, не тревожа и не смущая важный покой финансового святилища.

Соломон Соломонович чуть-чуть приподнялся и благосклонно протянул Червякову свою мягкую, как подушечка, руку. Затем он терпеливо выслушал просьбу Червякова, с которой тот обращался к нему уже в третий раз, дать ему место «хотя бы счётного чиновника» и, наконец, сказал:

— Место хотя бы счётного чиновника? Гм… гм… Но вы ведь, кажется, раньше были бухгалтером? Зачем же такая де-гра-дация? Мы… гм… гм… кажется, действительно несколько немилостиво обошлись с вашими прежними просьбами. Я пересмотрел сегодня ваше дело… — Соломон Соломонович выразительно потрогал бронзовую статуэтку пуделя, которая стояла на его письменном столе в качестве пресс-папье и тонко и многозначительно улыбнулся. — Да, пересмотрел

и думаю, вернее, иду навстречу вашему справедливому и… вполне заслуженному — новая выразительная улыбка в сторону бронзового пуделя — стремлению получить место именно бухгалтера… Бухгалтера-с! — вдруг закричал Соломон Соломонович, так что у Червякова задрожал подбородок, а Соломон Соломонович, любивший иногда озадачить подчинённого, остался вполне доволен. — Мы, то есть банк, решили вас назначить бухгалтером, а не счётным чи-нов-ни-ком! Да-с. И… и прошу не перебивать!

Червяков и не думал перебивать грозного начальника.

— И я прошу вас забыть всё прошлое… все-с без остатка, *как будто ничего не было!* — Улыбка стала такой многозначительной, что у Червякова моментально пропало всякое желание выяснять истину. — Что-с? Вы что-то заметили?

— Нет-с. Ничего-с. Я… не замечал-с.

— В таком случай, через три дня прошу вас приступить к занятиям, а сегодня можете получить аванс в счёт жалованья и… отдохнуть. У вас вид *несколько утомлённый.*

Червяков рассыпался в благодарностях и помчался с авансом в кармане домой.



На этом рассказ, как правдивое изложение фактов, собственно говоря, и оканчивается, так как фактов больше никаких не было. Можно ли назвать, например, фактом, заслуживающим внимания, случай, когда Червяков дня через три после описанных событий сидел как-то раз вечером дома и в глубокой задумчивости посматривал на свою жену, и вдруг подошёл к ней, внимательно понюхал ей нос и нежно начал лизать ей руку, пока она, наконец, не вывела его из странной рассеянности?

Едва ли заслуживает также интереса публики оригинальный и даже несколько болезненный интерес Червякова — на что он сам жаловался — ко всем кучам мусора, тумбам, фонарям и прочим предметам, которые вовсе не должны бы интересовать бухгалтера солидного банка.

Но что, казалось бы, заслуживает, безусловно, интереса общества, так это дальнейшая судьба опытов искусственного метампсихоза!

Между тем автор лишён, к сожалению, возможности дать в этом отношении хоть какие-либо сведения.

Глава X
Заключительная

Профессор Парсов и его ассистент Стыка не нашли нужным обнародовать своё поразительное открытие.

Соломон Соломонович Петроградер, который, несомненно, мог бы пролить некоторый свет на опыт, предпочитает также молчать, придерживаясь какой-то двусмысленной системы улыбочек и недомолвок.

Червяков, запуганный тяжёлыми обстоятельствами, да и от природы робкий человек, хотя и говорит, что он добивается и добьётся «выяснения истины», но дальше вступления в члены общества покровительства животным пока не пошёл, да, по мнению многих, и не пойдёт.

Таким образом, все лица, осведомлённые в историю опыта по методу остатков и сопутствующих изменений, до сих пор молчат.

Между тем, казалось бы, для человечества далеко не безразлично знать секрет производства этого опыта! Не говоря уже о чисто научном его значении, этот опыт мог бы принести, при применении его в широком масштабе, огромную

практическую пользу…

Действительно, пусть читатель только вдумается в сущность этого открытия. Человек, или, вернее сказать, «чистое я» человека получает возможность переселяться временно в чужой мозг; при этом, пребывая там, как бы в чужой квартире, совершенно незамеченным, он до такой степени сливается с посещаемым мозгом, что ознакомляется со всеми сокровеннейшими мыслями, чувствами, желаниями и инстинктами визитированного субъекта.

Представьте себе теперь, что душою-посетителем является, например, пылкий юноша, собирающийся сделать предложение руки и сердца молодой девице, а объект визитации — мозг избранной им подруги…

Какие последствия может иметь опыт профессора Парсова? Да просто-напросто конец раз и навсегда всем несчастным бракам! Жених, ознакомившись ближайшим образом с мозгом своей невесты, тотчас же разбирается во всех её качествах и недостатках и взвесит с одной стороны её склонность к капризам, взбалмошность, самоуверенность, невежество, сварливость и т. д., а с другой — её доброе сердце, мягкость, преданность, доверчивость, откровенность и т. п. В

результате юноша безошибочно разрешит вопрос о своей женитьбе, как арифметическую задачу.

А какое колоссальное значение мог бы иметь опыт профессора Парсова для дипломатов! А коммерция и вся область делового, финансового и биржевого мира?

А педагогика!

А юстиция?

Да мало ли ещё в каких областях могут быть применены опыты искусственного метампсихоза!

Словом значение открытия профессора Парсова настолько громадно, что сейчас трудно даже и предусмотреть все его последствия и влияния на различные стороны человеческой жизни; вся она, может быть направлена под влиянием указанного открытия на новый путь значительного усовершенствования и прогресса. Для этого необходимо только, чтобы экспериментаторы вели дело честно, в открытую и руководились в своих действиях соображением исключительно о благе человечества, а не личными выгодами. И, кроме того, обставлять опыты следует, в виду их опасного характера, особенными предосторожностями, отнюдь не забывая закрывать двери и т. п.

Прежде же всего мы просим, мы настаиваем,

мы требуем, наконец, от профессора Парсова, Стыки и Соломона Соломоновича Петроградера открыть нам тайны опыта…

Пытка зеркалами



I

За столом сидел инквизитор. Он сказал:

— Ты упорствуешь, отказываешься вернуться в объятия святой церкви. За это мы приговариваем тебя к тому, чтобы ты побыл сам с собой. Да возненавидишь ты себя во прахе и теле твоем и обретешь раскаяние, ведущее к спасению души.

Этих слов я не понял. Впрочем, не понимал я и ничего остального; только угадывал, что какой-нибудь несчастный страдалец под пыткой обронил мое имя в надежде смягчить свои мучения. Меня схватили на одной из мадридских улиц и отвели в тюрьму инквизиции. Много недель побыл я там. Наконец, меня вызвали на следствие.

После допроса меня снова отвели в камеру, похожую на прежнюю. Это была комнатка приблизительно в три квадратных метра, которая освещалась окошечком под потолком. Я поднял голову и увидел, что окно чем-то закрыли. Была в ней и кровать, хотя сон в этих стенах редко бывал отдыхом.

Тяжелая дверь затворилась за мной. Я остал-

ся один, понимая, что буду страдать, — но как страдать, не знал. «Побудь наедине с собою». Что могли значить эти слова? Ведь я и так несколько недель провел в одиночном заключении?

Вечер подходил; ничего не случилось, и мои опасения начали замирать. Наконец я заснул, почти успокоенный.

II

В сумраке раннего утра я проснулся и, устремив глаза в темноту, заметил, что за ночь произошла странная перемена. Как раз против моей кровати мерцал свет; раньше его не было. Остальные стены казались прозрачными; странные тени колебались на них.

Я лежал, раздумывая, что бы это значило. Вдруг над моей головой послышался легкий стук; комната окончательно потемнела. Ждал я несколько часов, но лучи зари не проникали в мою комнату. Вот над головой вспыхнул легкий свет; в отверстии на середине потолка показались пальцы, снова исчезли, повесив зажженную лампу. Наконец я мог видеть…

Что видеть? Моим первым ощущением был полный ужас. Голова у меня закружилась. Мне

казалось, что я один среди дикого вихря; из каждого угла смотрели на меня страшные лица. Фантастические огоньки качались повсюду, куда ни падал мой взгляд. Казалось, камера моя разрослась, сделалась бес конечной.

Потом я понял, в чем дело. За ночь стены, потолок и пол моей камеры заменили зеркалами. Даже дверь и окно закрывали теперь зеркала.

Лицо, смотревшее на меня с пятидесяти сторон сразу, было моим собственным лицом. Я так давно не видел его! Теперь оно было дико и ужасно.

Его окаймляла борода, и мои глаза так изменились, что я невольно задал себе вопрос: как еще они переменятся?



Только через несколько часов нашел я в себе достаточно мужества, чтобы посмотреть *кругом* себя. И невозможно передать, какое это было страшное зрелище! Смотрел ли я направо или налево, вверх или вниз, — я видел себя в сотне фантастических поз. Были фигуры, стоявшие ко мне лицом, обращенные ко мне спиной, боком. Тут я держался на голове, там — видел себя в перспективе сверху. *Части* моей фигуры виднелись повсюду, куда ни обращались мои глаза. Я боялся шевельнуться, — так ужасно было волнение, которое порождали среди призраков зеркал самые легкие мои движения. Если я поднимал руку, это движение повторялось толпой фигур на тысячу ладов. Я старался не открывать глаз, но мысль, что кругом меня были миллионы закрытых глаз, как бы в насмешку надо мною, — заставляла мои веки снова подниматься.

Так прошел день ужасного страдания. Я понимал, что еще несколько таких суток превратят меня в безумца. Из отверстия в середине потолка ко мне спустили пищу, но я не мог дотронуться до нее.

III

Мои мучители, вероятно, поняли, что конец настанет раньше, чем они желали, — и на следующее утро я проснулся в обыкновенной камере. Я думаю, никогда вид голых тюремных стен не вызывал такого удовольствия. Я провел почти счастливый день, надеясь, что пытка моя окончена.

Но не так действовала инквизиция! На следующее утро зеркала появились снова, с той разницей, что раньше они были совершенно гладки, теперь же их заменили искривленными. Каждый, когда-либо смотревший в кривое зеркало, знает, что это значит.

Мои отражения, бывшие просто бесчисленными, теперь сделались безобразными.



Чудовищные губы, уродливые глаза усмехались мне со стен, и ужасные, несоразмерные существа неожиданно изменялись при каждом моем движении. Дьявольское жилище не могло быть хуже моей камеры. Мне хотелось броситься на пол, но я знал, что там встретит меня какая-нибудь страшная карикатура на меня…

IV

Очевидно, преследователи хотели довести меня до безумия; я хорошо знал их и потому верил, что они еще не достигли предела в своей дьявольской изобретательности. Будь у меня какое-нибудь орудие, я разбил бы на тысячи осколков проклятые зеркала; но ничего подходящего для моей цели я не мог найти в камере.

Бежать? Невозможно! Раздумывая об этом, я случайно увидел закрытую отдушину в середине потолка, через которую вешали лампу в страшные утра. Тогда я замечал только руку: она поднимала часть зеркала, оттягивая ее назад, а потом вешала лампу на крючок.

На следующее утро я с жаром ждал появления руки. Когда она просунулась в люк, я подпрыгнул и схватился за нее. Раздался дикий крик; челове-

ческое тело рухнуло из отверстия на пол.

Не медля ни минуты, я сорвал с убитого или оглушенного тюремщика плащ и маску, и надел их на себя. Потом посадил моего пленника и, встал на его плечо, как на подножку, подпрыгнул к люку, который вел в комнату наверху.

A.D. WRIGHT

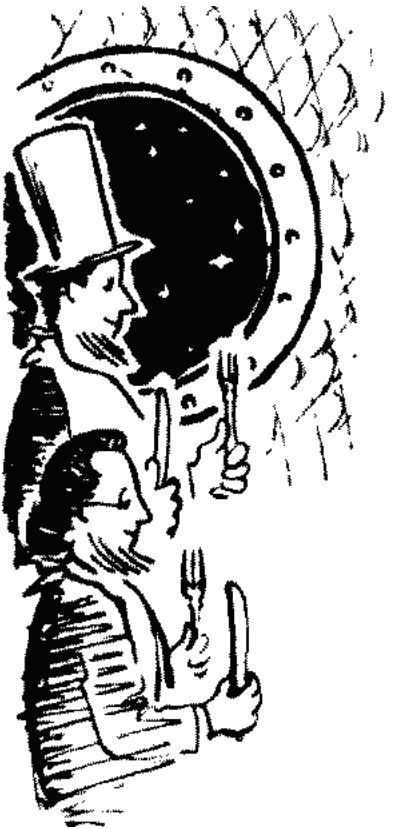
Так я добрался до трапа и благополучно вылез из камеры.

Что почувствует мой пленник, когда он очнется, окруженный адскими зеркалами? Думая об этом, я пожалел, что ко мне не попал сам великий инквизитор.



Завтрак в невесомой кухне

Недостающая глава в романе Жюля Верна



«Завтрак в невесомой кухне» — недостающая глава романа Жюля Верна «Из пушки на Луну». Эта глава не переводилась ни на один из иностранных языков. Более того, она, возможно, неизвестна и французам.

Жюль Верн подробно поведал нам, как проводили время трое смельчаков внутри снаряда, мчащегося на Луну. Однако он не рассказал о том, как Мишель Ардан исполнял обязанности повара в этой необычной обстановке. Вероятно, романист полагал, что стряпня внутри летящего снаряда не представляет ничего такого, что заслуживало бы описания. Если так, то он ошибался. Дело в том, что внутри летящего ядра все предметы *становятся невесомыми* (подробное разъяснение этого интересного обстоятельства приведено в первой книге «Занимательной физики», а также в моих книгах «Межпланетные путешествия», «К звездам на ракете» и «Ракетой на Луну»). Жюль Верн упустил из виду это обстоятельство. А согласитесь, что стряпня в невесомой кухне — сюжет, вполне достойный пера романиста, и надо только пожалеть, что талантливый автор «Путешествия на Луну» не уделил внимания этой теме. Попытаюсь, как умею, восполнить недостающую главу в романе,

чтобы дать читателю некоторое представление о том, насколько эффектно могла бы вылиться она из-под пера самого Жюля Верна.

При чтении этой статьи читатель должен все время не упускать из виду, что внутри ядра, как уже сказано, *нет тяжести:* все предметы в нем *невесомы.*

— Друзья, мы ведь еще не завтракали, — сказал Мишель Ардан своим товарищам по межпланетному путешествию. — Из того, что мы потеряли свой вес в этом пушечном ядре, вовсе не следует, что мы потеряли и аппетит. Я берусь устроить вам, господа, невесомый завтрак, который, без сомнения, будет состоять из самых «легких» блюд, когда-либо существовавших на свете!

И, не дожидаясь ответа товарищей, он принялся за стряпню. Завтрак решено было начать с бульона из распущенных в теплой воде таблеток Либиха.

— Наша бутыль с водой притворяется пустой, — ворчал про себя Ардан, возясь с раскупоркой большой бутыли. — Но меня не проведешь: я ведь знаю, отчего ты такая легкая... Так, пробка вынута. Извольте же, госпожа бутылка, излить в кастрюлю ваше невесомое содержимое!

Но сколько ни наклонял он бутылки, оттуда не

выливалось ни капли.

— Не трудись, милый Ардан, — явился ему на выручку Никколь. — Пойми, что в мире без тяжести вода не может литься. Ты должен вытолкать ее из бутылки, словно бы эта был густой, тягучий сироп.

Ардан ударил ладонью по дну опрокинутой бутылки. Тотчас же у горлышка раздулся совершенно круглый водяной шар, величиной с кулак.

— Что это стало с нашей водой? — изумился Ардан. — Объясните, ученые друзья мои, откуда взялась эта водяная пилюля?

— Это капля, милый Ардан, простая водяная капля. В мире без тяжести капли могут быть какой угодно величины. Ведь только под влиянием тяжести жидкость принимает форму сосудов, льется в виде струи и так далее. Здесь же тяжести нет, жидкость, предоставленная своим внутренним молекулярным силам, понятно, должна принять форму шара, как масло в опыте Плато.

— Черт побери, этого Плато! Я должен вскипятить воду для бульона, и, клянусь, никакие молекулярные силы не остановят меня! — запальчиво воскликнул Ардан.

Он яростно стал «выколачивать» воду в вися-

щую в воздухе кастрюлю, но, по-видимому, все было в заговоре против него. Большие водяные шары, достигнув дна кастрюли, быстро расползались по металлу. Этим дело не кончалось: вода поднималась по внутренним стенкам, переходила на наружные, растекалась по ним — и вскоре вся кастрюля оказалась облеченной водяным слоем. Кипятить воду в таком виде не имело никакого смысла.

— Вот любопытный опыт, доказывающий, как велика сила сцепления, — объяснял взбешенному Ардану невозмутимый Никколь. — Ты не волнуйся: тут обыкновенное явление смачивания жидкостями твердых тел; только в данном случае тяжесть не мешает этому явлению развиться с полной силой.

— И очень жаль, что не мешает! — возразил Ардан. — Впрочем, смачивание здесь или что-либо другое, но мне необходимо, чтобы вода была внутри кастрюли, а не вокруг нее. Ни один повар в мире не согласится варить бульон при подобных условиях!..

— Ты легко можешь воспрепятствовать смачиванию, если оно мешает тебе, — успокоительно вставил мистер Барбикен. — Вспомни, что вода не смачивает тел, покрытых хотя бы самым тонким

слоем жира. Обмажь свою кастрюлю снаружи жиром, и ты удержишь воду внутри нее.

— Браво! Вот это я называю истинною ученостью! — обрадовался Ардан.

Он принял к сведению все указания своих ученых друзей и стал нагревать воду на газовом пламени.

Однако все складывалось наперекор желаниям Ардана. Газовая горелка и та закапризничала: погорев полминуты тусклым пламенем, она потухла по необъяснимой причине. Ардан терпеливо нянчился с пламенем, но хлопоты не приводили ни к чему: пламя положительно отказывалось гореть.

— Барбикен! Никколь! Да неужели не существует средств заставить это проклятое пламя гореть, как ему полагается по законам физики и по уставам газовых компаний? — взывал к друзьям обескураженный француз.

— Но, право, здесь нет ничего необычайного и неожиданного, — объяснил Никколь. — Это пламя подчиняется тем самым физическим законам, к которым ты взываешь. А газовые компании… я думаю, все они скоро разорились бы в мире без тяжести. При горении, как ты знаешь, образуются углекислота, водяной пар — словом, негорючие

газы; но обыкновенно эти, продукты не остаются возле самого пламени, а как более теплые и, следовательно, более легкие, поднимаются выше; на их место притекает чистый воздух. Но у нас нет тяжести, и продукты горения остаются на месте своего возникновения, окружают пламя слоем негорючих газов и преграждают доступ свежему воздуху. Оттого-то пламя здесь так тускло горит и так быстро гаснет. На этом принципе основано действие огнетушителей. Пламя окружается негорючим газом и…

— Значит, по-твоему, Барбикен, если бы на земле не было тяжести, то не надо было бы и пожарных команд: всякий пожар потухал бы сам собой, так сказать, задыхался бы в собственном дыму?

— Совершенно верно. А пока, чтобы помочь горю, зажги еще раз горелку, и давай обдувать пламя; нам удастся, я надеюсь, отогнать облекающие его газы и заставить горелку гореть «по-земному».

Так и сделали. Ардан снова зажег горелку, а Никколь с Барбикеном принялись поочередно обдувать и обмахивать пламя, чтобы непрерывно удалять от него продукты горения.

— Вы, господа, в некотором роде исполняете

обязанности фабричной трубы, поддерживая тягу. Мне очень жаль вас, друзья мои, но если мы хотим иметь горячий завтрак, придется подчиниться законам физики, — философствовал Ардан.

Однако прошло четверть часа, полчаса, час, а вода в кастрюле и не думала кипеть.

— Неужели пламя вместе с весом потеряло и весь свой жар? — удивлялся Ардан. — Я, кажется, никогда не дождусь, чтобы вода закипела.

— Дождешься, милый Ардан, мы с Никколем ручаемся за это. Но тебе придется вооружиться терпением. Видишь ли, обыкновенная, весомая вода нагревается быстро только потому, что в ней происходит перемешивание слоев: нагретые нижние слои, как более легкие, поднимаются вверх, вместо них опускаются холодные верхние — и в результате вся жидкость быстро принимает высокую температуру. Случалось ли тебе когда-нибудь нагревать воду не снизу, а сверху? Тогда перемешивания слоев не происходит потому, что верхние, нагретые слои остаются на месте. Теплопроводность же воды ничтожна: верхние слои можно даже довести до кипения, между тем, как в нижних будут лежать куски не растаявшего льда. В нашем мире без тяжести безразлично,

откуда нагревать воду: круговорота в кастрюле возникнуть не может, и вода нагревается очень медленно.

Нелегко было стряпать при таких условиях. Ардан был прав, когда утверждал, что здесь спасовал бы самый искусный повар. При жарении бифштекса пришлось тоже немало повозиться. Надо было все время придерживать мясо вилкой: стоило только зазеваться, и упругие пары масла, образующиеся под бифштексом, выталкивали его из кастрюли; недожаренный бифштекс стремительно летел «вверх», если только можно употребить это выражение в мире, где не было ни «верха», ни «низа».

Странную картину представлял и самый обед.

Друзья висели в воздухе в весьма разнообразных позах, поминутно стукаясь головами. Пользоваться сиденьями было невозможно. Такие вещи, как стулья, диваны, скамьи, совершенно излишни в мире, лишенном тяжести. В сущности, и стол был здесь не нужен, если бы не настойчивое желание Ардана завтракать «за столом».



Трудно было сварить бульон, но еще труднее оказалось съесть его. В самом деле, разлить невесомый бульон по чашкам никак не удавалось. Ардан чуть не поплатился за такую попытку потерей трудов целого утра: забыв, что бульон невесом, он ударил по дну перевернутой кастрюли, чтобы изгнать его. В результате из кастрюли вылетела огромная шарообразная капля. Ардану понадобилось все искусство жонглера, чтобы вновь поймать и «налить» бульон в кастрюлю.

Попытка пользоваться ложками осталась безрезультатной: бульон смачивал ложки до самых пальцев, висел на них сплошной пеленой. Обмазали ложки жиром, чтобы предупредить смачивание, но от этого дело не стало лучше: бульон превращался в шарик, и не было никакой возможности донести эту невесомую пилюлю до рта.

В конце концов, догадались сделать трубки из бумаги и с помощью их принялись пить бульон, всасывая его в рот. Таким же образом наши друзья пили воду, вино и вообще всякие жидкости в

этом своеобразном мире, лишенном тяжести[13].

Вот что писал Борис Ляпунов в 1962 году в журнале «Искатель», публикуя историю, рассказанную Я. И. Перельманом:

> «Завтрак в невесомой кухне» — такой главы в действительности в романе Жюля Верна никогда не было. За великого французского фантаста эту главу дописал известный популяризатор физики, астрономии и космонавтики Яков Исидорович Перельман. Его книга «Межпланетные путешествия», которая впервые вышла в 1915 году, выдержала 10 изданий! Он

[13] Примечания: 13

Многие читатели этой книги обращались ко мне с письмами, в которых выражали свое недоумение по поводу того, как можно пить в среде без тяжести — даже по способу, указанному сейчас: ведь воздух в летящем снаряде невесом, следовательно, не производит давления, а при отсутствии давления нельзя пить, всасывая в себя жидкость. Странным образом, возражение это высказывалось и в печати некоторыми рецензентами. Между тем, вполне очевидно, что невесомость воздуха при данных условиях нисколько не связана с отсутствием давления: воздух давит в замкнутом пространстве вовсе не потому, что он весом, а потому, что, как тело газообразное, он стремится безгранично расшириться. В открытом пространстве на земной поверхности роль стенок, препятствующих расширению, играет тяжесть; эта привычная зависимость и ввела в заблуждение моих критиков.

первый рассказал широким кругам читателей об идеях Циолковского, писал о проблемах межпланетных сообщений почти за полвека до того, как в небе появился искусственный спутник Земли.

Перельман был не только популяризатором, но и научным фантастом. В книге «Ракетой на Луну» он рассказал, как может произойти лунный перелет. А много раньше, в 1914 году, появился его рассказ «Завтрак в невесомой кухне», несколько расширивший рамки романа «Из пушки на Луну».

Достижения науки и техники тех лет, когда Жюль Верн писал свои книги, не давали еще возможности предвидеть все особенности реального полета в космос. Жюль Верн не мог знать о перегрузках, об обязательном чувстве невесомости свободного полета. Вот как пишет об этом полете Жюль Верн:

«— Никколь, движемся ли мы?

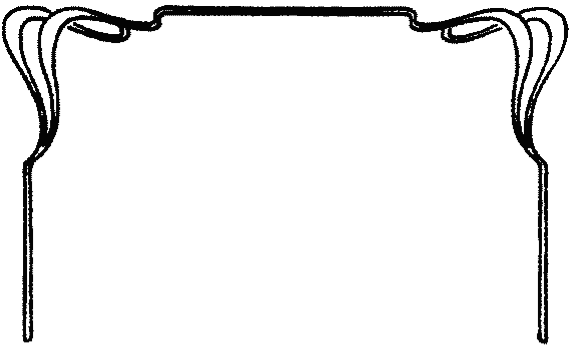
Никколь и Ардан переглянулись: они не чувствовали колебаний снаряда.

— Действительно! Движемся ли мы? — повторил Ардан.

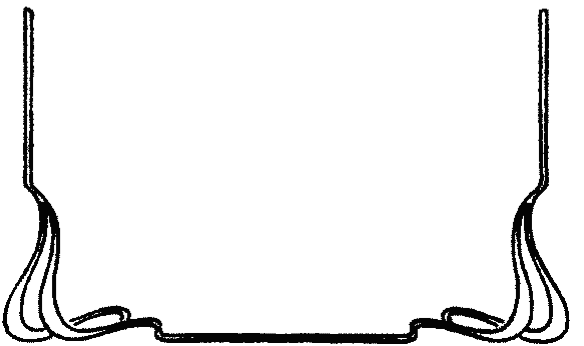
— Или спокойно лежим на почве Флориды? — спросил Никколь.

— Или на дне Мексиканского залива? — прибавил Мишель».

Конечно, попытка Перельмана описать события, которые могли бы произойти в космическом снаряде, представляет несомненный интерес. Ардан, Барбикен и Никколь не были подготовлены к «шуткам» невесомости, и Перельман попытался показать те неожиданности, которые подстерегали путешественников.



ПОЧТИ ФАНТАСТИКА И НЕ ТОЛЬКО



ПОЧТИ ФАНТАСТИКА И НЕ ТОЛЬКО

А. Числов
Убийство

Рассказ следователя

I

Дело было в 190* году в декабре месяце. Уезд у нас всегда считался неспокойным, в это время даже и особенно. Вся моя работа вертелась почти исключительно на драках, да поджогах. Смертоубийства же если и бывали, то тоже больше в драке, по пьяному делу… И вот в один злосчастный день получаю известие, что в Воскресенской волости в усадьбе помещика Ключинского произошло убийство: убит его родной брат Владимир, петербургский адвокат… Тут уж не драка!

Лечу туда, захватив с собой доктора. Подъезжая к селу Воскресенскому, ищу глазами, прежде всего, нет ли следов пожара, а может и разгрома. Однако, ничего такого не видно. Избы, снег да деревья, особенно снегу много; всё мирно, покойно. Несколько в стороне расположена отличная усадьба, большой дом, хозяйственный постройки. Ну, запущено, конечно, как полагается; так ведь на то же и помещичья усадьба: как же ей не

быть запущенной?

Мы, натурально, направляемся в волостное правление. Там уж и становой, и урядник, и старшина[14] с писарем дожидаются.

Пока закуска, то да сё, расспрашиваю станового: — Разгром был? Много сожгли?

Ничего подобного, оказывается, не было. Взяли только и подстрелили через окно молодого Ключинского, находившегося в сарае.

— Кто убийца? Подозрения есть?

Оказывается, убийца неизвестен, и подозрений определённых ещё тоже нет.

— Ну, рассказывайте, как было дело.

Из рассказа станового выяснилось, что вечером пятого декабря оба брата Ключинские — Алексей Алексеевич, помещик, и Владимир Алексеевич, петербургский адвокат, ушли на прогулку в лес после обеда часов в шесть вечера. В семь часов Владимир сказал брату, что он устал и вернётся домой. Алексей же продолжал прогулку один и вернулся к девяти часам. В этот вечер Владимир

---

[14] Примечания: 14

Становой пристав — полицейское должностное лицо в Российской империи, возглавляющее стан — полицейско-административный округ из нескольких волостей — части уезда. Полицейский урядник — нижний чин уездной полиции, подчиненный становому приставу и ведающий определенной частью стана. Полицейские урядники предназначались в помощь становым приставам «для исполнения полицейских обязанностей. Старшина — здесь: сельский староста.

к чаю не вышел, что, впрочем, с ним и раньше бывало. Около восьми часов со стороны речки прислугой был слышен слабый звук, вроде как бы выстрела, но значения этому никто не придал. Серьёзно хватились Владимира только на следующее утро, когда прислуга, придя его будить, нашла спальню пустой, а постель нетронутой. Начались розыски. Увидел убитого первым лакей Ключинского, часов около десяти утра, Заглянув случайно через оконце в сарай, расположенный над речкой, он увидел молодого барина лежащим на полу в странной и неестественной позе. Он начал его окликать, потом бросился к двери, но она оказалась запертой. Тотчас же вызвали Алексея Ключинского и урядника. Дверь при них же взломали: она была заперта изнутри. В сарае никого не нашли, кроме Владимира, который был уже мёртв. Он был убит пулей в висок; лежал он около окна, причем рана была с той именно стороны, которая была обращена к окну. При нём и вообще в сарае ничего интересного не нашли: носовой платок, золотой портсигар и портмоне с мелочью в карманах, — вот и всё. Даже намёка на какое-нибудь оружие не оказалось.

Таков был рассказ станового. Всё это занесли в протокол.

Труп убитого до нашего приезда и вскрытия оставили в сарае — точно так, как он лежал.

Закусили мы наскоро и тотчас отправились на место преступления. Дорога шла мимо барского дома. Мне пришло в голову зайти по дороге к Ключинскому. Я кое-что раньше слышал и даже, кажется, встречал его в клубе. Это был представитель старого помещичьего рода, женат, имел троих детей. Жена, впрочем, с ним не жила: женщина была со странностями; с мужем ладила плохо. И она, и дети были заграницей, а он им только деньги высылал.

Ключинский жил замкнуто, считался гордым и не особенно далёким, но человеком твёрдым и с характером.

Я отправил доктора и всю свиту вперёд, а сам зашёл в усадьбу. Ключинский меня принял в своём кабинете, представлявшем соединение былого величия и современного упадка: мебель, понимаете, штучного и красного дерева времён Елизаветы Петровны или матушки Екатерины, а суконце-то на письменном столе драное и в чернильных пятнах; великолепнейший какой-нибудь канделябр бронзовый ростом с гвардейского солдата, и тут же лампа рыночная за три рубля с полтиной… Впрочем, бедности

настоящей ни в чём заметно не было. Лакей, например, даже был одет во фрак.

Сам Ключинский, замкнутый, холодный, непроницаемый, но вместе с тем утончённо-вежливый, настоящий барин. Одет как с иголочки, — изящно, с лёгкой этакой небрежностью, так, как умеют одеваться только люди, изучавшие этот предмет досконально и с детства.

Встретил он меня со сдержанным выражением горя на лице. Тем не менее, спросил, как я доехал и даже предложил, не особенно, впрочем, настойчиво, позавтракать. Я отказался и после двух-трёх фраз перехожу осторожно к убийству.

Ключинский сразу нахмурился.

— Брат был так кроток, так незлоблив, так со всеми предупредителен, что личной ненависти ни в ком возбудить не мог, — сказал он быстро. — Я могу объяснить убийство только печальными условиями нашего времени и озорством…



— Из ваших слов я заключаю, — сказал я, — что возможность самоубийства или нечаянного убийства… при заряжании револьвера, например, или что-нибудь подобное исключается?

— Безусловно, — отвечал он решительно. — О самоубийстве не может быть и речи, впрочем, как вы сами увидите из обстановки на месте преступления. Брата, ведь, нашли убитым пулей

в висок в сарае, в котором он заперся изнутри, причём оружия при нём не оказалось никакого. Единственно разумное и возможное объяснение, — это то, что в него выстрелили через небольшое оконце, прорезанное в сарае…

— А стекло в окне оказалось пробито? — перебил я.

— Стёкол в окне совсем не было вставлено, — отвечал Ключинский.

Мне хотелось ещё до осмотра места преступления и встречи с крестьянами спросить о самом важном. Для этого собственно я и пришёл.

— Скажите, пожалуйста, — начал я, — вы не имеете каких-либо конкретных подозрений… или хотя бы даже простого предположения на какое-либо определенное лицо?

Ключинский посмотрел на меня рассеянно и утомлённо.

— Нет, на определённое лицо не имею, — отвечал он вяло, и потёр концами пальцев веки глаз, как будто от головной боли.

Я остерёгся пока больше его расспрашивать и предложил ему пройти со мною на место убийства.

Нам пришлось идти садом: великолепный, доложу вам, сад… впрочем, это к делу не относится.

Две-три дорожки оказались расчищены от снега. В конце сада от одной из них отделялась нерасчищенная, но протоптанная по снегу тропинка, которая вела к одиноко стоявшему сараю.

— Вот это и есть то печальное место, где нашёл смерть мой брат от руки подлых убийц, — сказал Ключинский строго и выразительно.

— Какое назначение имеет это строение? — спросил я.

— Никакого. Оно уже давно стоит без употребления… Ещё в детстве мы любили играть в нём. Но и тогда оно, помнится, стояло пустое.

Мы подошли к сараю, где нас встретил становой пристав, урядник, понятые, а в некотором отдалении порядочная толпа крестьян и ребятишек. Крестьяне держались хмуро и поклонились нам молча. Вокруг сарая снег был сильно утоптан, особенно под маленьким оконцем и перед дверью. Я особенное внимание обратил на оконце: оно было настолько мало, что не могло пропускать много света; пролезть в него взрослому человеку не было никакой возможности. Дверь была взломана; её я тоже осмотрел. Она запиралась простой задвижкой изнутри, но была пригнана настолько плотно, что открыть или закрыть задвижку снаружи не представлялось возмож-

ным. После этого я бросил взгляд на окрестности. Сарай стоял на высоком берегу речки, по другую сторону которой была расположена деревня. Через речку тянулось по разным направлениям немало следов. Около сарая росли толстые, хотя и редкие деревья, за которые можно было легко спрятаться. Помещичьего дома не было вовсе видно за садом. Больше ничего интересного я не приметил.

Затем мы вошли внутрь сарая. Тело убитого, одетое в полушубок, лежало у самого окна; руки были раскинуты, одна нога слегка подогнута; на том виске, который был обращён к окну, зияла довольно большая рана. По-видимому, череп дал трещину: небольшая лужа запекшейся крови была на полу около головы. Ни в карманах, ни возле убитого, кроме перечисленных в протоколе вещей, не оказалось ничего. Только на полу было много мусора: валялись окурки, спички, полстраницы старого номера «Нивы» и даже поломанная рогатка с обрывком резины. Я не стал до вскрытия исследовать тело и перешёл к осмотру помещения.

Оно было не особенно велико. Полы местами прогнили, но бревенчатые стены и крыша были крепкими. Никаких других выходов, кроме един-

ственной двери, из сарая не было.

Только три предмета в сарае привлекли мое внимание: стол и два табурета.

— Зачем они тут? — спросил я Ключинского.

Вопрос мой был задан без всякой задней мысли, но Ключинского, как мне показалось, как будто смутил.

— Не знаю, — ответил он с еле заметной запинкой.

— И давно эти вещи тут? — снова спросил я, хотя мои вопросы казались мне самому, правду сказать, не особенно умными.

— Право, не помню… Да, кажется, порядочно, — отвечал Ключинский.

На столе стоял подсвечник с догоравшей светильней; видимо, никем не погашенная свеча догорела в нём до конца. Мне захотелось проверить правильность сделанного мной наблюдения о том, что мои предыдущие вопросы смутили Ключинского, и я решил схитрить.

— Мне кажется, — сказал я простодушно — что создавшаяся гипотеза об убийстве через окно едва ли верна. В 8 часов вечера, когда был слышен выстрел, было уже настолько темно, что снаружи нельзя было ничего видеть в сарае.

Ключинский посмотрел на меня, и мне почуди-

лась в его серых холодных глазах, — посейчас не знаю, почудилось ли только? — насмешка. Впрочем, совершенно очевидная насмешка блеснула в глазах станового.

— Но вы забываете, кажется, господин следователь, про этот подсвечник? — проговорил Ключинский вежливо. — По-видимому, свеча горела именно в это время.

Я небрежно скользнул глазами по подсвечнику и затем быстро спросил помещика:

— Но зачем понадобилось вашему брату ходить со свечой вечером в этот сарай?

Он посмотрел на меня задумчиво и рассеянно (откровенно говоря, я ожидал, что мой вопрос произведёт больше эффекта).

— Не знаю… право, не знаю… Брат был так необщителен… Впрочем, он вообще, по-видимому, любил уединение.

Только и всего.

Осмотр можно было окончить. Я, однако, подошёл ещё к окну. Из него была видна лишь часть села. Большое, недурно построенное здание привлекло моё внимание.

— Это что за здание? — спросил я одного из крестьян, физиономия которого понравилась мне больше других.

— Энтое?.. А это наша училища, вашескородие, — отвечал он благодушно и почтительно, как любят говорить пожилые солдаты молодым офицерам.

— Ты не из денщиков ли? Фамилия твоя как? — спросил я.

— Антон Спиридонов. Из денщиков, вашескородие.

— Так, говоришь, училище?

— Так тошно, земская училища. Четвёртый год уж открыта… И мой мальчишка здеся учится.

На этом и окончился мой осмотр сарая.

II

Если вам когда-нибудь кто-нибудь скажет, что следователь, или полиция, или сыщик действуют по строго определенному плану, — не верьте. Все действуют вначале втёмную…

При осмотре места преступления и всего антуража и при первом допросе в каждом сколько-нибудь сложном деле вы увидите целую массу концов разных нитей. Которая из них приведёт вас к истине, узнать вперёд никак невозможно. Поэтому разматывать надо все, какие возможно. И еще прибавлю: та или другая нить то и дело

рвется у вас в руках. Так было и в этом деле. Тут тоже имелось несколько концов или зацепок, с которых можно было начать: во-первых, следы на снегу, во-вторых, выяснение отношений покойного Владимира с крестьянами, в-третьих, расспрос о том, как кто из местных мужиков, особенно из наиболее подозрительных, проводил вечер 5 декабря, и т. д. Не скрою, что с одними следами на снегу я, к большой радости ребятишек, которых набралось не мало, больше часу провозился. Для ребят мои исследования показались необычайно любопытны. Они с восторгом прыгали в снегу и кричали:

— Дяденька, вот ещё тут натоптано!

Особенно отличался Антонов сынишка, который оказался порядочным пострелом. Впрочем, я познакомился и подружился здесь почти со всей «училищей» и, тем не менее, — решительно ни к каким выводам не пришёл. Слишком уж много было следов.

В числе других обстоятельств дела имелось одно, которое меня просто по какому-то предчувствию особенно интересовало: это — стол, табуреты и подсвечник. Казалось, им и вовсе не место в сарае. Но они, тем не менее, в нём находились! На этот пункт я особенно приналёг

на допросе, который я в тот же день произвёл. При этом я даже с Ключинским не стеснялся… Но, верите ли, в этом вопросе точно все допрашиваемые сговорились молчать. Ни прислуга, ни крестьяне, ни сам Ключинский ничего мне не объяснили. Так я и остался при том, с чем был — то есть, ничего нового не узнал.

Впрочем, и вообще допрос мне дал крайне мало материала. Все допрашиваемые были как-то особенно скупы на слова. Узнал я только, что Владимир Ключинский жил обычно в Петербурге, где хорошо зарабатывал, но жил скромно (это я узнал от лакея). В имение к брату приехал погостить на лето, но почему-то застрял до самого декабря. Характера он был скромного, со всеми обходителен, но необщителен и молчалив. С крестьянами почти не разговаривал и врагов, по единогласному утверждению, не имел.

Я пытался, между прочим, найти подтверждение или, наоборот, опровержение идеи Алексея Ключинского об убийстве его брата хулиганами. Расспросил, не захаживают ли сюда босяки и «посадские». Нет, оказывается, село от города далеко и от проезжей дороги в стороне.

— Ну, а свои парни не озорничают здесь? Может быть, кто-нибудь по злобе или спьяну?

Крестьяне энергично и с негодованием отвергли это предположение. Антон Спиридонов наиболее словоохотливый между ними, даже сказал:

— Ты, барин, на людей зря не греши! Суди по справедливости, по-божески. Зачем парням его убивать? Чать, крест на шее тоже носят. Вот Алексей Алексеич, у того первое слово: с озорства убили! Так зато он и выходить человек неправильный. Взять, к примеру, о потраве: мы ему говорим, как скотину устережёшь, а он…

Дальше пошли рассуждения на хозяйственные темы, которые я поспешил перебить. Но, всё же, ответы крестьян на меня произвели определенное впечатление. К тому же, Владимир, вовсе и не был помещиком. А потому и счетов с крестьянами у него быть не могло.

На следующее утро мне пришлось уехать из Воскресенского. На самом выезде из села, где, казалось, снегу было ещё больше, чем в других местах, я повстречал молодую интеллигентную девушку вместе с моим вчерашним приятелем и помощником, Антоновым сынишкой. Оба, пропуская мои сани, сошли с дороги и увязли при этом в снегу чуть не по пояс.

Девушка была настоящая красавица с тонким

стройным станом, высокая, с большими серыми глазами, с нежным румянцем и толстой каштановой косой.

— Кто это? — спросил я с любопытством своего кучера.

— Учительница наша, Вера Сергеевна.

— Красивая у вас учительница… А Ключинские с ней знакомы были?

Кучер мой улыбнулся во всю ширину лица:

— Алексей Алексеич нашу учительницу так не любит, что и на порог её не пустил бы! — И прибавил, подумав: — Она у нас хорошая.

— А Владимир покойный?

— Тот знакомство вёл. Хорошая барышня и правильная.

На этом наш разговор и кончился… И если б я мог тогда знать, как я в эту минуту был близок от… Впрочем, всё по порядку.

III

К делу об убийстве Ключинского я не мог вернуться целых три недели. Знаете следовательскую жизнь? Маешься, маешься, точно белка в колесе.

За это время был подготовлен протокол вскры-

тия. Врач, которого я возил в Воскресенское, был человек малоопытный. В протоколе чего только не было! И печёнка-то увеличена, и селезенка не в порядке… А по существу дела только и было, что смерть последовала от пули, выпущенной, по-видимому, из револьвера с небольшого расстояния, приблизительно около 8 часов вечера.

На этом пункте и застряло наше дело…

И вот однажды вечером в клубе познакомился я с одним господином: так себе — франтик, худенький, прилизанный, ничего особенного на вид.

Он мне отрекомендовался:

— Агент N-ского страхового общества, такой-то… А вы, кажется — господин следователь и изволите вести дело об убийстве Ключинского?

— Да, — говорю. — Что, уж не хотите ли меня застраховать на случай моего собственного убийства?

Смеётся.

— Нет, я собственно к вам по другому поводу. Мне желательно было бы узнать, не имеете ли вы каких-либо подозрений, или хотя бы отдалённых каких-либо предположений или даже намёков на то, что здесь имело место не убийство, а… самоубийство?

— Нет, — говорю, — об этом могу вам это ска-

зать, так как, сие и не секрет: самоубийства не было. А разве он у вас был застрахован?

— Да, — отвечает. — И притом на такую сумму, что для общества очень важно выяснить, есть ли хоть какая-нибудь — даже самая ничтожная — вероятность самоубийства, что снимало бы с общества обязанность платить премию. Дело в том, господин следователь, что брат его, единственный его наследник, весьма торопит нас с получением премии.

— А велика ли премия?

— Сорок тысяч.

— Ого-го! — только и мог я сказать.

«Вот так новость!» — думаю.

Ну, натурально, давай его расспрашивать, деликатно этак — понимаете? — чтоб ему казалось, что я вовсе не расспрашиваю, а давно уже сам всё знаю. Совестно ведь!.. Оказывается, этот господин успел уже побывать раза три в Воскресенском и узнал куда больше моего! Прежде всего, выяснилось, что Владимир перед смертью был безумно влюблён… ну, в кого вы думаете? Да в эту самую учительницу, которую я встретил на дороге! И как у меня при встрече с ней сердце не ёкнуло?

Дальше. Владимир ей сделал формальное предложение, и она ему отказала «в виду недостатка

чувств к нему и разницы идеалов». Как вам это понравится: «разница идеалов»?..

Наконец, этот самый агент узнал, что они виделись несколько раз в сарае, куда он её вызывал светом в оконце. Вот когда, наконец, табуреты-то в сарае и выяснились!

— Видите ли, господин следователь, вот все эти данные, которые вам, без сомнения, не хуже моего известны, — закончил агент, — и заставили меня, т. е. страховое общество, предположить, что может быть, тут есть возможность как-нибудь за самоубийство ухватиться?

— За самоубийство ухватиться? — переспросил я. Но мысли мои, смею вас уверить, в эту минуту были очень далеки от интересов страхового общества!

— То есть, конечно, не «ухватиться», — поправился он, — а… словом, мы желали бы знать ваше об этом компетентное мнение, если, конечно, это не тайна…

Агент поджал губы так важно и глубокомысленно, что упаси ты меня Господи!

— Слушайте, говорю я ему, — если это самоубийство, то где же орудие, которым оно произведено? Ведь нельзя же выстрелить из портсигара или подсвечника! Или, может быть, вы думаете, что

оконце…

Агент мой вздохнул с разочарованием.

— Нет-с уж, какое там оконце! — говорит. — Я пробовал через него лазить…

— Ну и что же?

— Да только пиджак новый разорвал… Так как же, — говорит с унынием: — не самоубийство?

— Братоубийство! — хотел я ему закричать. Да ещё такое, что все газеты ахнут!

Но, конечно, я этого ему не сказал, а только отрицательно покачал головой.

— Ну, так извините, что побеспокоил… Убийство нас совершенно не устраивает. Честь имею кланяться!

Я, было, уже распрощался с ним, но потом вовремя вспомнил.

— Слушайте, как вас?.. Каким вы образом разузнали про всю эту музыку с учительницей?

Он остановился, ухмыльнулся… ну и шельма этот страховой Пинкертон!.. и говорит:

— А это, извините, уж наша профессиональная тайна. Кажется, госпожа учительница по молодости лет не совсем правильно ещё разбирается в людях. Похоже, что она кого-то ждала из Петербурга… произошла маленькая путаница с фамилиями… А, впрочем, моё почтение!

Вы представьте себе, какие у меня только подозрения возникли, когда я всё это услышал. Ведь найдена была цель убийства! Самое нелепое в этом деле была бесцельность преступления! На следующий же день я вытребовал на допрос и Ключинского, и красивую учительницу.

Первым пришлось мне допрашивать его. Явился он на этот раз совсем иным — мрачным и угрюмым.

Прежде всего, я его поисповедовал насчёт того, как он провёл время между семью часами вечера пятого декабря и десятью утра шестого. Оказывается он почти всё «забыл».

Это за две-то недели времени!

— О чем вы беседовали с братом во время прогулки?

— Не помню.

— Когда брат ушёл, куда вы пошли?

— По дороге… Кажется, по дороге.

— Не было ли слишком темно для прогулки?

— Не помню.

— Даже и этого не помните? Так-с. Ну, а встали вы на следующий день, в котором часу?

— Часов в девять, в десять… Право, не помню.

Подумав немного, однако, он прибавил:

— Кажется в половине десятого.

— Известно ли вам было пятого декабря, что ваш брат был застрахован и на какую сумму?

Поморщился с отвращением.

— Было известно.

Это меня, признаюсь, озадачило. Человек мог вполне безнаказанно соврать и на этот, и ещё на несколько весьма компрометирующих его вопросов. А, однако, ответил откровенно правду.

— Известно ли вам было намерение вашего брата жениться на учительнице, госпоже…

— …Ольгиной? Вздор! — вдруг разгорячился он. — История эта страшно раздута. Я уверен, что мой брат не мог иметь серьёзного чувства к девушке-полуанархистке, с неизвестным прошлым. Я не верю также и в его сватовство!..

— Так-с. Но если исключить возможность брака вашего брата, то единственным наследником его являлись вы?

— Да.

— В каком положении находились ваши денежные дела ко времени смерти вашего брата?

Ключинский вздрогнул и побледнел так, что я поспешил дать ему воды. Но он оттолкнул стакан и твёрдо выговорил:

— Дела мои были сильно расстроены.

— Вам угрожало что-нибудь?

— Угрожало взыскание по нескольким векселям.

— Как же вы устроились?

— Удалось пересрочить векселя.

— Не повлияло ли при этом известие о возможности получения вами страховой премии? Не сообщали ли вы об этом кому-либо?

— Да, повлияло. Да, сообщал, — ответил он тихим прерывающимся голосом, и вдруг ноги его подкосились… Он упал без чувств.

Вы думаете, я его пожалел в эту минуту? Нет, нисколько! Очень уж отвратительно казалось мне его преступление. Я велел вынести его и привести в чувство.

Следующий допрос был учительницы Ольгиной. Барышня оказалась с норовом.

— Ваше имя? — спрашиваю её. — Звание? Православная? Сколько лет?

— Вера Ольгина, учительница… Скажите, нельзя ли сразу перейти к делу? Не все ли вам равно, девятнадцать мне лет или сорок?

Видимо, сердится, глаза так и сверкают.

— Так разрешите записать девятнадцать? — улыбнулся я.

— Да… Что вам еще от меня нужно?

Я задал ей ряд вопросов, но она и не подумала

на них отвечать с нужной для меня откровенностью. Пришлось прибегнуть к старому средству. Я помахал торжественно какой-то первой попавшейся казённой бумажкой у неё перед носом и сказал ей:

— Сударыня, это приказ об аресте одного, может быть, совершенно невинного человека по подозрению в убийстве Владимира Ключинского. Если вы отказываетесь мне отвечать на мои вопросы, мне не останется ничего другого, как отдать этот приказ для исполнения. — Я протянул даже руку к звонку.

Барышня покраснела, побледнела, вынула платок, опять его спрятала и наконец, произнесла:

— Спрашивайте, я вам буду отвечать. Клянусь вам, я не знала, что могу кому-нибудь принести вред своим молчанием! Страховой агент этот нечестный и… ничтожный человек, убедил меня, что речь идёт не об убийстве, а о самоубийстве. И я, зная покойного, тоже так думала. Спрашивайте, пожалуйста. Я скажу вам всю правду.

Она подтвердила мне весь рассказ страхового агента. Но большего, чем я уже знал, она не могла прибавить. Когда её рассказ был окончен, я спросил:

— Вы, действительно, думали, что Ключинский

застрелился? Он так любил вас?

Она потупила глаза, в которых заблестели слёзы, и отвечала:

— Он так страшно любил меня, что я положительно колебалась, не выйти ли мне за него замуж. Но ведь я не любила его и, следовательно, не могла ему дать счастье?.. Да, я думала, что он застрелился из-за меня…

— Но как же вы объясняли отсутствие при нём оружия и отсутствие какой-либо предсмертной записки?

Она посмотрела на меня своими печальными глазами, в которых я заметил удивление.

— Оружие?.. Я никак не думала об этом. Может быть, если бы я сама побывала в сарае… Но это место приводит меня в такой ужас! Я даже окошко занавесила, из которого виден этот проклятый сарай… Но записка? Да, о ней я задумывалась не раз. Почему он мне не оставил записки? Само собою это становится понятным, если он не сам убил себя, а был убит другими. Но кто же убийца?

Я не мог не улыбнулся при таком наивном вопросе.

— Скажите мне, сударыня, — спросил я её вместо ответа, — вы знаете хоть сколько-нибудь Алексея Ключинского? На что он способен? Мог

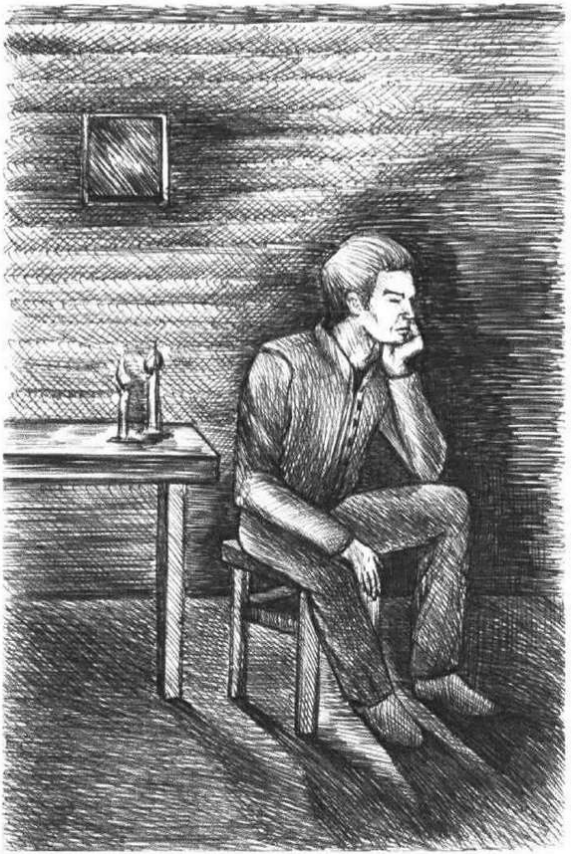
ли бы он, по вашему мнению, из корыстных целей… гм-м… желать смерти своего брата?

Ольгина вскочила со стула. Её большие серые глаза стали ещё больше и засверкали огнём негодования.

— Алексея Алексеевича я считаю своим врагом, — проговорила она, — но этого он сделать не мог! Это была бы такая гадость, которой я не допускаю… от человека!

Допрос кончился.

Ни одна из нитей не указывала пути к истине! Я был в недоумении.



IV

Дело разъяснилось самым неожиданным образом.

Через несколько дней ко мне явился Антон Спиридонов и после продолжительного, но туманного вступления выложил передо мной замасленную бумажку, на которой было написано нижеследующее:

> «Я люблю вас. Люблю вас одну… Больше у меня нет никого и ничего на свете. Жизни без вас для меня не может быть. У вас другая дорога, и вы так же не можете любить меня, как я вас не любить. Прощаюсь с вами. Целую мысленно милые глаза, которые умеют сверкать таким чистым огнём правды и красоты. Умирая, я думаю только о вас. В. К.».

— Где ты взял?! — закричал я, вскакивая с кресла.

— У ребят нашёл. Мой Ванюха чего-то с ей делал…

Я не дослушал его. Я бросился приказать произвести немедленно обыск у этого Ванюхи. У него нашли и револьвер, который был опознан лакеем Ключинских как принадлежавший покойному Владимиру.

Но каким образом он достал револьвер из запертого сарая? — спросите меня вы — ведь в окно нельзя было пролезть человеку?.. Взрослому человеку! Но что было невозможно для страхового агента, оказалось возможным для одиннадцатилетнего мальчишки… Я заставил его проделать эту штуку при мне; с трудом, но он пролез, каналья.

Зачем это ему понадобилось?

— Да какому же одиннадцатилетнему прыщу не «нужен» револьвер? — отвечу я вам.

Загвоздка только в Алексее Ключинском. На первом же допросе Ванюха рассказал всё: к сараю подошёл он рано утром, заглянул в окно, видит, — лежит мёртвый барин. В одной руке револьвер, а в другой держит какую-то бумажку.

Думал он недолго; как револьвер увидел, так сразу и решился. Перемахнул через окошко и цап револьвер, да заодно и бумажку — предсмертную записку — прихватил. Вылезает он после этого из окна и видит: прямо перед ним стоит и на него

смотрит сам помещик Алексей Алексеевич. Так он и обмер: «Погиб!» — думает. Остановился и дрожит. А тот на него смотрит. Затем подошёл к окну, заглянул и вскрикнул. Ванюха хотел было задать лататы[15], но помещик взял его за руку и, нагнувшись к самому уху, прошептал только одно слово: «Молчи!». А потом повернулся и ушёл…

Тем Ванюхин рассказ и окончился.

Я этого Алексея Алексеевича притянул-таки к суду; ведь он знал всё с самого начала и из корыстных целей молчал! Но только присяжные его оправдали: Ванюха потом от этой части рассказа отрёкся, а других улик не было.

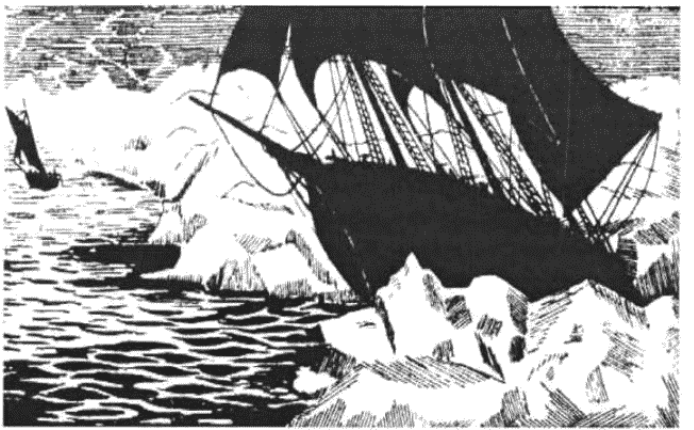


В. Ольден

---

[15] Примечания: 15
То есть, убежать.

Предшественник Нансена[16]



— Вы верите, что Нансен открыл северный полюс? — спросил я старого моряка, моего приятеля,

[16] Примечания: 16

Пер. с англ. Н. Жаринцивой («Новое время», 1897 г. — в отечественных публикациях ошибочно указывается 1900 г.). Рассказ и собственный к нему комментарий Я. И. Перельман включил в свою книгу «Занимательная математика» (1927), ставшей источником настоящей публикации.

когда интересная весть разнеслась по Европе[17].

Он уклонился от прямого ответа и небрежно заметил:

— Если Нансен и добрался до полюса, то, во всяком случае, не прежде всех.

— Странно, друг мой. По-вашему, у Нансена были предшественники? Почему же они не рассказали ничего, вернувшись домой?

— Нисколько не странно, — отвечал моряк. — Разве можно обо всем рассказывать? Вы думаете, мало на свете людей, которые видели собственными глазами морскую змею? Не очень лестно, когда всякая встречная газета выбранит вас, — вот все и молчат по возможности. Никто все равно не поверит. Ну, если, например, я скажу вам, что я единственный оставшийся в живых из команды китоловного судна, проживший на северном полюсе почти неделю, — что вы на это скажете? Поверите или нет?

— Не могу ничего ответить, пока не узнаю подробностей.

— Для вас я, пожалуй, сделаю исключение,

---

[17] Примечания: 17

В 1895 г. Хотя Фритиофу Нансену удалось проникнуть тогда только до 86°4′ северной широты, многие газеты, недостаточно осведомленные, поспешили оповестить, что Нансен открыл полюс (прим. Я. Перельмана).

— ответил мой приятель, — и расскажу, как я и шестеро других людей открыли северный полюс двадцать девять лет тому назад. Хотя Я и не думаю, что вы мне поверите, — добавил он. Ну, слушайте:

«Мы вышли на шхуне «Марта Уилльямс» из Нью-Бедфорда, в Соединенных Штатах, в Северный Ледовитый океан на ловлю китов. Судно было в пятьсот пятьдесят тонн; я занимал на нем место штурмана; капитан наш, Билл Шаттук, пользовался славой ловкого командира, у которого комар носа не подточит. В Вальпараисо мы пристали за картофелем, в Сан-Франциско — за водой, и пришли в китовые места — к северу от Берингова пролива — в половине июня. Китоловных судов там оказался целый флот, но добычи было мало. Лето стояло жаркое, и киты, вероятно, ушли дальше на север, вместо того, чтобы поджидать нас на месте. Целый месяц мы прошатались в этих водах и нашли только одного, да и то жалкого. Наконец, надоело; некоторые шхуны пошли обратно на юг, а большинство к северо-востоку. Наш капитан вздумал отделиться от всех и направился на северо-запад. Льдов не было видно нигде, и решение капитана не могло вызвать никаких подозрений, хотя — как оказалось впо-

следствии — он неожиданно сошел с ума.

Двенадцать дней шли мы на северо-запад, под ровным южным ветром, не встретив ни одного кита. В море стали попадаться плавучие ледяные горы, и я думал, что капитан повернет обратно, — но у него на уме было иное. Он держал теперь прямо на север и объявил, что намерен пройти к северному полюсу, а оттуда в Атлантический океан.

— Для этого нам понадобится не более двух недель, — если продержится ветер. А открытием северного полюса мы наживем вдвое больше денег, чем, если бы переполнили судно китовым жиром.

Я промолчал, потому что моей обязанностью было исполнять приказания, а не рассуждать.

Через восемь с половиной суток нас прищемили изрядные ледяные горы. Вся передняя часть судна, до самой грот-мачты, превратилась в тонкий слой щепок. Я едва успел выскочить на палубу, когда оставшиеся на корме пять человек команды и капитан спустили лодку. Через минуту мы отчалили, а еще через несколько минут увидели, как останки «Марты Уилльямс» медленно опустились на дно.

Вы, вероятно, думаете, что после этого старик

Шаттук отказался от фантазии открыть северный полюс и постарался пройти к берегам Сибири, где мы могли встретить туземцев или русских купцов.

Но нет, куда там! Он хладнокровно отдал приказание держать прямо на полюс.

Развернули паруса, — народу было немного, лодка хорошая, — и весело полетели вперед, насколько могут быть веселы добрые матросы, когда табак давно вышел, и нечего будет курить в продолжение нескольких недель.

На вторые сутки мы попали в какой-то пролив и увидели, с одной стороны, ледяные горы, а с другой — высокий скалистый берег. Жители заметили нас и уже стояли в ожидании на прибрежном утесе, с любопытством поглядывая, как мы причаливали и выходили на землю. Человек тридцать мужчин, женщин и детей окружили нас и приветствовали.

Добродушные они были ребята; сейчас повели нас в свои снеговые пещеры и накормили рыбьим жиром, какой-то морской травой и рыбой. Наевшись до тошноты, старый Шаттук вынул секстант и принялся за наблюдения.

— Мы находимся в такой точке земного шара, где ни долготы, ни широты нет, — объявил он нам,

окончив исследования, — на северном полюсе! Мы сделали величайшее открытие; нам принадлежит честь, которой добивались многие.

Затем он наклонился и принялся отыскивать кончик земной оси. Видя, что старик рассматривает землю и чего-то ищет, туземцы повели нас на вершину острова и показали нечто вроде кресла, вырезанного из каменной глыбы. Через матроса Джаксона, датчанина, они объяснили, что с этим креслом у них связаны какие-то священные понятия, и никто не запомнит, сколько времени оно тут стоит.

— Отлично, — объявляет вдруг безумный старик. — Это-то и есть северный полюс, и я беру его в свое владение. Да здравствуют Северо-Американские Соединенные Штаты и капитан Билл Шаттук!



С этими словами он усаживается на первобытное кресло и отдает нам приказание «обращаться» вокруг него. Видите ли: так как мы находились на северном полюсе, то солнце, действительно, обращалось вокруг нас, как вращаются иногда улицы, когда выпьешь лишнее. На шесть месяцев «солнце уходило отдыхать», — как сообщили нам туземцы, — но другие шесть месяцев оно разгуливало на десять градусов над горизонтом, не делая даже вида, что хочет закатиться.

Вот капитан Шаттук, сильно рехнувшись, и вообразил, что если солнце вокруг него обращается, то подавно обязаны и мы.

Уселся он на каменный трон и роздал приказания. Мне, как старшему, велено было занять первое место, отступя на десять футов от полюса; остальные матросы должны были расположиться по очереди дальше, на пять футов расстояния друг за другом.

Туземцам капитан объявил, что пока они еще не нужны, но когда первые планеты выбьются из сил, тогда он заставит и их исполнять астрономические обязанности.

Нечего делать: пришлось «обращаться». Мы должны были ходить вокруг старика слева направо, со скоростью трех узлов, хотя молодцам,

которых он поставил на дальние орбиты, приходилось двигаться быстрее. Старик порядочно муштровал нас. Если кто-нибудь сбивался с круга, он свирепо заявлял, что мы не имеем права устраивать «возмущений» без его приказания; а тому, кто высказывал признаки усталости, кричал:

— Если ты не будешь держаться, как подобает небесному светилу, то я превращу тебя в комету и отправлю по такому эллипсу, что ты и через тысячу лет не вернешься.

Вы, конечно, спросите, с какой стати мы подчинялись подобным глупостям, так как капитан, согласно морским законам, не имел над нами никакой власти с тех пор, как мы потерпели крушение. Но дело в том, что Шаттук не расставался с двумя револьверами, которые ему удалось сохранить при себе. Эти-то инструменты заставляли нас плясать вокруг него и притворяться, насколько возможно, что нам очень весело.

В полдень он позволил нам передохнуть, и сам сытно пообедал. Воспользовавшись его хорошим настроением, я предложил сделать запас воды и пищи и вернуться в цивилизованные места, прежде чем океан замерзнет. Он удивился моему невежеству:

— Как, мистер Мартин! Вы тридцать лет про-

вели на море, и не имеете необходимейших первоначальных сведений. Да ведь мы находимся в точке земного шара, где нет ни долготы, ни широты, и где стрелка компаса вращается так бестолково, что немыслимо ничего разобрать. Почем я знаю, где восток и где запад? И куда я поеду без компаса и без долготы?.. Нет, сэр, мы на полюсе, и здесь останемся. Мне здесь очень нравится, и вам всем тоже должно нравиться. Когда я сижу в этом кресле — я центр солнечной системы и не намерен оставлять такого положения ради того, чтобы выпрашивать новый корабль.

Больше от него ничего нельзя было добиться. Хорошо, что у него хватило еще смысла не заставлять команду обращаться двадцать четыре часа в сутки. Отпустив нас на отдых, он велел Джаксону передать туземцам, что теперь их очередь. Я думал, они не подчинятся и не станут бегать без толку, не имея понятия о значении капитанских револьверов. Но, очевидно, они приняли его за какое-то божество, так как принялись обращаться немедленно с величайшей охотой, и благоговейно выполняли роль планет с полудня до четырех часов. Потом наступила наша очередь, потом опять их, и т. д.

На следующее утро, когда наша партия приня-

лась за работу, капитан обращается к матросу Смидли и велит ему приготовиться к затмению.

— Смотри в оба, чтобы все было аккуратно! Ровно в шесть склянок на тебе должно начаться затмение от Джаксона и в семь склянок должно дойти до полного.

Смидли был порядочный драчун, и все мы знали его кулаки, хотя офицерские приказания он исполнял до сих пор, как хороший матрос. Но это приказание пришлось ему не по нраву. Он обращается к старику и отвечает, что согласен встретить кого угодно и где угодно, но «затмевать» себя никому не позволит, пока у него есть здоровые руки. Капитан напрасно старался убедить Смидли, что астрономическое затмение нисколько не позорно для матроса; мне пришлось уговаривать его забыть на время, что он матрос, и отнестись к делу хладнокровно, как относятся все небесные тела. Едва-едва уладилось дело.

Потом Шаттук выдумал и для меня занятие.

— М-р Мартин, — говорит он. — По моим вычислениям, вы находитесь теперь в первой четверти. Потрудитесь приращаться постепенно в течение двух недель. На четырнадцатый день у вас должен быть полный диск. Прошу обратить на это внимание.

Я сделал вид, что обратил внимание, хотя не мог понять, чего ему надо и как может человек приращаться, когда у него нет крепких напитков и нечего есть, кроме рыбьего жира.

Двое суток продолжалось вращательное занятие. Этого было вполне достаточно, даже и без всяких затмений, приращений и полных дисков, которые как будто и не к лицу порядочному матросу. В один из отдыхов, пока туземцы бегали с прежним умилением, мы решили, что капитан окончательно рехнулся и что с нашей стороны будет даже великодушием схватить его, связать по рукам и ногам, и уложить в лодку, а потом запастись у туземцев пищей и отправиться домой. План казался легким, потому что капитан был не особенно сильный мужчина; мы решили, что двое из нас схватят его сзади и обезоружат, пока остальные будут пробегать по своим орбитам перед его глазами.

Так мы и попробовали сделать на третий день утром.

Когда он, казалось, задремал, и двое самых сильных матросов подскочили к нему сзади, — он внезапно обернулся и первыми двумя выстрелами уложил обоих на месте. Тогда остальные бросились на него, понимая, что если мы не овла-

деем оружием, то всем придется плохо. Несколько минут длилась отчаянная борьба. Когда она окончилась, пятеро матросов были убиты наповал, капитан лежал с ножом Джаксона в сердце, а у меня засела пуля в левой руке выше локтя.



Я остался один из всей команды и сейчас же принялся делать туземцам разные жесты и знаки, стараясь объяснить, что у меня самые мирные намерения, и я только прошу дать мне воды и пищи, чтобы уехать. Они меня прекрасно поняли, и уложили в лодку столько рыбы и воды, что хватило бы на два месяца.

Я пустил лодку по ветру, не обращая внимания на компас; только через три или четыре дня, взглянув на него, я увидел, что иду к юго-западу. На пятый день я «нашел» долготу места и так обрадовался, словно это был не десятый меридиан, а добрая мера табаку. Пользуясь северным ветром, я старался не уклоняться в сторону и через тридцать пять дней был взят на первое встретившееся судно. Это была английская китоловная шхуна, которая и доставила меня в Бристоль в конце октября».

Конечно, я никогда ни одним словом не обмолвился о северном полюсе. Но вам я сообщил сущую правду и хотел бы знать, ради любопытства, что вы теперь думаете.

— Давайте, выпьемте по второму стакану доброго джина, — отвечал я.

Я.И. Перельман
Живой планетарий

Странная фантазия — приказать матросам «исполнять астрономические обязанности», будто бы возникшая, по словам моряка, в помутившемся уме капитана, вовсе не так сумасбродна и фантастична, как, пожалуй, склонны подумать иные читатели. Идея заставить товарищей разыгрывать в лицах планетную систему является, по-видимому, лишь неуместным воспоминанием о школьных упражнениях на уроках космографии. Эти оригинальные упражнения состоят в том, что, ради наглядности, школьники устраивают так называемый «живой планетарий», то есть своими движениями изображают живое подобие планетной системы. У нас подобный прием почему-то мало употребителен, хотя он значительно облегчает уяснение многих трудностей планетных движений. Опишем поэтому некоторые из этих поучительных упражнений.

Возьмем, например, движение Луны вокруг Земли. Мы знаем, что Луна всегда обращена к Земле одною и тою же своей стороной, и выводим отсюда, что период обращения нашего спутника

вокруг Земли равен периоду его вращения вокруг своей оси. Однако, такой вывод для многих непонятен: некоторым представляется более правильным вывод, что Луна вовсе не вращается вокруг своей оси, раз она неизменно обращена к Земле одной и той же стороной. «Живой планетарий» легко и просто разъясняет это недоразумение. Проделаем такое упражнение: пусть один из учащихся станет в середине комнаты, впереди класса, — он будет изображать Землю; другой, изображающий Луну, пусть обходит кругом него, все время, обращаясь лицом к «Земле». Тогда остальные учащиеся, сидящие на своих партах, будут видеть «Луну» сначала сзади, потом сбоку, потом с лица, потом с другого бока и, наконец, когда «Луна» закончит полный круг — снова сзади. Другими словами, все наглядно убедятся, что «Луна», обходя вокруг «Земли» с неизменно обращенным к ней лицом, вращается в то же время и вокруг своей оси — иначе они не видели бы ее последовательно со всех четырех сторон.

Напротив, если бы наша живая Луна обращалась вокруг «Земли» так, чтобы сидящие на партах все время видели «Луну» с одной и той же стороны, например, спереди, т. е. если бы она не вращалась вокруг собственной оси, то «Земля»

видела бы ее последовательно со всех четырех сторон, — вопреки мнению тех, кто полагает, что именно при этом условии Луна должна быть обращена к Земле неизменно одною и той же стороною.

В более пространном помещении — в обширной зале или на открытом воздухе — можно наглядно «разыграть в лицах» также совместное движение Земли и Луны вокруг Солнца. Для этого один из учащихся, изображающий Солнце, помещается в середине зала, а на некотором расстоянии становится другой, представляющий Землю, который и обходит медленным шагом кругом «Солнца», в то время как третий, — в роли Луны — кружится вокруг этой живой Земли, с такой скоростью, чтобы успеть сделать около 12 полных оборотов, пока «Земля» замкнет один круг. При этом станет ясно, что путь Луны в пространстве представляет собою волнистую круговую линию. Для большей наглядности можно натереть мелом подошвы учащегося, изображающего Луну — и тогда следы его ног непосредственно начертят лунный путь. Под открытым небом, если упражнение производится зимою, путь Луны отметится сам собою следами ног на снегу.

Благодаря такого рода упражнениям можно с

легкостью уяснить и многие другие особенности планетных движений, затруднительные для понимания. Рассмотрим хотя бы явление прямого и попятного движения планет, которое обычно, по мертвым книжным чертежам, усваивается не без труда. Живой планетарий поможет весьма быстро составить вполне отчетливое представление об этих движениях. Один из учащихся в роли Солнца становится в середине просторного зала или площадки на дворе; у стен зала или у краев площадки размещаются остальные, играющие в данном случае роль неподвижных звезд. Двое на этот раз будут изображать собою планеты, один — Землю, другой — какую-нибудь внешнюю планету, например, Юпитер. Обе живые планеты обходят вокруг «Солнца», но с различной скоростью — «Земля» движется быстрее «Юпитера», совершая 11-12 полных кругов, пока «Юпитер» закончит один круг. И вот, выполняя свое движение, учащийся, принявший на себя роль Земли, внимательно следит за тем, против каких «неподвижных звезд» оказывается при этом «Юпитер»: он ясно заметит, что Юпитер движется то вперед между «звездами», то назад, совершая характерные для внешних планет прямое и попятное движения на звездном небе.

Я. И. Перельман
«Вечный двигатель» времен Петра I



Сохранилась оживленная переписка, которую вел в 1715 — 1722 гг. Петр I по поводу приобретения в Германии вечного двигателя, придуманного неким доктором Орфиреусом. Изобретатель, прославившийся на всю Германию своим «самодвижущимся колесом», соглашался продать царю эту машину лишь за огромную сумму. Ученый библиотекарь Шумахер, посланный Петром на Запад для собирания редкостей, так доносил царю о притязаниях Орфиреуса, с которым он вел переговоры о покупке:

«Последняя речь изобретателя была: на одной стороне положите 100 000 ефим-

ков[18], а на другой я положу машину».

О самой же машине изобретатель, по словам библиотекаря, говорил, что она

> «верна есть, и никто же оную похулить может, разве из злонравия, и весь свет наполнен злыми людьми, которым верить весьма невозможно».

В январе 1725 г. Петр собирался в Германию, чтобы лично осмотреть «вечный двигатель», о котором так много говорили, но смерть помешала царю выполнить его намерение.

Кто же был этот таинственный доктор Орфиреус и что представляла собой его «знатная машина»? Мне удалось разыскать сведения и о том и о другой.

Настоящая фамилия Орфиреуса была Беслер. Он родился в Германии в 1680 г., изучал богословие, медицину, живопись и, наконец, занялся изобретением «вечного» двигателя. Из многих тысяч таких изобретателей Орфиреус — самый знаменитый и, пожалуй, самый удачливый. До

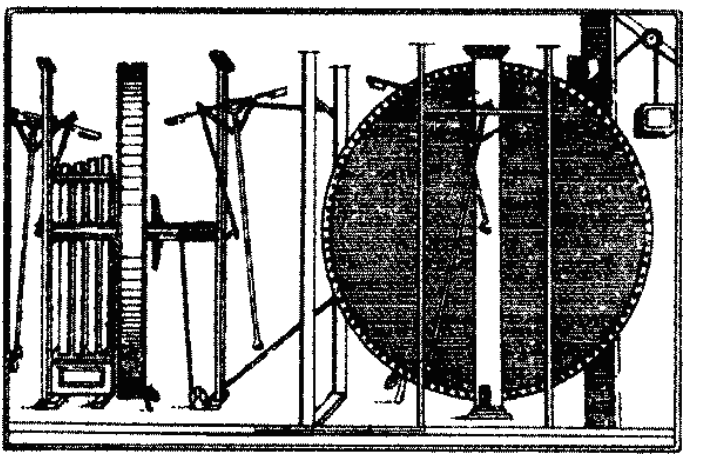
---

[18] Примечания: 18

Ефимок — обобщенное русское обозначение западноевропейского серебряного талера, бывшее в употреблении до середины XVIII столетия. Его стоимость примерно равнялась рублю того времени.

конца дней своих (умер в 1745 г.) он жил в довольстве на доходы, которые получал, показывая свою машину.

На прилагаемом рисунке, заимствованном из старинной книги, изображена машина Орфиреуса, какой она была в 1714 г.



Самодвижущееся колесо Орфиреуса, едва не приобретенное Петром I

Вы видите большое колесо, которое будто бы не только вращалось само собой, но и поднимало

при этом тяжелый груз на значительную высоту.

Слава о чудесном изобретении, которое ученый доктор показывал сначала на ярмарках, быстро разнеслась по Германии, и Орфиреус вскоре приобрел могущественных покровителей. Им заинтересовался польский король, затем ландграф Гессен-Кассельский. Последний предоставил изобретателю свой замок и всячески испытывал машину.

Так, в 1717 г., 12 ноября, двигатель, находившийся в уединенной комнате, был приведен в действие; затем комната была заперта на замок, опечатана и оставлена под бдительным караулом двух гренадеров. Четырнадцать дней никто не смел даже приближаться к комнате, где вращалось таинственное колесо. Лишь 26 ноября печати были сняты; ландграф со свитой вошел в помещение. И что же? Колесо все еще вращалось «с неослабевающей быстротой»... Машину остановили, тщательно осмотрели, затем опять пустили в ход. В течение сорока дней помещение снова оставалось запечатанным; сорок суток караулили у дверей гренадеры. И когда 4 января 1718 г. печати были сняты, экспертная комиссия нашла колесо в движении!

Ландграф и этим не удовольствовался: сделан

был третий опыт — двигатель запечатан был на целых два месяца. И все-таки по истечении срока его нашли движущимся!

Изобретатель получил от восхищенного ландграфа официальное удостоверение в том, что его «вечный двигатель» делает 50 оборотов в минуту, способен поднять 16 кг на высоту 1,5 м, а также может приводить в действие кузнечный мех и точильный станок. С этим удостоверением Орфиреус и странствовал по Европе. Вероятно, он получал порядочный доход, если соглашался уступить свою машину Петру I не менее чем за 100 000 рублей.

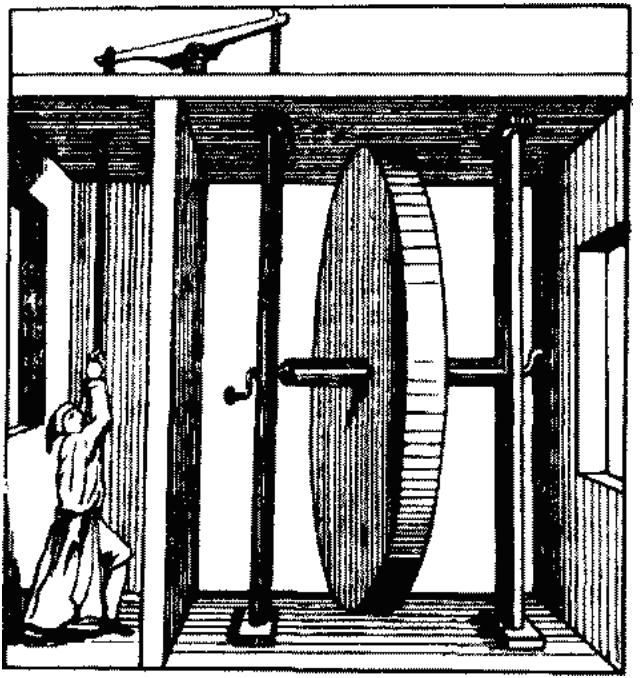
Весть о столь изумительном изобретении доктора Орфиреуса быстро разнеслась по Европе, проникнув далеко за пределы Германии. Дошла она и до Петра, сильно заинтересовав падкого до всяких «хитрых махин» царя.

Петр обратил внимание на колесо Орфиреуса еще в 1715 г., во время своего пребывания за границей, и тогда же поручил А. И. Остерману, известному дипломату, познакомиться с этим изобретением поближе; последний вскоре прислал подробный доклад о двигателе, хотя самой машины ему не удалось видеть.

Петр собирался даже пригласить Орфиреуса,

как выдающегося изобретателя, к себе на службу и поручил запросить о нем мнение Христиана Вольфа, известного философа того времени (учителя Ломоносова).

Знаменитый изобретатель отовсюду получал лестные предложения. Великие мира сего осыпали его высокими милостями; поэты слагали оды и гимны в честь его чудесного колеса. Но были и недоброжелатели, подозревавшие здесь искусный обман. Находились смельчаки, которые открыто обвиняли Орфиреуса в плутовстве; предлагалась премия в 1000 марок тому, кто разоблачит обман. В одном из памфлетов, написанных с обличительной целью, мы находим рисунок, воспроизведенный здесь.



Разоблачение секрета колеса Орфиреуса.(Со старинного рисунка.)

Тайна «вечного двигателя», по мнению разоблачителя, кроется просто в том, что искусно спрятанный человек тянет за веревку, намотан-

ную, незаметно для наблюдателя, на часть оси колеса, скрытую в стойке.

Тонкое плутовство было раскрыто случайно только потому, что ученый доктор поссорился со своей женой и служанкой, посвященными в его тайну. Не случись этого, мы, вероятно, до сих пор оставались бы в недоумении относительно «вечного двигателя», наделавшего столько шума. Оказывается, «вечный двигатель» действительно приводился в движение спрятанными людьми, незаметно дергавшими за тонкий шнурок. Этими людьми были брат изобретателя и его служанка.

Разоблаченный изобретатель не сдавался; он упорно утверждал до самой смерти, что жена и прислуга донесли на него по злобе. Но доверие к нему было подорвано. Недаром он твердил посланцу Петра, Шумахеру, о людском злонравии и о том, что «весь свет наполнен злыми людьми, которым верить весьма невозможно».

Во времена Петра I славился в Германии еще и другой «вечный двигатель» — некоего Гертнера. Шумахер писал об этой машине следующее:

> «Господина Гертнера *Perpetuum mobile,* которое я в Дрездене видел, состоит из холста, песком засыпанного, и в образе

точильного камня сделанной машины, которая назад и вперед сама от себя движется, но, по словам господина инвентора (изобретателя), не может весьма велика сделаться».

Без сомнения, и этот двигатель не достигал своей цели и в лучшем случае представлял собой замысловатый механизм с искусно скрытым, отнюдь не «вечным» живым двигателем. Вполне прав был Шумахер, когда писал Петру, что французские и английские ученые

«ни во что почитают все оные перепетумы мобилес и сказывают, что оное против принципиев математических».

К. Лассвиц
Универсальная библиотека

Ну, садись же сюда, Макс, — сказал профессор. — В бумагах моих, право, ничего для твоей газеты не найдется.

— В таком случае, — отвечал Макс Буркель, — тебе придется что-нибудь написать для нее.

— Не обещаю. Написано уже, да, к сожалению,

и напечатано, так много лишнего…

— Я и то удивляюсь, — вставила хозяйка, — что вы вообще находите еще что-нибудь новое для печатания. Уж кажется, давно бы должно было быть перепробовано решительно все, что мыслимо составить из вашей горсти типографских литер.

— Можно было бы, пожалуй, так думать. Но дух человеческий поистине неистощим…

— В повторениях?

— О, да, — рассмеялся Буркель, — но также и в изобретении нового.

— И, несмотря на это, — заметил профессор, — можно изобразить буквами все, что человечество когда-либо создаст на поприще истории, научного познания, поэтического творчества, философии. По крайней мере, поскольку это поддается словесному выражению. Книги наши ведь заключают все знание человечества и сохраняют сокровища, накопленные работой мысли. Но число возможных сочетаний букв ограничено. Поэтому вся вообще возможная литература должна уместиться в конечном числе томов.

— Э, старина, в тебе говорит сейчас математик, а не философ! Может ли неисчерпаемое быть конечным?

— Позволь, я подсчитаю тебе сейчас, сколько именно томов должна заключать такая универсальная библиотека... Дай-ка мне с письменного стола листок бумаги и карандаш, — обратился профессор к жене.



— Прихватите заодно и таблицы логарифмов, — сухо заметил Буркель.

— Они не понадобятся, — сказал профессор и начал, — Скажи мне, пожалуйста: если печатать экономно и отказаться от роскоши украшать текст разнородными шрифтами, имея в виду читателя, заботящегося лишь о смысле…

— Таких читателей не бывает.

— Ну, допустим, что они существуют. Сколько типографских литер потребовалось бы при таком условии для изящной и всякой иной литературы?

— Если считать лишь прописные и строчные буквы, обычные знаки препинания, цифры и, не забудем, шпации…

Племянница профессора вопросительно взглянула на говорившего.

— Это типографский материал для промежутков, — пояснил он, — которым наборщики разъединяют слова и заполняют пустые места. В итоге наберется не так уж много. Но для книг научных! У вас, математиков, такая масса символов…

— Нас выручают индексы, — те маленькие цифры, которые мы помещаем при буквах: a_1, a_2, a_3, a_4 и т. д. Для этого понадобится лишь еще

один или два ряда цифр от 0 до 9. Аналогичным образом можно условно обозначать и любые звуки чужих языков.

— Если так, то потребуется, я думаю, не более сотни различных знаков, чтобы выразить печатными строками все мыслимое[19].

— Теперь дальше. Какой толщины взять тома?

— Я полагаю, что можно вполне обстоятельно исчерпать тему, если посвятить ей том в 500 страниц. Считая на странице по 40 строк с 50 типографскими знаками в каждой (включая, конечно, шпации[20] и знаки препинания), имеем 40 × 50 × 500 букв в одном томе, то есть,.. впрочем, ты подсчитаешь это лучше…

— Миллион букв, — сказал профессор. — Следовательно, если повторять наши 100 литер в любом порядке столько раз, чтобы составился том в миллион букв, мы получим некую книгу. И если вообразим все возможные сочетания этого рода, какие только осуществимы чисто механическим

---

[19] Примечания: 19

Напомним, что на пишущей машине имеется обычно не более 80 различных знаков.

[20] Примечания: 20

Шпация (в традиционной полиграфии) — пробельный материал, применявшийся при ручном и монотипном металлическом наборе для отбивки элементов строки друг от друга по горизонтали, а также для создания отступов.

путем, то получим полный комплект сочинений, которые когда-либо были написаны в прошлом или появятся в будущем.

Буркель хлопнул своего друга по плечу.

— Идет! Беру абонемент в твоей универсальной библиотеке. Тогда получу готовыми, в напечатанном виде, все полные комплекты моей газеты за будущие годы. Не будет больше заботы о подыскании материала. Для издателя — верх удобства: полное исключение авторов из издательского дела. Замена писателя комбинирующей машиной, неслыханное достижение техники!

— Как! — воскликнула хозяйка. — В твоей библиотеке будет решительно все? Полный Гете? Собрание сочинений всех когда-либо живших философов?

— Притом со всеми разночтениями, — какие никем еще даже и не отысканы. Ты найдешь здесь полностью все утраченные сочинения Платона или Тацита и в придачу — их переводы. Далее, найдешь все будущие мои и твои сочинения, все давно забытые речи депутатов рейхстага и все те речи, которые еще должны быть там произнесены, полный отчет о международной мирной конференции и обо всех войнах, которые за нею последуют… Что не уместится в одном томе, мо-

жет быть продолжено в другом.

— Ну, благодарю за труд разыскивать продолжения!

— Да, отыскивать будет хлопотливо. Даже и найдя том, ты еще не близок к цели: ведь там будут книги не только с настоящими, но и с всевозможными неправильными заглавиями.

— А ведь верно, так должно быть!

— Встретятся и иные неудобства. Возьмешь, например, в руки первый том библиотеки. Смотришь: первая страница — пустая, вторая — пустая, третья — пустая, и т. д. все 500 страниц. Это тот том, в котором шпация повторена миллион раз…

— В такой книге не может быть, по крайней мере, ничего абсурдного, — заметила хозяйка.

— Будем утешаться этим. Берем второй том: снова все пустые страницы, и только на последней, в самом низу, на месте миллионной литеры приютилось одинокое а.

В третьем томе — опять та же картина, только а передвинуто на одно местечко вперед, а на последнем месте — шпация. Таким порядком буква а последовательно передвигается к началу, каждый раз на одно место, через длинный ряд из миллиона томов, пока в первом томе второго миллиона благополучно достигнет, наконец,

первого места. А за этой буквой в столь увлекательном томе нет ничего — белые листы. Такая же история повторяется и с другими литерами в первой сотне миллионов наших томов, пока все сто литер не совершат своего одинокого странствования от конца тома к началу. Затем то же самое происходит с группой аа и с любыми двумя другими литерами во всевозможных комбинациях. Будет и такой том, где мы найдем одни только точки; другой — с одними лишь вопросительными знаками.

— Но эти бессодержательные тома можно ведь будет сразу же разыскать и отобрать, — сказал Буркель.

— Пожалуй. Гораздо хуже будет, если нападешь на том, по-видимому, вполне разумный. Хочешь, например, навести справку в «Фаусте» и берешь том с правильным началом. Но прочитав немного, находишь дальше что-нибудь в таком роде: «Фокус-покус, во — и больше ничего», или просто: «ааааааа……» Либо следует дальше таблица логарифмов, неизвестно даже — верная или неверная. Ведь в библиотеке нашей будет не только все истинное, но и всякого рода нелепости. Заголовкам доверяться нельзя. Книга озаглавлена, например, «История тридцатилетней войны», а далее следу-

ет: «Когда Блюхер при Фермопилах женился на дагомейской королеве»...

— О, это уж по моей части! — воскликнула племянница, — Такие тома я могла бы сочинить.

— Ну, в нашей библиотеке будут и твои сочинения, все, что ты когда-либо говорила, и все, что скажешь в будущем.

— Ах, тогда уж лучше не устраивай твоей библиотеки...

— Не бойся: эти сочинения твои появятся не за одной лишь твоей подписью, но и за подписью Гете и вообще с обозначением всевозможных имен, какие только существуют на свете. А наш друг-журналист найдет здесь за своей ответственной подписью статьи, которые нарушают все законы о печати, так что целой жизни не хватит, чтобы за них отсидеть. Здесь будет его книга, в которой после каждого предложения заявляется, что оно ложно, и другая его книга, в которой после тех же самых фраз следует клятвенное подтверждение их истинности.

— Ладно, — воскликнул Буркель со смехом. — Я так и знал, что ты меня подденешь. Нет, я не абонируюсь в библиотеке, где невозможно отличить истину ото *лжи*, подлинного от фальшивого. Миллионы томов, притязающие на правдивое

изложение истории Германии в XX веке, будут все противоречить один другому. Нет, благодарю покорно!

— А разве я говорил, что легко будет отыскивать в библиотеке все нужное? Я только утверждал, что можно в точности определить число томов нашей универсальной библиотеки, где наряду со всевозможными нелепостями будет также вся осмысленная литература, какая только может существовать.

— Ну, подсчитай же, наконец, сколько это составит томов, — сказала хозяйка. — Чистый листок бумаги, я вижу, скучает в твоих пальцах.

— Расчет так прост, что его можно выполнить и в уме. Как составляем мы нашу библиотеку? Помещаем сначала однократно каждую из сотни наших литер. Затем присоединяем к каждой из них каждую из ста литер, так что получаем сотню сотен групп из двух букв. Присоединив в третий раз каждую литеру, получаем 100 × 100 × 100 групп из трех знаков, и т. д. А так как мы должны заполнить миллион мест в томе, то будем иметь такое число томов, какое получится, если взять число 100 множителем миллион раз. Но 100 = 10 × 10; поэтому составится то же, что и от произведения двух миллионов десятков. Это, проще говоря,

единица с двумя миллионами нулей. Записываю результат так: десять в двухмиллионной степени — $10^{2000000}$.

Профессор поднял руку с листком бумаги[21].

— Да, вы, математики, умеете-таки упрощать свои записи, — сказала хозяйка. — Но напиши-ка это число полностью.

— О, лучше и не начинать: пришлось бы писать день и ночь две недели подряд, без передышки. Если бы его напечатать, оно заняло бы в длину четыре километра.

— Уф! — изумилась племянница. — Как же оно выговаривается?

— Для таких чисел и названий нет. Никакими средствами невозможно сделать его хоть сколько-нибудь наглядным — настолько это множество огромно, хотя и, безусловно, конечно. Все что мы могли бы назвать из области невообразимо больших чисел, исчезающе мало рядом с этим числовым чудовищем.

— А если бы мы выразили его в триллионах? — спросил Буркель.

— Триллион число внушительное: единица с 18 нулями. Но если ты разделишь на него число

---

[21] Примечания: 21
См. примечание 1-е, в конце рассказа.

наших томов, то от двух миллионов нулей отпадает 18. Останется единица с 1 999 982-мя нулями, — число столь же непостижимое, как и первое. Впрочем… — профессор сделал на листке бумаги какие-то выкладки.

— Я была права: без письменного вычисления не обойдется, — заметила его жена.

— Оно уже кончено. Могу теперь иллюстрировать наше число. Допустим, что каждый том имеет в толщину 2 сантиметра и все тома расставлены в один ряд. Какой длины, думаете вы, будет этот ряд?

Он с торжеством взирал на молчащих собеседников. Последовало неожиданное заявление племянницы:

— Я знаю, какую длину займет ряд. Сказать?

— Конечно.

— Вдвое больше сантиметров, чем томов.

— Браво, браво! — подхватили кругом. — Точно и определенно!

— Да, — сказал профессор, — но попытаемся представить это наглядно. Вы знаете, что свет пробегает в секунду 300 000 километров, т. е. в год 10 биллионов километров, или триллион сантиметров. Если, значит, библиотекарь будет мчаться вдоль книжного ряда с быстротой

света, то за два года он успеет миновать всего только один триллион томов. А чтобы обозреть таким манером всю библиотеку, понадобилось бы дважды 1 999 982 года. Вы видите, что даже число лет, необходимое для обозрения библиотеки, столь же трудно себе представить, как и число самих томов. Здесь яснее всего сказывается полная бесполезность всяких попыток наглядно представить себе это число, хотя, повторяю, оно и конечно.

Профессор хотел было уже отложить листок, когда Буркель сказал:

— Если собеседницы наши не запротестуют, я позволю себе задать еще только один вопрос. Мне кажется, что для придуманной тобой библиотеки не хватит места в целом мире.

— Это мы сейчас узнаем, — сказал профессор и снова взялся за карандаш. Сделав выкладки, он объявил: — Если нашу библиотеку сложить так, чтобы каждые 1000 томов заняли один кубический метр, то целую вселенную, до отдаленнейших туманностей, пришлось бы заполнить такое число раз, которое короче нашего числа томов всего лишь на 60 нулей[22]. Словом, я был

---

[22] Примечания: 22
См. примечание 2

прав: никакими средствами невозможно приблизиться к наглядному представлению этого исполинского числа.

Примечания редактора

Примечание 1. Это поражающее вычисление нередко фигурирует в книгах по теории вероятности. Французский математик Э. Борель в своей известной книге «Случай» придает ему следующую форму:

Предположим, что число знаков, употребляемых в письме, считая также знаки препинания и т. п., равняется 100; книга среднего размера содержит менее миллиона типографских знаков. Спрашивается; какова вероятность вынуть целую книгу, выбирая наудачу по одной букве?

Очевидно, вероятность того, чтобы вынутая буква была первой буквой книги, равна 1/100; она также равна 1/100 для того, чтобы вторая вынутая буква была второй буквой книги; а так как эти две вероятности независимы, то вероятность, что случатся оба события, равна

$1/100 \times 1/100 = (1/100)^2$

То же самое рассуждение можно повторить и

для третьей буквы, для четвертой и т. д. Если их миллион, то вероятность, что случай даст именно их, равна произведению миллиона множителей, из которых каждый равен одной сотой; оно равно $(1/100)^{1\ 000\ 000} = 10^{-2000000}$.

Примечание 2. В этом расчете нет преувеличения: он вполне точен для тех представлений о размере вселенной, которые господствовали в момент написания рассказа. Интересно повторить вычисление, исходя из современных представлений.

Согласно новейшим исследованиям астронома Кертиса, самые далекие объекты вселенной — спиральные туманности — расположены от нас в расстоянии 10 миллионов световых лет. Световой год, т. е. путь, проходимый светом в течение года, равен, круглым числом, 10 биллионам километров, т. е. 10^{13}км. Следовательно, радиус видимой вселенной мы можем считать равным $10^{13} \times 10^7 = 10^{20}$ километров, или $10^{20} \times 1000 = 10^{23}$ метров.

Объем такого шара в кубич. метрах равен $4/3\ \pi (10^{23})^3$ = около 4×10^{69} куб. метров.

Считая по 1000 томов в куб. метре объема, узнаем, что вселенная указанных размеров могла бы вместить только $4 \times 10^{69} \times 1000 = 4 \times 10^{72}$ томов.

Следовательно, разделив все число томов

«универсальной библиотеки» на это число, мы сократили бы ряд нулей на 73; разница между этим результатом и приведенным в рассказе, как видим, несущественна.



Я. И. Перельман
Литературная машина

Поучительно рассмотреть проект видоизменения идеи Лассвица, сущность которого ясна из следующего воображаемого разговора:

— В том виде, какой Лассвиц придал своей идее «универсальной библиотеки», она, конечно, неосуществима. Слишком уж велик размах: перебирать все комбинации из миллиона типографских знаков! Неудивительно, что получаются астрономические числа. Другое дело — если ограничиться гораздо более скромными рамками.

— Например?

— Например, удовольствовавшись комбинациями всего лишь из 1000 литер, среди которых сто различных. Вообразим механизм, который систематически составляет все сочетания, возможные при наборе отрывка в 1000 литер. С каждого соче-

тания делаются оттиски. Что же мы получим?

— Ясно вот что: всевозможные образчики вздора и бессмыслицы.

— Да, но в этом море бессмыслицы неизбежно должны оказаться и все осмысленные сочетания литер. Это тоже ясно. Значит, у нас в руках очутятся все литературные отрывки, какие мыслимо написать тысячью литерами. А именно: по отдельным страницам, по полустраницам будем мы иметь все, что когда-либо было написано и когда-либо будет написано в прозе и стихах на русском языке и на всех существующих и будущих языках (потому что всякое иностранное слово можно ведь передать буквами русского алфавита). Все романы и рассказы, все научные сочинения и доклады, все журнальные и газетные статьи и известия, все стихотворения, все разговоры, когда-либо веденные всеми населяющими земной шар людьми и всеми прежде жившими (в том числе и наш нынешний разговор с вами), все интимные тайны, когда-либо кем-либо кому-либо доверенные, и все, что еще предстоит придумать, высказать и написать людям будущих поколений по-русски и в переводе на все языки-все это без исключения будет в наших оттисках.

— Бесспорно так. Но не забывайте, однако, что

мы будем иметь разрозненные, беспорядочно перемешанные отрывки. Придется их еще подобрать и сопоставить.

— Конечно. Будет немало работы по отыскиванию разрозненных частей. Но эта работа сторицей окупится ценностью ее результата. Подумайте: без гениев искусства и науки, чисто механическим путем, мы получим величайшие произведения мировой литературы и науки, овладеем всеми будущими открытиями и изобретениями.

— Но как же это осуществить? Как устроить вашу «литературную машину»?

— Тут-то и сказывается огромное преимущество моего проекта перед проектом Лассвица. — Уменьшив число литер в 1000 раз, заменив толстый том одной страничкой малого формата, я достиг технической осуществимости этой замечательной идеи. То, что немыслимо сделать при миллионе литер, вполне возможно выполнить для тысячи.

— А именно?

— Довольно просто. Вообразите шестеренку, на ободе которой помещаются 100 необходимых нам литер. Высота и ширина литеры, скажем для простоты, 2 миллиметра. Окружность шестеренки

в 2 × 100, т. е. в 200 миллиметров, имеет диаметр меньше 7 сантиметров. Толщина шестеренки может быть немного шире литеры — ну, пусть в 4 мм. Вообразите 1000 таких шестеренок, насаженных рядом на одну общую ось. Получите вал длиною 4 метра и толщиною 7 см. Шестеренки соединены между собой так, как это делается в нумераторах и в счетных машинах, а именно: при полном повороте первой шестеренки — вторая повертывается на одну литеру, при полном повороте второй-третья повертывается на одну литеру, и так до последней 1000-й шестеренки. Валик покрывается типографской краской и делает оттиски на длинной 4-метровой бумажной полосе. Вот и все устройство «литературной» машины. Как видите, просто и нисколько не громоздко.

— Как же она работает?

— Шестеренки приводятся во вращение, как я уже сказал, последовательно. Сначала начинает вращаться первая и дает на бумаге оттиски своих литер — это первые 100 «литературных произведений» категории бессмысленных. Когда она обернется один раз, она вовлекает во вращение вторую шестеренку: та повертывается на одну литеру и остается в этом положении пока первая продолжает вращаться; получите еще 100 оттис-

ков, теперь уже из двух букв. После 100 таких оборотов, вторая шестеренка повертывается еще на одну литеру, опять обе дают 100 новых оттисков, и т. д. Когда же и вторая сделает полный оборот, присоединяется третья шестеренка, и получаются всевозможные оттиски из трех литер. Итак далее, пока не дойдет очередь до последней, 1000-ной шестеренки. Вы понимаете, что когда эта 1000-ная шестеренка сделает полный оборот, все возможные комбинации в 1000 литер будут исчерпаны, и останется лишь работа по разборке оттисков.

— Много ли времени потребует вся работа вашей машины?

— Времени, конечно, порядочно. Но простота конструкции моей машины дает возможность значительно сократить необходимое время. Ведь работа машины сводится к вращению небольших шестерен, а скорость вращения можно технически довести до весьма высокой степени. Турбина Лаваля делает 30 000 оборотов в минуту, почему бы и «литературную» машину не пустить таким темпом? Словом, как видите, у меня идея Лассвица получает конструктивное воплощение и притом в довольно простой форме — длинного ряда шестеренок, насаженных на одну ось и

вращаемых с большою (но технически осуществимою) скоростью.

* * *

Что мы должны думать об этом проекте «литературной» машины?

То, что он так же несбыточен, как и первоначальный проект Лассвица. Соорудить и пустить в ход эту «литературную» машину вполне возможно, но дождаться конца ее работы человечество не сможет. Солнце погаснет, вселенная успеет миллионы раз погибнуть и возродиться прежде чем последняя шестеренка закончит свое вращение. Действительно, при 30000 оборотах в секунду

2-я шестеренка начнет работать спустя 60/30000 = 1/500 мин.
3-я . . . . . (60×60)/30000 = 3/25 мин.
4-я . . . . . (60×60×60)/30000 = 7,2 мин.
5-я . . . . . 60^4/30000 = 7,2 часа.
6-я . . . . . 7,2 ч. × 60 = 18 суток.
7-я . . . . . 18 сут. × 60 = 3 года.[23]
8-я . . . . . 3 г. × 60 = 180 лет.

---

[23] Примечания: 23
(Для удобства подсчета принимаем год равным 360 суткам.)

9-я . . . . . 180 л. × 60 = 1080 лет.
10-я . . . . . 1080 × 60 = 64800 лет.
11-я . . . . . 3 888 000 лет.
12-я . . . . . 233 280 000 лет.

Надо ли продолжать? Если 12-я шестеренка начнет вращаться только через двести миллионов лет, то когда дойдет очередь до 1000-й? Нетрудно вычислить. Число минут выразится числом $60^{1000}/3000$, — числом, в котором 1775 цифр. Во всей вселенной не хватит материи, чтобы дать материал для всех оттисков, число которых выражается 1779 цифрами. Ведь во вселенной, по подсчетам специалистов (де-Ситтера) «всего» 1077 электронов, и даже если бы каждый оттиск состоял из одного электрона, можно было бы отпечатать лишь ничтожную долю всей продукции «литературной» машины. Перерабатывать старые оттиски вновь на бумагу? Но допуская даже при этом ничтожнейшую потерю материи в 1 биллионную долю, мы должны были бы иметь — считая снова по электрону на оттиск — число оттисков из 1767 цифр; а электронов у нас имеется число всего из 78 цифр…

Но можно возразить, пожалуй, что незачем ждать окончания работы «литературной» машины: ведь шедевры литературы и замечательные

открытия могут случайно оказаться среди первого миллиона оттисков. При невообразимо огромном числе всех возможных сочетаний эта вероятность еще более ничтожна, чем вероятность случайно наткнуться на один определенный электрон среди всех электронов вселенной. Число электронов во вселенной неизмеримо меньше, чем общее число возможных оттисков нашей машины.

Но пусть даже осуществилось несбыточное, пусть случилось чудо, и в наших руках имеется сообщение о научном открытии, появившееся из-под машины без участия творческой мысли. Сможем ли мы этим открытием воспользоваться?

Нет, мы даже не сможем признать этого открытия. Ведь у нас не будет критерия, который позволил бы нам отличить истинное открытие от многих мнимых, столь же авторитетно возвещаемых в процессе работы нашей машины. Пусть, в самом деле, машина дала нам отчет о превращении ртути в золото. Наряду с правильным описанием этого открытия будет столько же шансов иметь множество неправильных его описаний, а кроме того, описаний и таких невозможных процессов, как превращение меди

в золото, марганца в золото, кальция в золото и т. д. и т. д. Оттиск, утверждающий, что превращение ртути в золото достигается при высокой температуре, ничем не отличается от оттиска, предписывающего прибегнуть к низкой температуре, причем могут существовать варианты оттисков с указанием всех температур от минус 273° до бесконечности. С равным успехом могут появиться из-под машины указания на необходимость пользоваться высоким давлением (тысячи вариантов), электризацией (опять тысячи вариантов), разными кислотами (снова тысячи и тысячи вариантов) и т. п.

Как при таких условиях отличить подлинное открытие от мнимого? Пришлось бы тщательно проверять на опыте каждое указание (кроме, конечно, явно нелепых), т. е. проделать такую огромную лабораторную работу, которая совершенно обесценила бы всю экономичность идеи «литературной» машины.

Точно также пришлось бы проделать обширные исторические изыскания, чтобы проверить правильность каждого исторического факта, утверждаемого каким-нибудь продуктом механического производства открытий. Словом, в виду полной невозможности отличать истину ото

лжи, подобный «механический» способ двигать науку вперед был бы совершенно бесполезен, даже если бы каким-нибудь чудом удалось дождаться осмысленного оттиска.

Интересно отметить здесь следующий расчет Бореля (из книги «Случай»)! вероятность выпадения орла 1000 раз подряд при игре в орлянку равна 2^{1000}, т. е. числу, содержащему около 300 цифр. Этот шанс приблизительно таков же, как и шанс получить две первых строки определенного стихотворения, вынимая наудачу из шапки буквы по следующему способу: в шапке 25 букв, одна из них вынимается, записывается и кладется обратно в шапку; после встряхивания вынимается вторая, и т. д. Строго говоря, получить, таким образом, две первых строки определенного стихотворения вполне возможно. «Однако, — замечает Борель, — это представляется нам до такой степени маловероятным, что если бы подобный опыт удался на наших глазах, мы считали бы это

плутовством»[24].



[24] Примечания: 24

Единственно, для чего может, пожалуй, пригодиться механический способ составления фраз и отдельных букв — это для подыскания так наз. «анаграмм». Анаграммой какого-нибудь предложения называется другая фраза, составленная из тех же самых букв, что и первая, но размещенных в ином порядке. Анаграммы могут существовать даже и для сравнительно коротких фраз. Вот любопытный пример нескольких анаграмм предложения

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1) Не теряйте дара своих сил, проснитесь!

2) Лида, не растеряйте своих, проснитесь!

3) Радость при Ленине, сотрясайте их все!

Но и эти 4 фразы приходятся на огромное число бессмысленных сочетаний тех же букв, определяемое произведением 1.2.3.4.5.6……30.31 = 7 с 33 цифрами *(прим. Я.И.Перельмана)*.



Я. И. Перельман
Жюль Верн

К столетию со дня рождения

I

В 1863 г. внимание французской читающей публики привлек к себе роман, совершенно исключительный по содержанию. Ярко и увлекательно рассказывалось в нем о полете над неисследованными дебрями Африки на управляемом воздушном шаре. Это было в то время настолько необычайно, что роман поверг в недоумение и читателей и критиков. Читатели не знали, вымысел ли перед ними, или правдивый отчет о действительном путешествии; критики же затруднялись отнести это своеобразное произведение к определенному роду литературы: оно не подходило ни под какой привычный образец.

Роман называется «Пять недель на аэростате»

и был подписан именем Жюля Верна, до тех пор известного лишь в небольшом кругу театралов своими комическими пьесами и стихотворениями.

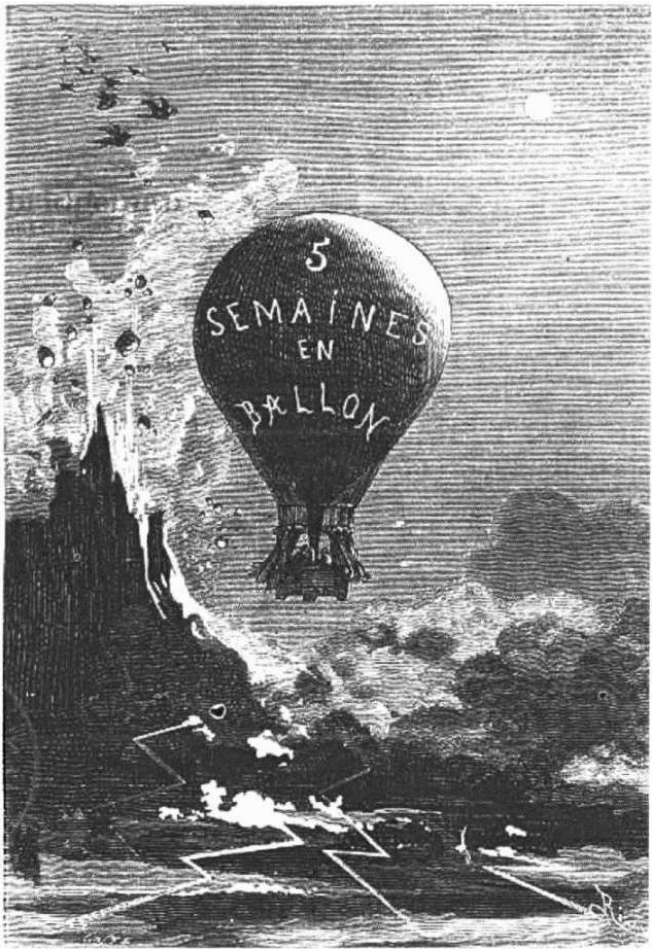

5
SEMAINES
EN
BALLON

Иллюстрация к роману Ж. Верна «Пять недель на воздушном шаре»

Успех романа был так же необычаен, как и содержание; его жадно читали и горячо рекомендовали друг другу. Литературная новинка привлекала не только своеобразием фабулы, но и тем, что повествование тесно переплеталось в ней с событиями, живо интересовавшими тогда всех французов. Воздухоплавание как раз было в центре общего внимания; на очереди стояла задача придать аэростатам управляемость.

Африка также была у всех на устах, потому что капиталистическая Франция вела тогда военные действия в Сенегамбии[25], а газеты сообщали о разведочных экспедициях Ливингстона, Спика и Гранта, углубившихся в дебри Черного материка.

И вот по воле изобретательного романиста, над недоступными пространствами Африки проносится управляемый воздушный шар и обозревает ее тайны с высоты птичьего полета.

---

[25] Примечания: 25

Сенегамбия — административное объединение французских владений в Западной Африке, созданное в 1902 году из территорий Французского Судана, находившихся под гражданским управлением.

Не успела замолкнуть молва, восхвалявшая новый роман, не успело остыть у читателей чувство изумления, как появляется новое произведение того же автора, еще более необычайное по содержанию. На этот раз герои романа увлекли читателей в «Путешествие к центру земли» (1864 г.).

Последние успехи геологической науки быстро сделались, благодаря этому роману, достоянием широких кругов читателей; люди всех поколений — от юношей до старцев — лихорадочно читали это талантливое произведение, а критика единодушно признала, что на литературном горизонте появилось новое и яркое дарование.

Изобретательность романиста, по-видимому, не имела пределов: одно за другим появлялись его произведения, каждое с небывалым, оригинальнейшим сюжетом.

За путешествием в недра нашей планеты последовал (1865-70 гг.) полет в алюминиевой бомбе на Луну, — полет, изобилующий множеством поучительнейших научных подробностей.

В «Путешествии капитана Гаттераса» (1866 г.) Жюль Верн приковывает внимание читателя к таинственной, тогда еще не достигнутой точке северного полюса.



Иллюстрация к роману Ж. Верна «Путешествие капитана Гаттераса»

В «Детях капитана Гранта» (1868 г.) неиссякающее воображение автора совершает со своими героями полное интересных неожиданностей путешествие через материки и океаны кругом всего земного шара.

В следующем романе — «80.000 километров под водой» (1870 г.) — кругосветное путешествие совершается уже в электрической подводной лодке, открывшей своим пассажирам феерические картины жизни в подводных глубинах — за несколько лет до того, как тайны глубоководной фауны были в действительности раскрыты научной экспедицией корабля «Челленджер».



Иллюстрация к роману Ж. Верна «20 000 лье под водой»

Так блистательно загорелась звезда писателя, которому суждено было быстро приобрести симпатии читателей во всем мире. В течение сорока слишком лет он продолжал каждый год или полгода выпускать в свет новые романы, всегда имеющие ту или иную научную подкладку.

Это было словно возрождение пленительных сказаний «Тысячи и одной ночи», в которых, однако, сказочные волшебства заменились чудесами науки; перед читателями создавалась своеобразная энциклопедия географических и естественнонаучных знаний в форме серии увлекательных романов.

Не было уголка цивилизованного мира, где не зачитывались бы романами Жюля Верна. Это едва ли не самый популярный и самый интернациональный из писателей; его произведения переведены на все живые языки, не только европейские, но и внеевропейские: китайский, японский, арабский и др. Юный индус, патагонец или папуас, приобщенный к цивилизации, читает Жюля Верна с таким же увлечением, как и молодежь Италии или Англии. Число экземпляров его сочинений, рассеянных по свету, с трудом

поддается учету.

На русском языке их выпущено было, без сомнения, свыше 5 миллионов; на немецком — по данным издательства, печатавшего переводы — более миллиона. Во Франции многие романы Жюля Верна выдержали уже по 40, по 50 и 60 изданий.

Общее число экземпляров, отпечатанных на всех языках, должно исчисляться сотнями миллионов, — рекорд, которым не может похвалиться, вероятно, никакой другой писатель.

В нынешнем году, 8 февраля, исполняется ровно сто лет со дня рождения этого поэта науки и технического прогресса. И хотя миллионы людей в течение десятков лет с любовью читали и перечитывали его произведения, личная жизнь их автора мало кому известна.

Жюль Верн избегал рекламы, и о жизни его писалось мало.

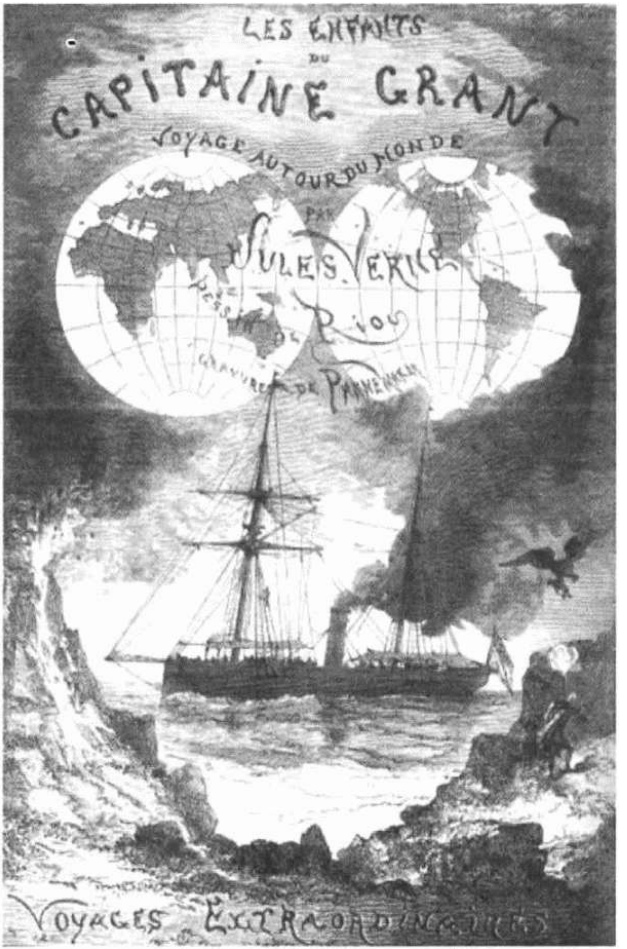
II

Сохранилось подлинное метрическое свидетельство писателя, из которого явствует, что Жюль Верн родился в городе Нанте, во Франции. Отец его был местный юрист.

«Просматривая список моих предков, — говаривал писатель, — я нахожу среди них либо юристов, либо военных, либо моряков».

Молодой Жюль предназначался отцом в юристы и, по окончании средней школы в родном городе, был отправлен изучать юридические науки в Париж. Здесь, на 21-м году жизни, он получил диплом юриста, и в том же году проявилась склонность будущего писателя к литературной деятельности: из-под пера его вылился первый рассказ: «Маяк на Луаре» (родной его город Нант стоит на этой реке).

Любимым чтением юного Жюля в школьные годы были романы Фенимора Купера, воспитавшие в кем страсть к рискованным странствованиям.


LES ENFANTS
DU
CAPITAINE GRANT
VOYAGE AUTOUR DU MONDE
PAR
JULES VERNE
DESSINS DE RIOU
GRAVURES DE PANNEMAKER
VOYAGES EXTRAORDINAIRES

Фронтиспис одного из первых французских изданий романа «Дети капитана Гранта»

Особенно сильное впечатление оставили в нем морские романы Купера. Глядя на тысячи кораблей, прибывавших в Нантский порт и снова отправлявшихся в дальнее плавание, он мечтал о море и морских приключениях.

Возмужав, Жюль Верн оставил свои мечты о море (оставил лишь временно, как мы увидим позднее) и отдался другой своей страсти — литературе.

Получив диплом юриста, он, вместо юридической практики, поступил на службу секретарем директора двух парижских театров: Комической Оперы и Лирического. К этому времени относится дружба его с известным впоследствии писателем Дюма-сыном, бывшим всего на несколько лет старше Ж. Верна и имевшим на своего друга большое влияние. Небольшая веселая комедия в стихах была первым опытом Жюля Верна на поприще драматурга.

Дюма-сын ввел его в дом своего знаменитого отца, где Жюль Верн имел возможность познакомиться с многочисленными представителями литературного мира Франции, собиравшимися

под шумным и гостеприимным кровом прославленного автора «Трех мушкетеров». Под влиянием Дюма-отца Жюль Верн написал пьесу для исторического театра, за которой последовало несколько одноактных опереток (он обладал и незаурядным музыкальным дарованием).

Эти первые литературные шаги плохо обеспечивали писателя материально, и ему пришлось поступить на службу в банкирскую контору. В новой должности, чуждой его склонностям, Жюль Верн пробыл целых десять лет. Впрочем, он и здесь не оставлял своей литературной деятельности. Более обеспеченная жизнь давала ему некоторый досуг для подобных занятий. Он написал несколько рассказов, — пока еще не того «жюль-верновского» жанра, которым он прославился впоследствии.

L'ILE MYSTERIEUSE

PAR

Jules VERNE

154 Dessins par P. Férat



«Таинственный остров» в издании Этцеля

В этот период своей жизни Жюль Верн тесно сблизился с замечательным человеком, несомненно, повлиявшим на дальнейшее развитие его дарования. Это — парижский журналист Феликс Турнашон, более известный под псевдонимом Надара, восемью годами старше Жюля Верна.

По пылкому характеру и бурной жизни Надар был словно реальным воплощением типичного «жюль-верновского» героя. Побывав секретарем строителя Суэцкого канала Лессепса, Надар занялся живописью, потом стал карикатуристом, затем открыл, в 1852 г., фотографическое ателье.

Оно стало одним из первых в мире по времени возникновения. Но беспокойная натура влекла его все к новым и новым поприщам: спустя два года мы видим его уже деятельным работником воздухоплавания, одушевленным грандиозными замыслами.

В 1863 году Жюль Верн вместе с ним совершает подъем на аэростате. Читатели романа «Из пушки, на Луну» могут узнать, многие черты этого предприимчивого человека в личности Мишеля Ардана, имя которого не случайно составляет

анаграмму (перестановку букв) имени Надара.

Постепенно в литературных опытах Жюля Верна начинает сказываться будущий автор «Капитана Гаттераса» и других «Необыкновенных путешествий», как названа издателем серия его научных романов. Позднейшие его рассказы этого периода часто носят следы начитанности автора в области естествознания. Таковы «Зимовка во льдах», «Мартин Пац», «Драма в воздухе» — небольшие, но уже вполне зрелые литературные произведения.

III

Истинное свое призвание Жюль Верн открыл в себе в 1862 г. Однажды, прогуливаясь с друзьями, он неожиданно объявил им.

— Я напал на мысль. Сейчас я пишу роман в совершенно новом роде, нечто крайне своеобразное. Если он удастся мне, это будет значить, что я напал на золотоносную жилу. И тогда я стану писать исключительно такие романы.

Приятели рассмеялись.

— Смейтесь, смейтесь, друзья! Посмотрим, кто будет смеяться последний!

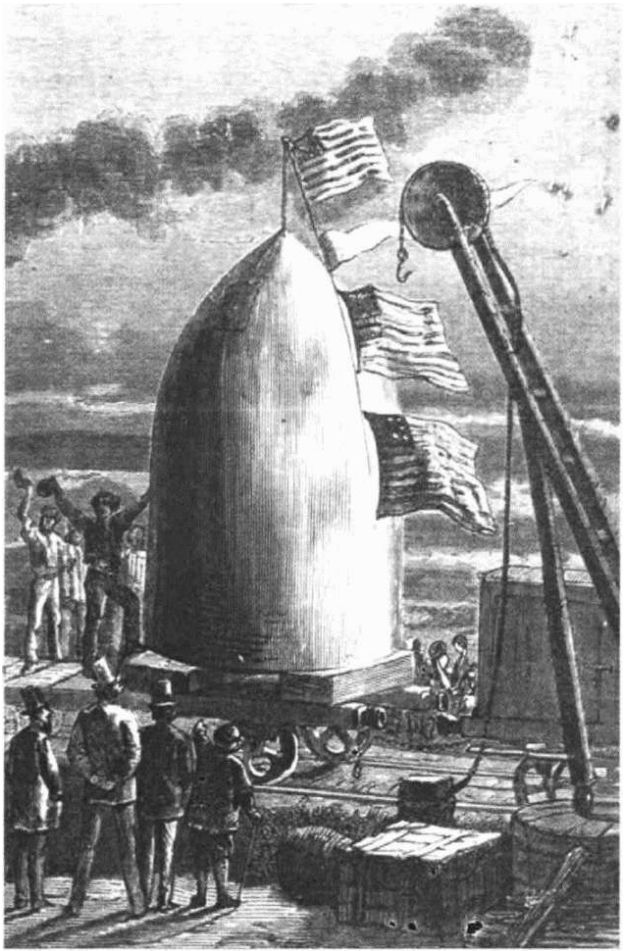


Иллюстрация к роману «Из пушки на Луну»

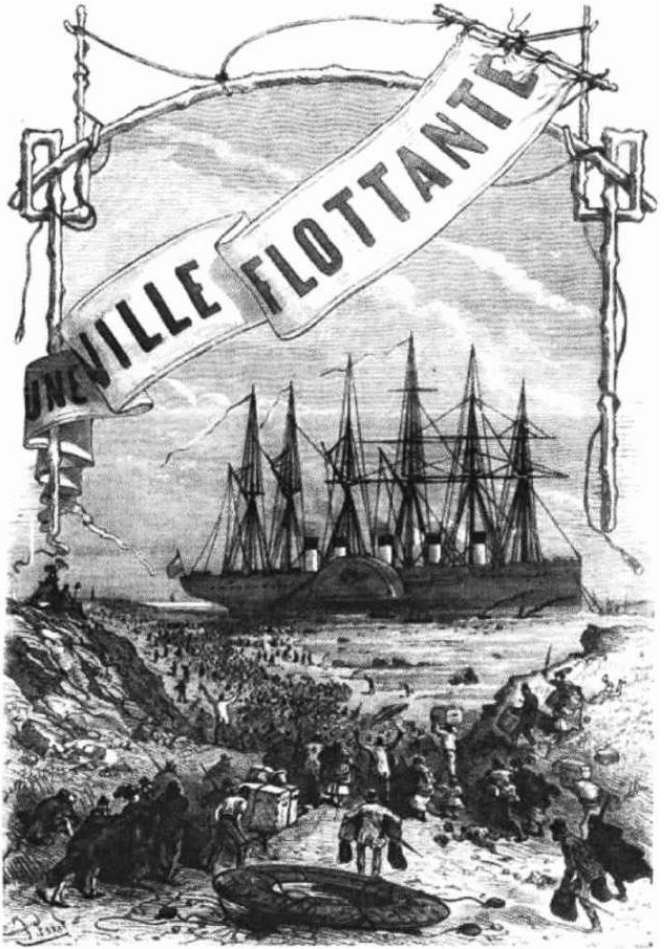
В конце 1862 г. Жюль Верн принес издателю (Гетцелю) рукопись «Пять недель на аэростате». Жюль Верн в самом деле «напал на золотоносную жилу», потому что успех этого первого романа далеко превзошел мечты автора.

Издатель оказался человеком дальновидным и поспешил заключить с автором договор, согласно которому Жюль Верн должен был в течение двадцати лет писать по два романа в год в том же жанре. Этот странный договор добросовестно исполнялся романистом до самой смерти, то есть, не двадцать лет, а сорок один год.

«Пять недель на аэростате» появилось, как мы уже знаем, в 1863 г. и начало собою длинную серию географических и естественнонаучных романов. Все последующие романы публиковались в французском двухнедельнике для юношества «Журнал поучения и отдыха» — одним из трех соиздателей которого сделался Жюль Верн.

В сущности, он был душою издания, потому что журнал родился при его содействии и прекратился вместе с его смертью. Романы печатались по одной главе в каждом номере журнала, украшенные тщательно исполненными гравюрами.

То, что они предлагались читателям по главам, с промежутками в две недели, объясняет нам некоторые особенности этих романов, — например, присутствие в них зачастую целых страниц, посвященных географическим и естественноисторическим описаниям.


UNE VILLE FLOTTANTE

Фронтиспис французского издания романа «Плавучий город»

Утомительные, пожалуй, в отдельной книге, страницы эти в журнале не пропускались нетерпеливыми читателями, а прочитывались внимательно, быть может, и не один раз, так как до следующей главы оставалось достаточно времени. Образовательная цель романов достигалась поэтому в полной мере.

«На место чудес старых волшебных сказок Жюль Верн ставит новые чудеса, — писал непременный секретарь Академии. — Новейшие успехи естественных наук составляют главное содержание его произведений. Искусно поддерживаемый интерес служит у него целям образовательным. Узнав с удовольствием много поучительного, читатель, по прочтении его сочинений, испытывает желание узнать еще больше: они будят научную любознательность».

Жюль Верн не оказался в числе «бессмертных» французской Академии только потому, что он сам отклонил эту «честь», когда она ему была предложена на 73-м году жизни; он не желал в преклонном возрасте подвергаться утомительным формальностям, связанным с избранием.

IV

Мы забежали вперед, заговорив о старости писателя. Нам предстоит еще познакомиться с событиями, наполнявшими среднюю пору его жизни.

Однажды Жюлю Верну пришлось ожидать в приемной министра иностранных дел.

— Садитесь, господин Жюль Верн, — сказал ему слуга министра, тотчас же узнавший популярного романиста. — После далеких путешествий вы, без сомнения, очень устали.

Простодушный слуга воображал, что писатель лично совершает все те дальние странствования, которые описаны в его произведениях. Эту уверенность разделяли с ним, впрочем, и большинство почитателей французского романиста.

JULES VERNE

L'ÉTONNANTE AVENTURE DE LA MISSION BARSAC



Фронтиспис французского издания романа «Экспедиция Барсака»

Между тем, Жюль Верн побывал из внеевропейских стран только в Алжире и в Северной Америке: он плавал в Америку в 1867 г. на знаменитом «Грэт Истерн» — исполинском (для того времени) пароходе, прославившемся прокладкой телеграфного кабеля через Атлантический океан. Романы «Плавучий город», «Север против Юга» и «Нарушители блокады» отражают впечатления, навеянные этим путешествием.

Отсюда не следует, однако, что прочие годы своей жизни Жюль Верн безвыездно проводил в кабинете. В биографии французского романиста есть полоса, заполненная частыми морскими плаваниями. Это период с 1875 по 1886 г.

Женившись и переселившись навсегда из Парижа в город Амьен, на родину своей жены, Жюль Верн вскоре приобрел небольшую парусную яхту «Сен-Мишель» в десять тонн водоизмещения.

Экипаж яхты состоял всего из двух матросов-рыбаков и капитана, которым был сам Жюль Верн. Романист страстно отдавался этому спорту, уходя на своей яхте далеко в океан.

Позднее маленький парусник Жюля Верна был

заменен паровой яхтой, названной также «Сен-Мишель». Это было уже гораздо более крупное судно в 35 метров длины, с машиной в 25 лош. сил. В уютно обставленной каюте яхты Жюль Верн проводил много времени, однако никогда не писал здесь романов. Это было местом отдыха и размышления над планами новых произведений.

Море было страстью французского романиста; он любил жизнь моряков и превосходно изучил их ремесло. Он был «капитаном дальнего плавания» в полном смысле слова, хорошо знакомым с искусством кораблевождения.

UN CAPITAINE DE QUINZE ANS

PAR

JULES VERNE



«Пятнадцатилетний капитан» в издании Этцеля

Портрет Жюля Верна в ту эпоху его жизни мы имеем в иллюстрации художника Риу к роману «80 тысяч верст под водой»: профессор Аронакс на палубе судна — это ни кто иной, как сам романист на борту своей яхты.

Жюль Верн плавал на яхте «Сен-Мишель» к берегам Англии, Португалии, Испании, Алжира, Италии, останавливаясь в прибрежных городах. Еще до этого он совершил (в 1861 г.) поездку в Скандинавию; впечатления этого путешествия отразились в его романах «Зеленый луч» и «Лотерейный билет». Таковы все путешествия, действительно проделанные Жюлем Верном. Как видим, он никогда не переступал ни тропиков, ни полярного круга, и, конечно, не плавал в подводной лодке. Путешествия в дебри Африки, Южной Америки и Австралии, в полярные страны, в Китай, в Сибирь, в Турцию и т. д., так натурально описанные в его романах, выполнены были автором лишь в воображении. Путешествия в те страны, которых он не посетил, он описывал так же, как описал путешествие на Луну. В последнем случае он пользовался «Астрономией» Араго, в первом — «Всеобщей географией» Э. Реклю.

Как для исторического романиста вовсе не необходимо быть современником повествуемых событий, так и для романиста географического не обязательно личное посещение описываемых стран: тот и другой могут пользоваться источниками. Этого тем более нельзя требовать от романиста, что даже специалисты-географы не всегда исследуют лично те страны, о которых они пишут. Автор 19-томной «Всеобщей географии» Реклю писал в предисловии к своему труду:

> «Наша земля по отношению к отдельному человеку почти безгранична, и я вынужден был прибегнуть к помощи других авторов, посещавших и изучавших разные страны».

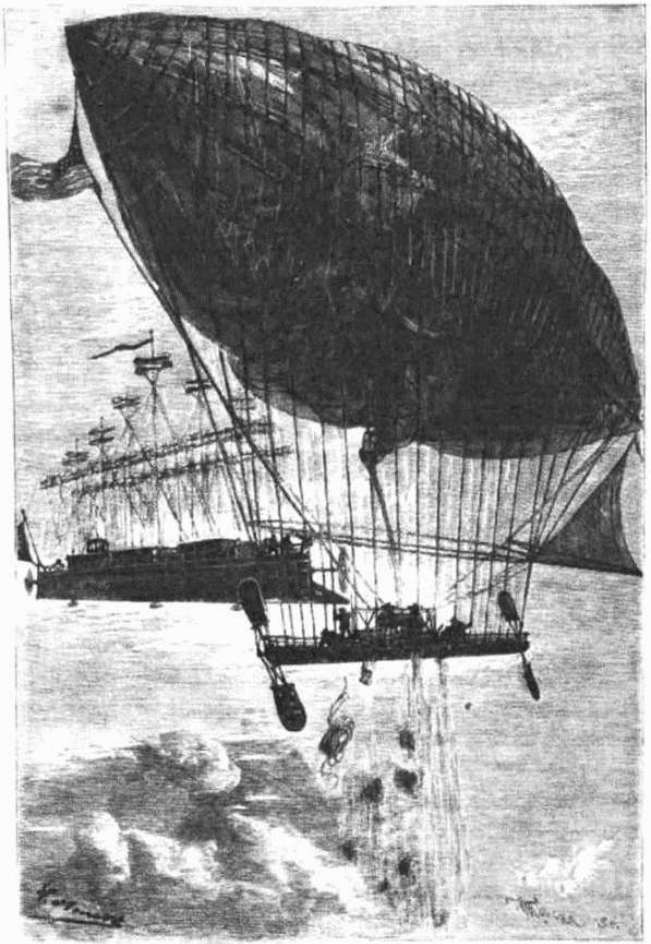


Иллюстрация к роману «Робур-завоеватель»

V

На 58-ом году жизни Жюль Верн навсегда оставил морские путешествия и продал свою яхту. Причиной такого внезапного отказа от любимого спорта послужил несчастный случай: писатель сделался жертвой нападения искренно любимого им племянника — душевнобольного молодого человека, случайно ускользнувшего от надзора окружающих. Подверженный мании преследования, больной во время припадка ранил романиста в ногу выстрелом из револьвера. Извлечь пулю не удалось (лучей Рентгена тогда еще не знали), и рана превратила прежде крепкого старика до некоторой степени в инвалида, сделав невозможным для него пребывание не только на капитанском мостике, но и вообще на борту яхты.

С тех пор Жюль Верн до самой смерти почти безвыездно жил в Амьене, в тихом безмятежном уединении. Он покинул этот город только дважды — для посещения всемирных выставок в Париже в 1889 и 1900 гг. Однако, он продолжал

выполнять свои общественные обязанности: аккуратно посещал заседания коммунального совета, членом которого он состоял.

Бывал на собраниях Амьенской академии наук и иногда читал там доклады; не пропускал собраний общества эсперантистов, задачам которого горячо сочувствовал.

Неутомимо работая за письменным столом, Жюль Верн продолжал ежегодно выпускать по два тома романов. Он не ослабил темпа своей литературной работы даже тогда, когда в 1895 г. ослеп на левый глаз. В 1900 г. он окончательно потерял зрение, но продолжал работу с прежней энергией, диктуя свои произведения.

Только смерть остановила его работу.

На 77-ом году слепой писатель заболел диабетом (сахарной болезнью), от которой ему не суждено было оправиться.

Когда у постели умирающего собрались его ближайшие друзья, он сказал:

— Вы все собрались здесь; теперь я могу отправиться…

Это были его последние слова.

Он скончался 24 марта 1905 года.

VI

Жюля Верна следует считать подлинным создателем научно-фантастического романа. До него робкие попытки в этом направлении делал лишь американский писатель Эдгар По (умерший в 1849 г.). Но написанные По несколько научных рассказов не могут идти в сравнение с 80-томной серией романов Жюля Верна, представляющей собой своеобразную естественнонаучную энциклопедию.

Научную основу своих романов Жюль Верн разрабатывал с большой тщательностью. Он читал очень много из самых разнообразных областей знания, постоянно делая выписки заинтересовавших его мест. За долгие года такого чтения у него накопилось свыше 20.000 заметок, извлеченных из научных книг и журналов.

С необыкновенным искусством умел он вплетать в нити увлекательной интриги полезные сведения из географии, астрономии, геологии, минералогии, физики, химии, зоологии, ботаники и из различных отраслей техники: воздухоплавания, электротехники, баллистики, судостроения, горного дела и т. п.

Замечательной особенностью Жюля Верна, которой не хватает всем его последователям, является то, что он не только знакомил с уже достигнутыми успехами науки, но удачно угадывал их дальнейшие достижения, заранее провидел открытия и изобретения, свидетелями которых суждено сделаться позднейшим поколениям. Это не были беспочвенные мечтания, а логические выводы из существующего. «Я всегда стою на реальной почве», — говорил он и действительно не порывал с твердой основой научных фактов в самом смелом полете своего воображения.

Этим объясняется то, что многие технические предвидения Жюля Верна вполне оправдались, частью еще при жизни писателя.

Он писал о победе аппаратов тяжелее воздуха еще тогда, когда таких машин не существовало. Его электрический «Наутилус» далеко превосходил по совершенству те примитивные подводные лодки, которые строились в то время. В «Паровом доме» он познакомил широкого читателя с самодвижущимся экипажем, известным до того времени лишь ограниченному кругу специалистов.

Он предвидел поразительные успехи электротехники тогда, когда она была почти в младен-

ческом состоянии, и пророчествовал о том, что электричество со временем проникнет во все области человеческой деятельности.

Он писал о громкоговорящем телефоне и о кинематографе («Замок в Карпатах», 1892 г.) раньше, чем они были изобретены, и предвидел возможность передачи изображений на расстояние («Остров-винт», 1895 г.), осуществляющуюся в наши дни. Он предсказывал, задолго до мировой войны исполинские пушки германской артиллерии («Пятьсот миллионов Бегумы», 1879 г.).

Наконец, с необыкновенной ясностью формулировал он идею межпланетных путешествий тогда, когда никто из его современников не отваживался еще рассматривать ее, как техническую задачу.

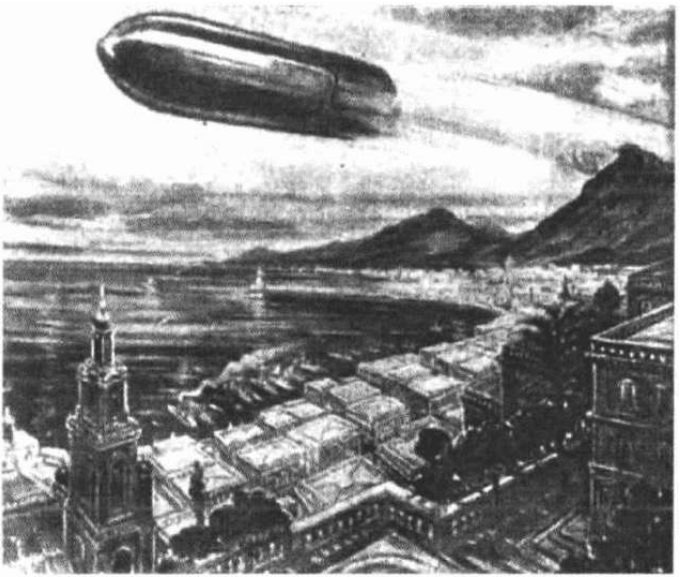
Строгие критики указывают нередко на ряд научных ошибок в романах Жюля Верна. С точки зрения современного состояния науки этот упрек, конечно, справедлив. Было бы удивительно, если бы научные романы, написанные несколько десятков лет назад (лучшие романы написаны 50 и 60 лет назад), не заключали никаких ошибочных сведений: это значило бы, что наука за столь долгий срок не подвинулась вперед! Даже и научные книги 1865-1875 гг. содержат немало устаревших,

ныне признанных неправильными взглядов. Можно требовать лишь, чтобы научный роман стоял на уровне научных взглядов своей эпохи, а этому требованию романы Ж. Верна в большинстве случаев удовлетворяют.

Особенно тщательно проверен научный материал в астрономических романах Жюля Верна. В некоторых отношениях французский романист предвосхитил даже работы позднейших астрономов. Английский научный журнал «Знание» (в статье «Астрономия у Жюля Верна») пишет по поводу романа «Из пушки на луну» следующее:

> «Кривая, описанная снарядом Жюля Верна, дает повод к весьма интересным вопросам. Она начинается и кончается на Земле и представляет собой замкнутую орбиту снаряда. Такую орбиту должна описывать частица, выброшенная с Земли и подверженная действию только силы земного тяготения. Но под совместным действием Земли и Луны форма орбиты, очевидно, должна измениться. Это было указано впервые Бюрро, исследовавшим различные относящиеся сюда частные случаи. Джордж Дарвин

также исследовал подобные случаи. Но лишь недавно была дана общая теория этого вопроса профессором Ф. Р. Мультоном, который доказал существование подобных орбит и нашел необходимые начальные условия их существования. Жюль Верн надолго предвосхитил эти исследования».



Несмотря на частичную устарелость научного материала романов Жюля Верна, они и в наши дни далеко не утратили своего образовательного значения.



М. Пушкарский
Пророческий роман Жюля Верна

Ровно десять лет тому назад, весною 1905 г. покинул наш мир даровитый романист, в своих научно-фантастических романах не раз делавший попытку предугадать решение грандиозных проблем, которые в его время казались недоступными для науки и техники. Мы говорим, конечно, о Жюле Верне. В романе «80 тысяч вёрст под водой» фигурирует подводный корабль, в романах «Пять недель на аэростате» и «Робур-победитель» решается проблема завоевания воздуха, притом обоими способами (по принципу «легче воздуха» и «тяжелее воздуха»); в «Паровом доме» предсказан автомобиль, и т. д.

Нельзя, впрочем, назвать эти романы «пророческими» в смысле указания способа решения

проблемы. Этого, конечно, невозможно и требовать от фантазии романиста.

Ни один автор «научно-фантастического» романа ещё не мог угадать того решения проблемы, к которому приходит наука; она всегда решается совершенно иначе, чем в фантазии Уэллса, Верна, и проч. Если бы фантазия художника могла угадывать техническое решение вопроса, то, пожалуй, и в науке не было надобности. Но фантазия романиста и метод исследователя — два столь различные орудия, что и результаты их применения не могут совпадать. Обыкновенно, решения научно-фантастических романов отличаются с одной стороны чрезмерной замысловатостью: богатая фантазия, остроумие романиста изобретают сложный аппарат там, где техника применяете самый простой приём, — а с другой та же фантазия часто легко перескакивает через затруднения, неразрешимые без целого ряда новых открытий, предсказать которые никакая фантазия не в силах.

В этом смысле пророчества Жюля Верна не составляют исключения: в них не предсказаны те способы решения проблем подводного плавания, воздухоплавания и воздухолетания, автомобиля, которые найдены современной техникой. Знаме-

нитый романист не предвидел и действительного применения этих изобретений. В его романах они служат для культурных, гуманитарных целей, для блага человечества… На деле же, три из них (подводная лодка, дирижабль, аэроплан) не имея серьёзного значения для мирной жизни, служат исключительно для истребления людей, и только четвёртое — автомобиль — наряду с военным применением, играет известную роль, как средство передвижения вообще.

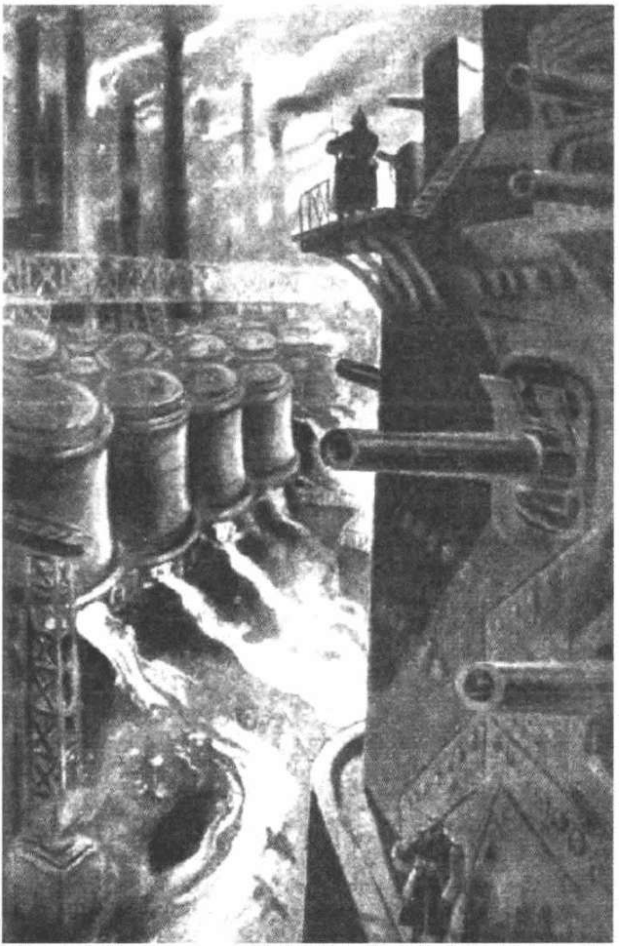
Эти несоответствия с действительностью ничуть не умаляют достоинства романов Жюля Верна. Их достоинство не в технической, а в художественной убедительности, которая так захватываете читателя, в яркости и жизненности картин и образов; а их воспитательное значение именно в том, что они дают не просто «занимательные приключения», а картины труда и борьбы ради высоких культурных и гуманитарных целей. К счастью, эта борьба, этот труд также реальны, как война, но более действительны; они дают не отрицательные, а положительные результаты; психоз проходит, творческая работа остаётся и нарастает…

А никто не давал таких ярких, увлекательных, полных захватывающей правды и жизни картин

этой работы как Жюль Верн.

Есть, однако, среди романов Жюля Верна и такой, в котором содержатся пророческие элементы, и при том относящиеся к событию самой животрепещущей действительности: к переживаемой нами войне.

Этот роман — «Пятьсот миллионов бегумы» — символический: в лице двух учёных — француза и немца — автор олицетворяете два типа культуры: гуманитарный, цель которого — мир, солидарность, взаимопомощь между людьми и народами, торжество морального закона над грубой силой; и милитаристский, цель которого — война, истребление или порабощение сильных слабыми, подчинение морали «бронированному кулаку»: нравственность допустима, поскольку она удобна для интересов силы…



«Город Стали» — германский идеал, предвосхищенный Жюлем Верном

Первым типом автор считает Францию, вторым Германию. Капитальный факт: центром и очагом милитаризма была за последние десятилетия Германия; новый вариант завоевательного типа культуры был и практически и теоретически разработан ею; отсюда эта зараза распространялась по соседним государствам, отсюда исходила вечная угроза войны, кошмаром нависшая над Европой…

Если Франция и другие государства иногда и сбивались с пути гуманитарной культуры, то Германия, в лице своих правящих и командующих элементов, попросту отказалась от этого пути и сознательно поставила себе другою цель, нашедшую усердных идеологов, выдвинувших учение о благородной (германской) расе, обязанной истреблять или держать под ярмом неблагородные (романские, славянские и все прочие). Но вернёмся к роману.

Фабула его несложна. Француз, доктор Сарразен, и немец, профессор Шульце, оказываются наследниками огромного состояния в 500 миллионов франков. Оно принадлежало офицеру,

служившему в Индии в войске одного раджи, достигшему важных чинов и, в конце концов, женившемуся на вдове этого самого раджи. Состояние вдовы перешло к их сыну, умершему бездетным, а затем родственникам по боковой линии, каковыми и оказываются упомянутые французский доктор и немецкий профессор.

Каждому достается по 250 миллионов.

Француз решает употребить своё состояние для блага человечества: построить идеальный город по всем правилам гигиены и санитарии «с целью физически и моралью улучшить человечество». Тут разумно организованный на началах солидарности труд, безукоризненно поставленное образование, и проч.; отсюда выходят проповедники, словом и делом, братства и солидарности. Француз устраивает этот город в Америке, на свободной территории, принимает в него «людей, гонимых нуждою и угнетённых безработицей», посвящает свои силы их организации, и действительно организует идеальную общину. Город называется «Франковиль» («Франкоград»).

Немец решает употребить своё состояние тоже для человеческого блага, но понимаемого им на свой лад. Человечество надо очищать от слабых, болезненных и гнилых элементов, с которыми

возятся и нежничают нелепые мечтатели, вроде основателя «Франкограда»; человечеством должны распоряжаться сильные, а так как сильна только германская раса — остальные дрянцо, достойное либо истребления, либо роли чернорабочих под командой Германии — то она и должна владычествовать над человечеством.

Профессор Оствальд в известном письме выразился несколько мягче: Германия должна «организовать» человечество (силой), но дух его письма, равно как и многочисленных заявлений в том же роде, положительно предвосхищён Жюлем Верном.

Само собою разумеется, что все, кто не пожелает покориться немецкому владычеству, должны быть стёрты с лица земли.

Но для осуществления такой задачи нужны средства, нужно вооружение, против которого никому не устоять, нужны «сорокадвухсантиметровые мортиры»...

И вот, профессор Шульце тоже строит город в Америке, на свободной территории, в десяти милях от «Франкограда», — город, представляющий огромную фабрику-казарму, выделывающую орудия неслыханной и невиданной силы и опустошительности, изобретению и усовершен-

ствованию которых профессор посвящает свои способности. Его город называется «Штальштадт» («Город Стали»).

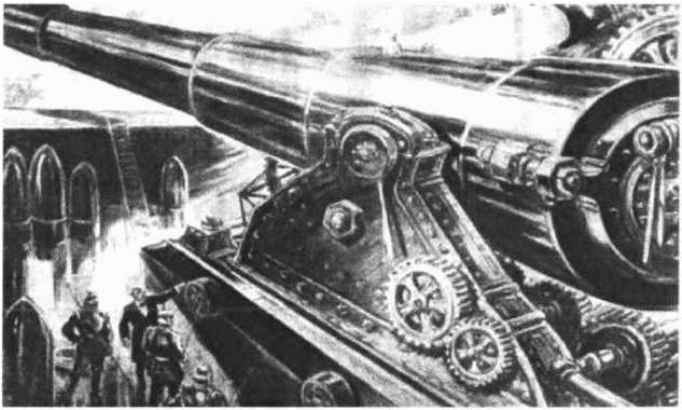
От «Города Стали» веет современной Германией: рассуждения профессора Шульце местами до странности напоминают литературу современного германского национализма; его свирепые речи точно составлены по сборнику речей Вильгельма II (а ведь этот герой ещё и не показывался на политическом горизонте Европы в эпоху написания романа, в 1879 году!); холодная, так сказать «добросовестная» жестокость, с какою он развивает и осуществляет истребительные планы, производит впечатление чего-то знакомого. Да… это Калиш, Лувен, это те приёмы, применённые с места в карьер, которые придали нынешней войне такой исключительно не рыцарский, характер!

Автор предугадал и воплотил в своих образах крайние последствия развития холодного милитаризма, достигнутые лишь ныне и проявляющаяся теперь на практике. Вероятно, в своё время (1879) роман казался преувеличением: тогда ведь это направление ещё находилось в начальной стадии развития. Теперь оно расцвело в маниакальные речи Вильгельма, маниакальные рассуждения Оствальдов и К°, маниакальные

дела в Лувене и Калише… И картина Жюля Верна уже не вызываете впечатления преувеличенности: это верный символ современной милитаристской Германии.

Два таких противоположных типа культуры не могут мирно существовать рядом. И действительно, профессор Шульце решается истребить «глупый и противоестественный филантропический муравейник» — Франкоград; и притом не как-нибудь, а с немецкой солидностью и основательностью; со всеми людьми, животными, и даже растениями!

Он изобретает чудовищную пушку, заряжаемую чудовищными снарядами; в снаряде заключены сто небольших снарядов, разлетающихся по всем направлениям. Одного такого снаряда достаточно, чтобы уничтожить целый город, разрушить его, сжечь, «наполнить огнём и смертью, истребить всё живое, что окажется в сфере его действия.



Колоссальная германская пушка, описанная Ж. Верном за тридцать лет до современных событий

Такой снаряд профессор Шульце намеревается пустить в ненавистный ему Франкоград, и приводит своё намерение в исполнение.

Жители идеального города предупреждены о грозящей им гибели одним из героев романа, самоотверженным французом, который пробрался в «Город Стали», выдав себя за немца, проник в тайны профессора, был за это приговорен им к смерти, бежал, попал в горящее здание, потом свалился в поток, но, как полагается героям романов с приключениями, благополучно прошёл

огонь и воду, и счастливо добрался до Франкограда. Однако предупреждение пришло чересчур поздно, и гибель нависла над городом неминуемая! К счастью, спасение явилось с совершенно неожиданной стороны: от избытка немецкой изобретательности. Немец, как говорится, переборщил: его пушка сообщает снаряду быстроту в десять тысяч метров в секунду. А при такой быстроте полёта снаряд не может упасть на землю: он летит почти по касательной к её поверхности, вылетает из сферы притяжения земного шара и отправляется в бесконечные пространства…

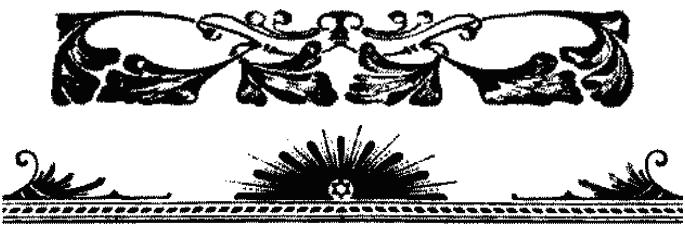
И действительно, снаряд, пролетев над городом, исчезает в небесах…

А вскоре затем немецкий профессор гибнет жертвою своих истребительных планов. Одно из его изобретений — бомба, начинённая жидкой углекислотой, которая при разрыве испаряется и, наполняя значительное пространство, замораживает и отравляет всё живое в его пределах — случайно разорвалась в лаборатории и превратила задохнувшегося изобретателя в ледяную статую. С его смертью падает и его предприятие, обнаруживается банкротство, производство останавливается, рабочие разбегаются, и «Город Стали», брошенный населением, превращается

в пустыню…

Это тоже символ и пророчество! По мысли автора, гуманитарный, положительный тип культуры преодолевает все опасности в силу своих внутренних творческих начал; тип завоевательный погибнет, несмотря на все свои внешние успехи и кажущуюся силу, — погибнет естественно, жертвою заложенных в нём разрушительных элементов.

Остаётся пожелать, чтобы и это предсказание романиста оказалось пророческим.



Л. Исидорский
Пророки мировой войны
I

Случилось то, что еще недавно всеми считалось самым невероятным, самым невозможным

— вспыхнул мировой военный пожар. Половина человечества ввергнута в ад военной грозы. Ещё недавно это казалось до такой степени немыслимым, что никто на земном шаре не думал об этом сколько-нибудь серьёзно. И лишь немногие романисты делали фантастические экскурсии в эту область.

Любопытно отметить, что число подобных романов в самые последние годы начало быстро возрастать. Очевидно, мрачная тень надвигавшегося мирового бедствия тревожила наиболее чуткие умы, беспокоила встревоженное воображение. Можно насчитать около десятка фантастических романов, посвящённых этой теме, и из них большая часть появилась в последние два года[26].

---

[26] Примечания: 26
Статья написана осенью 1914 года.



Теперь, когда мы уже охвачены неожиданно налетевшим ураганом мировой войны, естественно возникает вопрос: удалось ли кому-нибудь из фантастов хотя бы в главных чертах предугадать картину будущего? Оказывается, что в большинстве случаев пророчества романистов были довольно далеки от той реальной картины, кото-

рую мы сейчас видим перед собой.

Лишь в одном романе — в знаменитой «Адской войне» Жиффара[27] мы находим довольно близкую к действительности группировку держав (союз России, Франции, Англии и Японии против Германии, от которой отпала Италия). Тот же французский писатель угадал и другую черту мировой войны — беспощадную, холодную жестокость Германии, руководимой теперь бесчеловечным лозунгом: необходимость не признаёт законов. («Not kennt kein Verbot»[28] — сказал в рейхстаге канцлер, когда ему задан был вопрос о нарушении нейтралитета Бельгии.) Большинство же остальных романов рисуют обстановку, мало похожую на то, что мы видим теперь перед собой.

Особенно далеки от истины немецкие романисты. Их пророчества о мировой войне, конечно, отводят почётную роль Германии, которая выступает у некоторых даже в союзе с Россией. Таков

---

[27] Примечания: 27

Пьер Жиффар (*Pierre Giffard*, 1853-1922) — французский журналист, пионер современного политического репортажа, газетный издатель и успешный беллетрист. Роман «Адская война» вышел в 1908 году, пользовался большой популярностью (в том числе, переведенный на русский язык, и в России).

[28] Примечания: 28

«Необходимость отменяет закон».

роман Нимана «Мировая война»[29], написанный вскоре после русско-японской войны. Здесь группировка держав такая: с одной стороны — Россия, Германия и Франция; с другой — Англия. Цель войны — сокрушить морское могущество Великобритании, произвести «освобождение Европы от оков Англии». Поводом к войне являются недоразумения между Россией и Англией в Афганистане. Сухопутные сражения разыгрываются в Индии, где русские войска блестяще проводят кампанию, вытесняя англичан, в то время как на море соединённый русско-германско-французский флот победоносно сражается с английским. В результате — Индия отходит к России, Египет — к Франции, а английские колонии — к Германии. Немецкий романист отдаст своей родине также Голландию со всеми её колониями и Трансваалем, Бельгию же великодушно уступает Франции.

Ниман оказался недальновидным политиком; ещё хуже обстоит у него по части стратегии. Впрочем, он не без остроумия устраивает так, чтобы в

---

[29] Примечания: 29

Август Ниман (*Niemann*, 1839 — 1919) — немецкий беллетрист, романист, путешественник, принимал участие в войнах 1866 и 1870-71 гг. и совершил несколько больших путешествий, послуживших в том числе и материалом для его романов; был весьма популярен в дореволюционной России.

мировой войне всё бремя лежало на плечах России, на долю же Германии выпадает чуть ли не одно участие в дележе приобретений, — участие, можно сказать, львиное. Успех романа следует приписать довольно удачно проведённой через него личной фабуле; вообще, как чисто литературное произведение, «Мировая война» Нимана читается всё же с интересом.

Более близкую к действительности картину нарисовал другой германский писатель Рудольф Мартин[30] в своём романе, также озаглавленном «Мировая война». Прежде всего, самая группировка держав угадана вполне верно: Германия и Австрия воюют против Тройственного Согласия[31]. Затем военно-технический арсенал обогащается у него воздушным флотом, которому, впрочем, приписывается чрезмерно большое значение.

---

[30] Примечания: 30

Мартин Рудольф Эмиль *(Martin*, 1867-1916) — советник германского императорского статистического ведомства, известный немецкий ученый экономист-статистик, которому, кстати, принадлежит известная фраза «Не все расы одинаково ценны». Публицист и беллетрист, весьма популярный в предвоенной Германии. Автор острой антирусской книги «Будущность России», опубликованной в 1905 году и тогда же переведенной на русский язык.

[31] Примечания: 31

Автор имеет в виду союз между Россией, Францией и Великобританией.

С нескрываемым восторгом мечтает прусский романист о грядущем разрушении столь ненавистного ему Парижа. Не успела начаться война, как уже «боевому флоту из 250 воздушных алюминиевых судов было предписано немецким генеральным штабом, через час после объявления войны, разрушить воздухоплавательный парк, затем бомбардировать центр Парижа, уничтожая, главным образом, все казармы и наиболее значительные здания, а с остатками боевых снарядов разрушить какую-нибудь крепость на восточной границе Франции. Париж, охваченный паникой, должен будет скоро сдаться, а полная дезорганизация, внесённая в ряды защитников страны, довершит победу… Минуту спустя, колоссальный четырёхугольник, занимаемый французским военным министерством, от Сен-Жерменского бульвара до улицы Сент-Доминик, был обращён в развалины и пылал, как костёр. Почти все офицеры генерального штаба и сам военный министр погибли при этом. Едва успело закончиться разрушение военного министерства, начался обстрел пяти казарм».

А затем следует описание дальнейшего разрушения страны, — разрушения, в котором гунны XX века выказали себя столь искусными специа-

листами… За Францией наступил черёд Англии, столица которой была разрушена полумиллионной воздушной армией. Английский король попадает в плен, и мир подписывается на следующих условиях:

> «Англия уплачивает Германии 25 миллиардов и Австрии 15 миллиардов контрибуции. Англия признаёт права Германии на владение Марокко, Алжиром, всей передней Азией, включая Персию. Кроме того, Англия признаёт право Австро-Венгрии на владение Сербией, Черногорией и всей Европейской Турцией. Русские прибалтийские провинции, русская Польша и Малороссия (sic!) должны составить имперские владения Германо-Австрийского союза, к которому должны присоединиться Голландия, Бельгия и весь север Франции от Кале и Булони до Реймса и Бельфора. Правительство этих имперских владений должно находиться в Берлине под главенством его величества германского императора. Всё это должна признать Англия, и так, как целость самой Англии

и её колоний не нарушена, то это — мир почётный для Англии, и следовательно, Англия может заключить оборонительный и наступательный союз с Германией и Австро-Венгрией, что обеспечит навеки ныне установленные границы».

Жутко читать эти мечтания бездушного «людобойца», для которого весь мир сосредоточивается в бронированном кулаке самонадеянного прусского офицера. Война длится всего-навсего один месяц, и в результате «незыблемо утверждается могущество германской державы»… Роман этот, в высшей степени характерен для настроения воинствующих кругов Германии и даёт наглядную картину властолюбивых вожделений наших врагов. Отодвинуть Россию к пределам эпохи Иоанна III, подчинить себе половину Франции, поглотить Бельгию и Голландию, Сербию и Черногорию, покорить Турцию и сорвать солидный куш в 40 миллиардов — вот какие заманчивые перспективы рисовались недавно Вильгельму II в дыму его орудий…

Роман Р. Мартина имеет подзаголовок «Картины ближайшего будущего». Пожелаем же автору дожить до конца настоящей войны, чтобы уви-

деть плачевное крушение своих воинственных планов.

Впрочем, и среди самих немцев есть люди, которые мало верят в победоносность их армии. В этом отношении чрезвычайно любопытен роман под заглавием «Kriegmobil 19..», вышедший в Германии всего полгода тому назад.

Его автор, не пожелавший выставить своего имени, смотрит на результаты грядущей войны довольно пессимистически. Здесь нет ни молниеносных побед, ни триумфального шествия прусских войск, ни огромных земельных приобретений. Чтобы дать возможность Германии сколько-нибудь успешно сражаться с Россией и Францией, анонимный автор даёт своей родине в помощь не Австрию (на армию которой он, по-видимому, не очень надеется) а Англию с её могущественным флотом. И всё-таки, даже при таких, казалось бы, благоприятных обстоятельствах, военные успехи не сразу даются Германии. В борьбе на два фронта вырисовывается картина, весьма близкая к той, которую мы видим сейчас.

Прежде всего, Германия теряет половину своих «Цеппелинов», так что против России действия её воздушного флота почти приостанавливаются. Вторжение германской армии во Францию

совершается крайне медленно, при упорном сопротивлении французской армии.

Ещё хуже для немцев складываются обстоятельства на восточной границе, где им не удаётся противостоять железному натиску русских войск.

Наша победоносная армия всё ближе и ближе подвигается к Берлину, геройски преодолевая одно препятствие за другим. И настоящим пророчеством являются следующие строки анонимного немецкого романиста:

> «Каждый день в Берлине ожидали новых вестей о победах. Надеялись на быстрый успех в короткое время, как в 1870 году — но новых телеграмм о победах не поступало. Хотя на восточной границе и был поставлен на ноги весь ландштурм, хотя каждое местечко защищалось чрезвычайно упорно, хотя смерть косила русские ряды, — всё же немецким войскам пришлось очистить восточную Пруссию»…

Как видно, автор романа трезвее смотрит на вещи и лучше оценивает боевую силу русской армии, нежели его самонадеянный монарх, веду-

щий теперь свой народ на верную гибель.

Впрочем, наконец, автор всё же щадит самолюбие своей нации и заставляет её заключить мир ранее окончательного поражения, на условиях весьма почётных. Этим почётным миром Вильгельм II спасает свою корону, так как общественное мнение Германии настойчиво высказывалось против бесславной войны, и призрак революции начинал уже принимать осязательные формы. Образуется тесный европейский союз всех великих держав с общим парламентом, — и войны навсегда отходят в область кровавых событий.

Может быть, анонимный пророк и здесь окажется прав, — с одной, впрочем, маленькой оговоркой: в будущий миролюбивый союз великих держав Германия не войдёт равноправным членом. Виновнице мирового пожара не к лицу роль миротворца, да и в искренность её мирных стремлений никто верить не станет.

II

Во всех рассмотренных романах мы оставляли в стороне самую технику войны будущего. Надо заметить, впрочем, что и сами авторы отводят

ей сравнительно мало места, сосредоточивая всё внимание на политических отношениях. Напротив, в романе знаменитого французского романиста Пьера Жиффара

«Адская война» (печатавшемся два года тому назад в «Мире Приключений») на первом плане именно технические способы ведения войны. Автор относит свою мировую войну к 1937 г., т. е. даёт нам ещё четверть века времени, но зато поражает наше воображение такими страшными орудиями человекоистребления, что невольно хочется благодарить судьбу за приближение военной грозы к нашей эпохе, когда военная техника не успела ещё достичь таких умопомрачительных успехов.



Взрыв на расстоянии с помощью электрических волн (Роман Жиффара «Адская война»)

Замечательно, что группировка держав — участниц мировой войны, почти совершенно точно предугадана Жиффаром: Россия, Франция, Англия и Япония против Германии. Автор ошибся лишь в том, что заставил Соединённые Штаты действовать совместно с Германией, а Италию — совместно с Францией и её союзниками[32]. Но не группировка участников представляет интерес в увлекательном романе французского публициста. Центр тяжести его — в наглядном изображении тех чудовищных средств истребления, которыми пользуются воюющие стороны. Фантазия Жиффара привлекает на службу кровавому Молоху войны все силы природы, всё могущество науки. Картины получаются такие, что перед ними бледнеют самые страшные образы Дантова ада. Силе впечатления много помогают иллюстрации талантливого Робида, работавшего совместно с романистом. Инженер Робида — сам

[32] Примечания: 32

Италия была связана с Германией и Австро-Венгрией союзным договором (1912 г.), но после начала мировой войны объявила нейтралитет и отказалась следовать союзническим обязательствам, вступив в войну на их стороне. После секретных переговоров с Антантой, 25 апреля 1915 года вступила в войну, объявив войну Австро-Венгрии.

романист, прославившийся столь нашумевшей в своё время «Электрической жизнью». По-видимому, многие идеи «Мировой войны» внушены автору даровитым иллюстратором[33].

В войне будущего, которую рисует нам Жиффар, порох и пушки отходят на задний план. Даже воздушные армады и эскадры подводных крейсеров не играют существенной роли. Выдвигаются новые средства истребления, которые и не снятся нынешнему поколению.

Чтобы дать представление об этих адских ухищрениях, приведём отрывок из главы «Море в огне»:

> «Мы были свидетелями самого невероятного, самого фантастического зрелища, какое когда-либо видел мир.
>
> Море горело! К северу и к югу от эскадры на нём вспыхивали один за другим исполинские языки пламени… Они сливались по обе стороны в сплошные стены огня, и две огненные полосы бежали навстречу друг другу с поразительною быстротой. Эскадра очутилась меж двух

[33] Примечания: 33

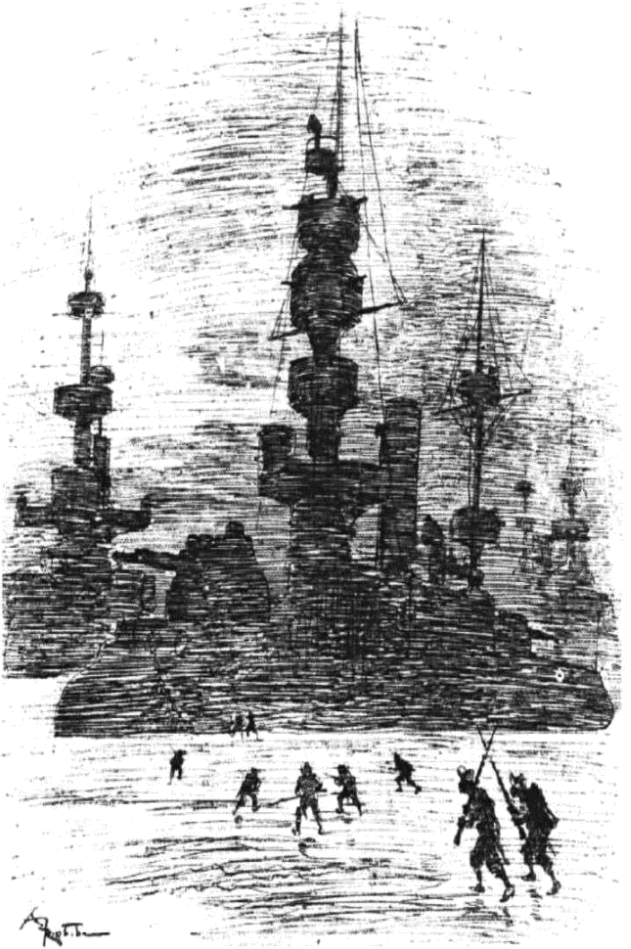
Альбер Робида (*Albert Robida*, 1848-1926) — известный французский карикатурист, иллюстратор и писатель.

огней»…

Как же достигнут столь чудовищный эффект?

> «На дне моря, между Кей-Вестом и Кубой (где происходило морское сражение) была заложена огромная труба. В ней имелись клапаны на известных расстояниях друг от друга. При помощи электрического контакта эти клапаны были все разом открыты, — и из них вырвались столбы нефти, нагнетаемой под огромным давлением. Поднимаясь над морем высокими фонтанами, нефть разлилась по поверхности воды, образуя сплошной пояс нефти. Подожжённый с двух сторон, он быстро воспламенился, образовав грандиозную огненную стену»…

Подобным же образом в целях истребления был использован холод — чудовищный холод жидкого воздуха. Массы жидкого воздуха, устремлённые в подводные трубы, заморозили неприятельскую эскадру «со всем экипажем, от адмирала до последнего юнги, и со всем десантом».



> «Вся бухта превратилась в сплошную массу льда. Неприятельские броненосцы, белые от инея, увязли в этой плотной ледяной коре».

Невозможно перечислить все дьявольские изобретения, которыми вооружает воюющих неистощимая фантазия Жиффара: взрывы на расстоянии с помощью Герцовских волн (чуть было не осуществленные недавно итальянцем Уливи), искусственные землетрясения, дождь азотной кислоты, массовая электрическая казнь, воздушный Мальстрем… А в главе «Вибрионы вместо бомб» Жиффар побивает рекорд чудовищных средств человекоуничтожения: заставляет одну из воюющих сторон наводнить территорию другой… холерными вибрионами!

Ещё задолго до Жиффара на подобный способ ведения войны указывал Робида в своём сатирическом романе «Электрическая жизнь».

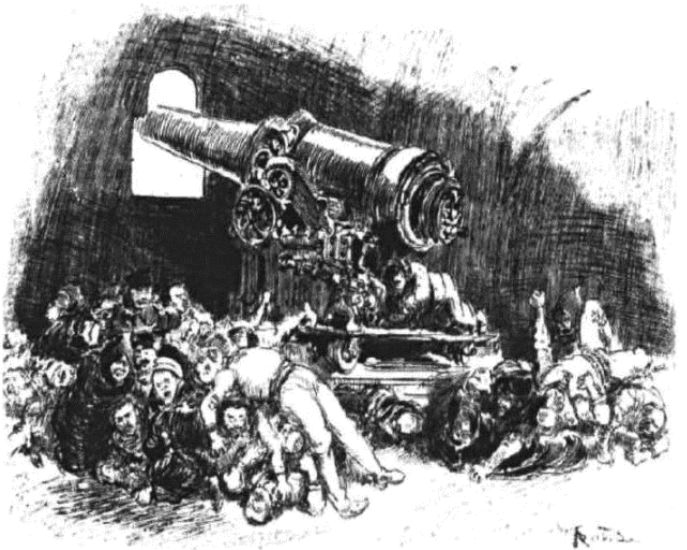
Вот какую речь произносит один из героев этого остроумного романа:

> «— Эра взрывчатых веществ приходит

к концу. У нас была эра железа, когда рыцари, закованные в броню, бросались в атаку, выставив вперёд копья, или работали тяжёлыми булавами, боевыми секирами и мечами. Её сменила эра пороха с пушками и мортирами, в первое время довольно неловко выбрасывавшими ядра и бомбы. Потом перешли к разным взрывчатым веществам, убийственным химическим составам и усовершенствованным орудиям, дозволявшим посылать их на всё более дальние расстояния. Этот период также приходит теперь к концу. Химическая война оказывается, в свою очередь, отсталой. Теперь назрело время медицинской войны. Взрывчатые вещества необходимо заменить миазмами. Начало этому, — утверждает оратор — уже положено. В нашей армии имеется боевой медицинский корпус с большим количеством артиллерии, действующей смертоносными миазмами, но всё это в сущности лишь опыт, и притом сравнительно робкий опыт!.. Наш боевой медицинский корпус не дал ещё до сих пор сколько-нибудь серьёзных практических

результатов! А между тем вся будущность войны зависит именно от них. В непродолжительном времени будут воевать не иначе, как при посредстве миазмов. Армии можно будет тогда совершенно упразднить, оставив под ружьём лишь ничтожное число людей. Предположим, что нам пришлось объявить воину какому-нибудь государству. Я посылаю на него тучу отборных миазмов, распространяю там такие сочетания болезней, какие мне вздумается, и затем вспомогательная армия при медицинском корпусе явится на сцену лишь для того, чтобы продиктовать хворому врагу, беспомощно лежащему в растяжку, какие ей заблагорассудится условия мира».

Вот какие чудовищные перспективы рисовали нам пророки грядущих войн! И как ни ужасна та война, которая теперь охватила весь мир, она всё же человечнее этих мрачных картин будущего.



Военные авторитеты и глубокие политики утверждают, что это — последняя война в истории земного человечества, последняя искупительная жертва кровавому Молоху взаимного истребления. Если так, то счастливы мы, что человечество

не успело ещё додуматься до тех адских измышлений, которыми пугают нас пророки грядущих войн…

Интересно привести из романа Жиффара речь французского полководца, обращенную к солдатам:

> «Товарищи! Война, участниками и жертвами которой мы явимся, будет свирепая, неумолимая, дикая до такой степени, что народы уже не захотят в будущем возобновлять её. Пожелаем, чтобы человечество в действительности отказалось, наконец, от безумной страсти к резне. Но поклянёмся, что заносчивый враг, кошмар Европы, ненавистник свободы и мира, кующий иго народам, не встретит с нашей стороны ничего, кроме опустошения и смерти. Поклянемся отдать нашу жизнь, чтобы обеспечить, победу за Францией и её союзниками. Я веду вас на смерть, чтобы дать нашей родине возможность установить вечный мир человечества!»

Самым дальновидным пророком оказался в Германии, покойный вождь социал-демократи-

ческой партии, знаменитый Август Бебель[34]. Этот умный старик, не будучи стратегом, ещё в 1900 году предвидел, что в случае войны

> «германский флот, как бы он ни был силён, будете уничтожен превосходящим его английским флотом. Вторым следствием будет то, что Германия потеряет все свои колонии сейчас по объявлению войны». А если к врагам Германии, присоединится Япония, «то все восточноазиатские колонии будут потеряны для Германии. Третьим и самым худшим последствием войны будет потеря Германского коммерческого флота и всех рынков сбыта, которые будут захвачены Англией». «Война с Россией и Францией при содействии Англии вызовет и полнейшее уничтожение могущества Германии. Франция получит назад Эльзас и Лотарингию, а быть может ещё и левый берег Рейна. Россия же сумеет округлить свои польские владения, получит в свои

[34] Примечания: 34

Август Бебель (*Bebel*, 1840 — 1913) — деятель германского и международного рабочего движения, один из основателей и руководителей германской социал-демократии и 2-го Интернационала, депутат Рейхстага.

руки устья Немана и Вислы и некоторые гавани».

«Победы в будущей войне, —

продолжает Бебель, —

не достанутся так легко, как об этом говорят газеты и школьные учебники. Такое превосходство над неприятелем, какое имело место в 1870 г., теперь абсолютно невозможно. Количество солдат и вооружения у Германии и Франции почти одинаковы. Будущая война скорее будет похожа на взаимное высасывание крови до последней капли. Эта картина показывает только одну сторону медали; другая сторона — это состояние народов во время самой войны. Война прекратит торговлю и промышленность, а именно — остановит вывоз. При современных экономических условиях Германия без вывоза существовать не может. Кроме того, ввоз товаров совершенно прекратится, и в стране наступит общая нужда».

Чудо нашего века



Афиша

То, о чем рассказывается в этой книжке, я по-

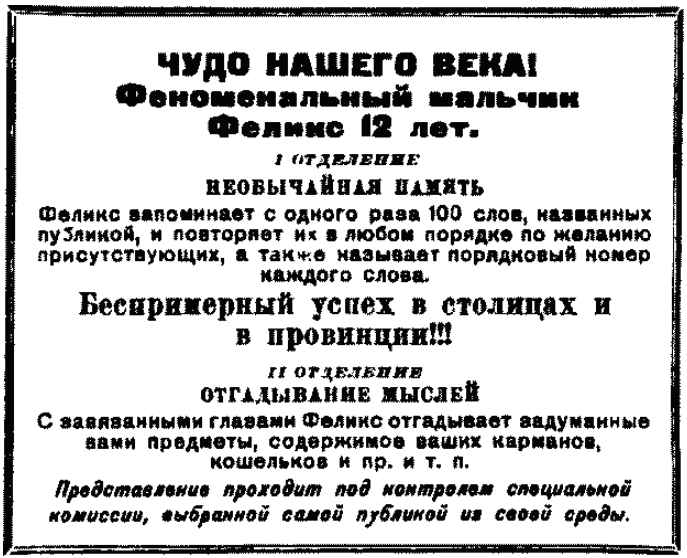
клялся когда-то никому не открывать. Я был 12-летним школьником, когда мне доверили эту тайну, а слово дал я мальчику моего же возраста.

В течение ряда лет клятва соблюдалась мною. Почему я сейчас считаю себя от нее свободным, вы узнаете из последней главы моего рассказа. Теперь же начну сначала.

Это «начало» вспоминается мне в виде огромной пестрой афиши на одном из многочисленных заборов моего родного города.

Я спешил из школы домой, где ожидало меня недочитанное «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна, когда увидел большую красно-зеленую афишу, возвещавшую о совершенно необычайных вещах.

В город прибыло и будет показываться «чудо нашего века»!



Вот в чем оно состояло:

ЧУДО НАШЕГО ВЕКА!

Феноменальный мальчик Феликс 12 лет.

1 отделение
НЕОБЫЧАЙНАЯ ПАМЯТЬ

Феликс запоминает с одного раза 100 слов, названных публикой, и повторяет их в любом порядке по желанию присутствующих, а так же называет порядковый номер каждого слова.

Беспримерный успех в столицах и в провинции!!!

II отделение
ОТГАДЫВАНИЕ МЫСЛЕЙ

С завязанными глазами Феликс отгадывает задуманные вами предметы, содержимое ваших карманов, кошельков и пр. и т. п.

Представление проходит под контролем специальной комиссии, выдранной самой публикой из своей среды.

— Надувательство! — услышал я за собой самоуверенный голос.

Я обернулся: позади меня читал ту же афишу один из учеников нашего класса, верзила-второгодник, называвший всех нас не иначе как «мелюзгой».

— Обман и надувательство! — повторил он. — За твои деньги тебя же и одурачат.

— Не всякий позволит себя провести, — ответил я. — Умного человека не одурачат.

— А тебя одурачат, — отрезал он, не желая понять, кого разумел я под умным человеком.

Раздраженный его презрительным тоном, я решил непременно пойти на представление, быть настороже и глядеть в оба. Если будут одураченные, я не окажусь в их числе. Нет, человека с головой не одурачишь!

Феноменальная память

В городском театральном зале мне случалось бывать редко, и потому я не сумел выбрать себе за небольшие деньги хорошее место. Пришлось сидеть довольно далеко от сцены. Хотя глаза у меня тогда были зоркие и видел я сцену недурно, я не мог отчетливо различить лицо феноменального мальчика, «чуда нашего века». Мне даже показалось, что я где-то видел раньше это лицо, — хотя я понимал, конечно, что до сих пор не мог знать Феликса.

Взрослый мужчина, вышедший на сцену одновременно с мальчиком, тотчас же приступил к «сеансу мнемоники», как выразился он, обращаясь к публике. Приготовления были тщательные.

Фокусник (я так называл его про себя) завязал мальчику глаза и посадил на стул посреди сцены, спиной к зрителям.



Несколько человек из публики были допущены на сцену, чтобы удостовериться в отсутствии обмана.

Сам же фокусник спустился со сцены, прошел между креслами в задние ряды и, держа в руках раскрытую папку с бумагой, предлагал зрителям вписывать туда названия задуманных предметов — каких угодно.

— Прошу запомнить порядковые номера ваших слов, — говорил он, — Феликс будет их называть!

— Не угодно ли и вам, молодой человек, вписать несколько слов? — обратился фокусник ко мне.

Взволнованный неожиданностью, я никак не мог придумать, что писать.

Сидевшая рядом девушка торопила меня:

— Пишите же, не задерживайте! Не знаете что? Ну, пишите: ножик, дождь, пожар…



Я смущенно вписал эти слова против №№ 68-го, 69-го и 70-го.

— Запомните ваши номера, — сказал мне фокусник и пошел дальше по рядам кресел, пополняя список новыми словами.

— Номер сто! Достаточно, благодарю вас, — громко объявил он наконец. — Прошу внимания! Теперь я прочту список вслух один только раз, и Феликс запомнит все слова от первого до последнего так твердо, что сможет повторить их в любом порядке: с начала до конца, с конца к началу, через одно, через три, через пять, и сможет назвать в разбивку любой номер по требованию публики. Начинаю!

— Зеркало, ружье, весы, находка, лампа, билет, извозчик, бинокль, лестница, мыло… — раздельно произносил фокусник, не вставляя ни одного замечания.

Чтение длилось не особенно долго, но список казался мне бесконечным. Не верилось, что в нем только сотня слов. Запомнить его было свыше сил человеческих.

— Брошка, дача, конфета, окно, папироса, снег, цепочка, ножик, дождь… — монотонно читал фокусник, не пропустив и моих слов.

Мальчик на сцене слушал, не делая никаких

движений; казалось, он спит. Неужели же он сможет повторить без пропусков все эти слова?

— Кресло, ножницы, люстра, сосед, звезда, занавес, апельсин. Кончено! — объявил фокусник. — Теперь прошу публику избрать контролеров, которым я передам этот список, чтобы они могли проверить ответы Феликса и сообщить всей публике, правильны ли они.

В числе трех контролеров оказался, между прочим, один из старших учеников нашей школы — толковый, рассудительный малый.

— Прошу внимания! — возгласил фокусник, когда «контрольная комиссия» получила список слов и заняла свое место в зале. — Сейчас Феликс повторит все сто слов от первого до последнего. Контролеров прошу следить по списку.

Зал затих, и среди общего молчания донесся с эстрады звонкий голос Феликса:

— Зеркало, ружье, весы, находка, лампа…

Слова произносились уверенно, не спеша, но и без запинок и промедлений, словно Феликс читал их из книги. В изумлении переводил я глаза с мальчика, сидевшего вдалеке, спиной к нам, на троих контролеров, стоявших в зале на стульях. При каждом слове мальчика я ожидал их уличающее «неверно!». Но они молча уставились

на список, и лица их выражали лишь сосредоточенное внимание.

Феликс продолжал перечисление слов, назвал мои три слова (я не догадался вести счет с самого начала и не мог проверить, действительно ли они были на 68-м, 69-м и 70-м месте) и перечислял дальше, без перерывов, пока не произнес последнего слова: «апельсин».

— Совершенно правильно. Ни одной ошибки! — объявил публике один из контролеров, военный-артиллерист.

— Не угодно ли публике, чтобы Феликс перечислил слова в обратном порядке? Или через 3 слова? Через пять? От одного назначенного номера до другого?

В ответ раздался смешанный гул голосов:

— Через 7 слов!.. Все четные… Через три, через три!.. Первую половину в обратном порядке!.. От 37-го номера до конца!.. Все нечетные!.. Кратные шести!..

— Трудно расслышать, прошу не всем сразу, — упрашивал фокусник, стараясь перекричать шум.

— От 73-го номера до 48-го — зычно произнес сидевший впереди меня моряк.

— Хорошо. Внимание!.. Внимание! Феликс,

назови, начиная с 73-го, все слова до 48-го включительно. Контролеров прошу следить за ответами.

Феликс тотчас же начал перечислять и безошибочно назвал все слова, как надо было: от 73-го назад до 48-го.

— Не угодно ли теперь публике потребовать, чтобы Феликс указал прямо номер какого-нибудь слова из прочитанного списка? — спросил фокусник.

Я набрался храбрости и, краснея до ушей, крикнул через весь зал:

— Ножик!

— 68, — тотчас же ответил Феликс.

Номер слова был указан правильно!

Посыпались во множестве вопросы из разных концов зрительного зала. Феликс едва успевал давать ответы: Зонтик 83… Конфета 56… Перчатки 47… Часы 34… Книга 22… Снег 59…

Когда фокусник объявил, что первое отделение кончено, весь зал долго хлопал в ладоши и вызывал Феликса. Мальчик выходил, улыбался во все стороны и снова скрывался.

Чревовещание

Кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся: возле меня стоял тот школьник, который третьего дня читал со мною афишу.

— Ну что? Надули, мелюзга? Заплатил полтинник, а одурачен на рубль?

— А ты разве не одурачен? — раздраженно возразил я.

— Я-то? Ха-ха! Я ведь заранее знал, что так будет.

— Мало, что знал. Все-таки одурачен.

— Нисколько. Штуки эти я хорошо знаю.

— Что знаешь? Ничего ты не знаешь.

— Весь секрет знаю. Чревовещание! — многозначительно произнес он непонятное мне слово.

— Какое чревовещание?

— Чревовещатель он, дяденька-то этот. Животом говорить умеет. Спрашивает вслух да сам себе брюхом и отвечает. А публика воображает — Феликс. Мальчишка ни слова не говорит: знай, сидит себе да дремлет в кресле. Так-то, мелюзга! Все эти штуки я хорошо знаю.

— Погоди, как же это можно животом говорить? — в недоумении спросил я, но он уже отвернулся

и не слышал вопроса.

Я вышел в соседнюю залу, где зрители прогуливались во время перерыва, и заметил кучку людей, которые, собравшись возле наших контролеров, о чем-то оживленно беседовали. Я остановился послушать.

— Во-первых, чревовещатели вовсе не говорят животом, как наивно полагают многие, — объяснял собравшимся артиллерист. — Это только кажется иногда, что голос чревовещателя исходит из глубины его тела. На самом деле он говорит, как и мы с вами, то есть ртом, языком, — только не губами. Искусство его в том, что он, говоря, не делает ни одного движения губами, не шевелит ни одним мускулом лица. Когда он произносит слова, вы можете смотреть на него — и не заметить, что он говорит. Поднесите свечку к его рту — пламя не дрогнет: настолько слабо выдыхает он воздух. А так как при этом он еще изменяет свой голос, то вы верите ему, будто слова доносятся откуда-нибудь из другого места, — что говорит кукла или нечто подобное. В этом весь секрет чревовещания.

— Не только в этом, — вставил пожилой человек из окружающей группы. — Чревовещатель прибегает еще к разным уловкам, — продолжал

он. — Он хитро направляет внимание зрителей туда, откуда будто бы доносятся звуки, и одновременно увлекает внимание от себя самого, чтобы вернее и удобнее скрыть истинного виновника… Вероятно, прорицания древних оракулов и тому подобные мнимые чудеса — проделки чревовещателей. Но скажите: разве вы думаете, что наш фокусник — чревовещатель, и этим объясняете все представление?

— Напротив, я именно и вел к тому, что здесь ничего подобного быть не может. О чревовещании зашла у нас речь мимоходом, потому что многие из публики склонны видеть в этом разгадку сеанса. Я хотел объяснить, что это совершенно несообразная догадка.

— Но почему же? Почему нет? — раздались голоса.

— Да очень просто. Ведь список слов был в наших руках: фокусник не видал его, когда Феликс перечислял слова. Как же мог фокусник — будь он хоть сто раз чревовещатель, — как мог он сам-то запомнить все слова? Пусть мальчик ни при чем, безгласная кукла, декорация, пусть так. Но какая же дьявольская память должна быть тогда у самого фокусника! Чревовещание нисколько не разъясняет этой загадки, только переносит ее

в другое место. А если так, то согласитесь, что для нас довольно безразлично, чревовещатель ли наш фокусник или нет.

— Как же тогда объясняется все это? Ведь не чудо же здесь, в самом деле?

— Разумеется, не чудо. Но скажу откровенно: я теряюсь в догадках, не могу придумать никакого объяснения...

Звонок объявил начало второго отделения, и все направились в зрительный зал к своим местам.

Сверх программы

После перерыва фокусник начал какие-то странные приготовления.

Он вынес на середину сцены стойку, состоящую из нижней доски и укрепленной в ней отвесно палки, примерно в рост человека. Пододвинув к палке стул, он знаком указал Феликсу стать на него. Затем положил локоть правой руки мальчика на верхний конец палки, достал еще палку и подставил ее под левую руку.

Покончив с этими непонятными для меня приготовлениями, фокусник стал делать возле лица мальчика странные движения руками, словно

поглаживал его, не прикасаясь.

— Усыпляет, — произнес кто-то из сидевших сзади меня.

— Гипнотизирует! — поправила моя соседка справа.

Феликс в самом деле заснул от этих движении: закрыл глаза и стоял совершенно неподвижно.

Тогда началось самое интересное и непонятное. Фокусник осторожно вынул стул из-под ног мальчика, и тот остался висеть, опираясь локтями о две палки. Фокусник убрал палку из-под левой руки — Феликс по-прежнему висел, хотя опирался локтем только об одну палку. Это было совершенно непостижимо!

— Гипнотический сон, — объяснила моя соседка и добавила, — теперь с ним можно делать что угодно.

Кажется, она была права, потому что фокусник отвел тело Феликса на некоторый угол в сторону от палки — и оно послушно сохраняло это наклонное положение, вопреки силе тяжести. Еще поворот — и мальчик чудесным образом повис горизонтально в воздухе, облокотившись о конец палки.



— Сверх программы, — сказал мой сосед слева.

— Сверх чего? — спросил я.

— Сверх программы.

— Как это он там сверх программы? Не понимаю.

— Не он сверх программы, а номер такой. Об этом в афише не объявлялось, ну, значит — номер сверх программы дается.

— Но на чем он держится?

— Этого уж не умею сказать. Висит как-нибудь. Отсюда не увидишь, на чем.

— Говорю вам: гипнотизм! — вмешалась соседка справа. — Что угодно с ним теперь делать можно.

— Вздор! — возразил левый сосед. — На гипнотизме не повиснешь. Какие-нибудь фокусные

бечевки, прозрачные ленты, не иначе.

Но Феликс положительно ни на чем не висел: фокусник нарочно провел рукой несколько раз поверх его тела, чтобы показать, что нет никаких скрытых от публики бечевок или лент. Потом таким же образом провел рукой под телом Феликса. Стало очевидно, что и внизу никаких прозрачных невидимых подпорок быть не могло.

— Видите, видите! Я говорила… Просто гипнотическое состояние, — торжествовала соседка.

— Очень даже просто, — раздраженно ответил сосед. — Фокус, ничего больше. Мало ли фокусники что проделывают! Все — гипнотизм, скажете…

А Феликс продолжал оставаться в воздухе, словно дремал на невидимом ложе. Фокусник завязал мальчику глаза, подошел к краю сцены и начал объяснять публике, что последует дальше.

Отгадывание мыслей

— Кто желает, может убедиться, — начал фокусник, — что Феликс, оставаясь здесь на сцене с завязанными глазами, будет отгадывать содержимое ваших карманов, кошельков, бумажников. Это — сеанс чтения мыслей!

То, что произошло дальше, было настолько изумительно и необычайно, что действительно походило на какое-то волшебство. Я был совершенно озадачен и сидел, словно очарованный.

Постараюсь передать хотя бы часть из того, что уцелело в моей памяти.

Спустившись в зал, фокусник прошел между рядами публики и, подойдя к одному из зрителей, попросил его вынуть из кармана какую-нибудь вещь. Тот вынул портсигар.

— Прошу внимания! Феликс, можешь ли ты сказать, кто тот человек, возле которого я стою?

— Военный, — донесся до нас ответ Феликса.

— Правильно! Какую вещь он показал мне сейчас?

— Портсигар.

Даже если бы Феликс и не висел в воздухе на сцене с завязанными глазами, он не мог бы видеть, что показал фокуснику военный, сидевший так далеко от него и притом в полутемном зале.

— Правильно, — продолжал фокусник. — Догадайся, что я сейчас вижу в его руке?

— Спички.

— Хорошо. Теперь что?

— Очки.

Это было верно!

Фокусник покинул военного и, неслышными шагами пройдя между рядами, остановился у кресла одной юной школьницы.

— Скажи, к кому я подошел? — спросил он, обращаясь снова к Феликсу.

— К девочке.

— Хорошо. Можешь ли сказать, что я сейчас беру из ее рук?

— Гребенку.

— Идеально! Теперь что?

— Перчатку.

— Тоже верно!

— А какой человек показывает мне сейчас вещь? — спросил фокусник, неслышно перейдя к другому креслу.

— Статский!

— Ловко. Какую вещь?

— Бумажник.

О чревовещании не могло быть и речи: многие были возле самого фокусника и зорко следили за его поведением. Не оставалось сомнений, что говорил именно Феликс, а не кто-либо другой. Казалось, будто он, в самом деле, читал мысли в голове фокусника.

Дальше мне пришлось услышать еще более поразительные вещи.

— Догадайся, что я вынимаю из бумажника?
— Три рубля.
— Это было верно!
— А можешь сказать, что теперь?
— Десять рублей.
— Ловко! Узнай, что я держу в данный момент?
— Письмо.
— Теперь к кому я подошел?
— К студенту.
— Идеально. Скажи, что он мне передал?
— Газету.



— Правильно. Попытайся отгадать, что я от него только что получил?

— Булавку.

В таком духе отгадывание продолжалось и далее без единой ошибки или даже заминки.

Допустить, что Феликс мог бы как-нибудь уви-

деть со сцены булавку в руках фокусника, было бы полной нелепостью. Но если это не обман, то что же это? Сверхъестественная способность? Ясновидение? Чтение мыслей? Возможно ли? Такие вопросы толпились в моей голове после представления.

Я думал об этом по дороге из театра и продолжал думать целую ночь: не мог заснуть, взволнованный всем виденным на этом необычайном представлении.

Мальчик с верхнего этажа

Дня через два, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру, я заметил впереди себя мальчика, недавно поселившегося со своим старшим родственником в квартире над нами. Они жили обособленно, ни с кем не заводя знакомств, и мне до сих пор ни разу не пришлось ни словом перекинуться с мальчиком-соседом; я не имел случая даже разглядеть пристально его лицо.

Мальчик не спеша шел по лестнице, неся в одной руке жестянку с керосином, в другой — корзинку с овощами. Заслышав позади себя шаги, он обернулся в мою сторону, и — меня так и пригвоздило к месту от изумления… Феликс!

Так вот почему лицо мальчика на сцене показалось мне знакомым!

Молча разглядывал я его, не зная, как начать разговор, а придя в себя, стал сыпать беспорядочно слова:

— Приходи ко мне… Покажу коллекцию бабочек… дневных и ночных… с куколками… Есть электрическая машина… сам сделал… из бутылки… Вот такие искры… Приходи, увидишь…

— А лодочки стругать умеешь? С парусом? — спросил он.

— Лодочек нет. Тритоны в банке… Марки есть, целый альбом. Разные редкости: Борнео, Исландия…

Я и не думал, что так метко попаду в цель этой коллекцией марок. Феликс оказался усердным собирателем их. Глаза его загорелись, и он спустился на несколько ступеней поближе ко мне.

— У тебя есть марки? Много? — Он подошел во мне вплотную.

— О, самые редкие: Никарагуа, Аргентина, Трансвааль, старинные финские… Приходи! Приходи сегодня же. Мы живем здесь, в этой квартире. Дернуть звонок. У меня своя комната. На завтра уроков почти не задано…

Так состоялось наше первое знакомство. Фе-

ликс обещал прийти завтра и действительно пришел на другой день под вечер. Я тотчас же отвел его в свою комнату и стал показывать достопримечательности: коллекцию из 60 бабочек с куколками, которую я собирал два лета; самодельную электрическую машину из пивной бутылки — предмет моей гордости и всеобщей зависти товарищей; четырех тритонов в стеклянной банке, пойманных еще прошлым летом; пушистого кота Серко, подававшего лапу, как собака; наконец, альбом марок, какого не было ни у кого в классе. Феликса интересовали только марки. В его коллекции не имелось и десятой доли того, что он нашел у меня. Он объяснил мне, почему ему так трудно собирать их. Покупать в магазинах — дядя денег не дает (фокусник приходился ему дядей; Феликс был круглый сирота). Обмениваться не с кем: нет знакомых. Письма почти ни от кого не приходят: ведь они не живут, как все люди, на одном месте, а беспрестанно переезжают из города в город, не имея постоянного адреса.

— А почему у тебя знакомых нет? — спросил я.

— Как им быть? Только познакомишься с кем-нибудь, как уже едем в новый город, и знакомство прекращается. Дважды в один город не

приезжаем. Да и не любит дядя, чтобы я заводил знакомства. Я и к тебе пришел украдкой: дядя не знает, его дома нет.

— Почему же не хочет дядя, чтобы у тебя были знакомства?

— Боится, чтобы я кому-нибудь не открыл секрета.

— Какого секрета?

— Да фокусов. Никто тогда на представление ходить не станет. Что за интерес?

— Так это, значит, были фокусы?

Феликс молчал.

— Скажи, это фокусы были, что вы показывали с дядей? Да? Фокусы все-таки? — дознавался я.

Но не так-то легко было заставить Феликса говорить об этом. Он не поворачивал головы в мою сторону и молча перелистывал альбом.



— А есть у тебя Аравия? — спросил он наконец, разглядывая альбом марок и словно не слыхав моих настойчивых вопросов.

Я понял, что добиваться от него ответа бесполезно, и занялся показыванием моих редкостей.

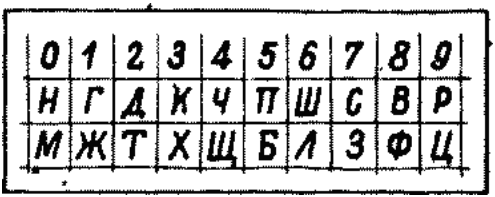
В тот вечер я не узнал от Феликса ничего такого, что могло бы объяснить мне загадку «чуда нашего века».

Секрет феноменальной памяти

И все-таки я добился своего! На второй день Феликс открыл мне секрет необычайной памяти. Не буду подробно рассказывать, как сумел я расположить его к откровенности. Пришлось расстаться с дюжиной редчайших марок, и Феликс не устоял перед соблазном.

Это было на квартире у Феликса. Я пришел, как было у нас заранее условлено, потому что Феликс еще накануне знал, что дядя отлучится на ближайшую станцию.

Прежде чем открыть тайну, Феликс заставил меня долго и торжественно клясться, что я «никогда — никому — ни за что» не скажу о ней ни единого слова. После этого он написал на полоске бумаги следующую табличку:



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н	Г	Д	К	Ч	П	Ш	С	В	Р
М	Ж	Т	Х	Щ	Б	Л	З	Ф	Ц

С недоумением смотрел я то на бумажку, то на Феликса, ожидая пояснений.

— Видишь ли, — начал он, таинственно понизив голос, — видишь ли, мы заменяем цифры буквами. Нуль заменяем буквой Н, потому что с нее начинается слово «нуль», или же буквою М.

— А почему М?

— Созвучно с Н. Единицу заменяем буквой Г, потому что писанное Г похоже на 1.

— Откуда же буква Ж?

— Часто Г переходит в Ж: бегу — бежишь.

— Понял. Буква Д отвечает 2, потому что «Два», а Т созвучно с Д. Но почему К — три?

— Состоит из трех черточек. А Х произносится сходно с К.

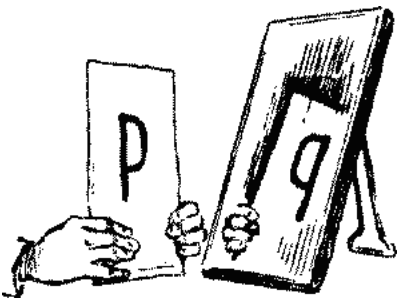
— Хорошо. Четыре — Ч или созвучное с ним Щ. Пять — П или созвучное Б; шесть Ш. Но почему Л?

— Просто так. Прямо надо запомнить: 6 — Л. Но зато семь — С или 3; восемь — В или Ф; это

понятно.

— Да. Но отчего 9 — Р?

— В зеркале 9 похоже на Р.



— А Ц?

— Хвостик, как у девятки.

— Таблицу запомнить нетрудно. Но я еще не вижу, к чему она.

— Погоди. В табличке одни только согласные звуки. Если соединить их с гласными — ведь гласные сами по себе не означают цифр, — то можно составить слова, которые в то же время будут выражать числа.

— Например?

— Например «окно» означает 30, потому что К — 3, Н — 0.

— И всякое слово может означать число?

— Конечно.

— Ну, «стол»?

— 736: С — 7, Т — 3, Л — 6. Ко всякому числу можно подобрать слово, хотя не всегда это легко сделать! Сколько тебе лет?

— Двенадцать.

— Ну, так это можно выразить словом «годы»: Г — 1, Д — 2.

— А если бы было 13?

— Тогда «жук»: Ж — 1, К — 3.

— А 453? — спросил я наобум.

— «Чубук».

— Занятно! Это, конечно, помогает тебе запоминать числа. Но ты ведь повторял не числа, а другие слова. Как же это?

— Дядя придумал счетные слова от 1 до 100. Вот первые десять: 1. Еж; 2. Яд; 3. Ока; 4. Щи; 5. Обои; 6. Шея; 7. Усы; 8. Ива; 9. Яйцо; 10. Огонь

— Ничего не понимаю! Что за «счетные» слова? И к чему еж и огонь?

— Ну, недогадливый! «Еж» это 1, потому что Ж — 1; «Яд» — 2; «Ока» — 3; «Щи» — 4…

— Понял! «Обои» — 5, потому что Б — 5; «Шея» — 6…

— Ну, вот. Ты видишь сам, что запомнить эти слова совсем нетрудно. А держа их в голове, ты

можешь уже привязать к ним любые 10 слов, какие тебе прочтут.

— Как привязать? Непонятно.

— Напиши какие-нибудь 10 слов, объясню.

Я написал: снег, ведро, смех, город, картина, сапог, машина, сажень, золото, смерть.

— Когда мне читают такой ряд слов, — сказал Феликс, — я в уме ставлю каждое из них рядом с очередным счетным словом, вот так: 1. Еж — снег; 2. Яд — ведро; 3. Ока — смех; 4. Щи — город; 5. Обои — картина; 6. Шея — сапог; 7. Усы — машина; 8. Ива — сажень; 9. Яйцо — золото; 10. Огонь — смерть. — При этом, — продолжал Феликс, — я говорю себе примерно такие фразы: 1. Еж бежит по *снегу.* 2. В *ведре* яд. 3. На Оке раздается *смех.* 4. В *городе* едят щи. 5. На обоях висит *картина.* 6. *Сапоги* перекинуты через шею. 7. Усы застряли в *машине.*

— Как же усы завязли в машине? Глупо выходит.

— И пусть глупо. Глупое еще лучше запоминается. Почему «еж на снегу», «сапоги через шею»? Тоже ведь бессмыслица, а запоминается очень хорошо.

— Ну, дальше. Как связать иву с *саженью?*

— Ива в *сажень* вышины.

— А яйцо и *золото?* Ничего общего.

— Золото, как яичный желток, по цвету то есть.

— А огонь причиняет *смерть?*

— Хотя бы и так. Привязал эти слова, а теперь могу повторить весь список, припоминая по порядку, что связано с каждым счетным словом: Еж бежит по *снегу.* Яд — в *ведре.* На Оке раздается *смех.* Щи едят в *городе.*

— Погоди-ка, дальше я сам попробую: На обоях висит *картина.* Через шею перекинуты *сапоги.* Усы застряли в *машине* дурацким образом…

— Вот видишь, помогла глупая фраза. А восьмое слово?

— Восемь — ива в *сажень* высоты. Девять — яйцо, его желток, как *золото.* А огонь — *смерть.*

— Теперь назови сразу 5-е слово, — предложил мне Феликс.

— Пять — обои — *картина.*

— Попробуй перечислить те же десять слов в обратном порядке.

Я начал довольно неуверенно, но, к собственному изумлению, безошибочно назвал все слова.

— Ура! — не удержался я от радостного восклицания. — Я сам теперь могу показывать фокусы!

— Но ты дал слово…

— Помню, не бойся; я только так сказал. Но ведь ты повторял не десяток, а сотню слов. Как же это ты?

— Тем же способом. Нужно только затвердить все сто счетных слов.

— Скажи мне хоть второй десяток.

Феликс написал: 11 — гага, 12 — гад, 13 — жук, 14 — гуща, 15 — губа, 16 — игла, 17 — гусь, 18 — агава, 19 — гора, 20 — дом.

— Слова могут быть и другие, — пояснил Феликс. — Ты можешь сам подобрать. Например, два у нас было раньше не «яд», а «уда»; но неудобно для связывания, и я просил дядю заменить «уду». Тогда он придумал «яд». А десять было прежде «ужин»; я сам придумал вместо этого «огонь». Вот «агава» очень неудачное слово, но дядя лучше не мог пока придумать.

— Но помнить сто фраз! Разве не трудно?

— Не так трудно, если часто упражняться. Я сейчас еще помню те сто слов, которые были даны мне для запоминания на последнем представлении.

— И мои помнишь?

— Какие номера?

— 68-й, 69-й, 70-й.

— Ножик, дождь, пожар.

— Верно! Но как же ты это?

— Вот: 68 у нас «олово»; 69 — «липа»; 70 — «сон». Из олова не сделаешь *ножика,* под липой пережидал *дождь,* во сне видел *пожар.*

— И долго будешь помнить?

— До следующего представления, вероятно… Дядя идет, дядя!.. — засуетился он в испуге, увидев в окне фигуру дяди на дворе. — Уходи скорее.

Мне удалось счастливо проскользнуть к себе, прежде чем фокусник успел дойти до лестницы.



Источники:

БИО. Случай из недалёкого будущего / А. Числов. — Природа и люди, 1914 год, № 1, стр. 9-11; № 2, стр. 22-23.

ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ. Отрывки из дневника А. Числова / А. Числов. — Мир приключений, 1914 год, № 4, стр. 65-90.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ / А. Числов. — Мир приключений, 1914 год, № 5, стр. 173-180.

ПЛАНИМЕТРИЯ. Совершенно невероятное происшествие / А. Числов. — На суше и на море, 1914 год, № 9, стр. 43-53.

КОВЕР-САМОЛЁТ / А. Числов. — Журнал приключений, 1916 год, № 6, стр. 44-63.

ОПЫТ ПРОФЕССОРА ПАРСОВА: научно-фантастическая повесть / А. Числов. — Журнал приключений, 1917 год, № 2, стр. 32-52.

ПЫТКА ЗЕРКАЛАМИ / Ю. Мигуэль [пер. с англ.]. — Я. И. Перельман. Занимательная физика. Кн. 1.- М., 1949, с. 176-179.

ЗАВТРАК В НЕВЕСОМОЙ КУХНЕ. Недостающая глава в романе Жюля Верна / Я. Перельман. — Природа и люди, 1914 год, № 24, с. 381-382.

УБИЙСТВО. Рассказ следователя/ А. Числов.

— Мир приключений, 1916 год, № 9, стр. 71-88.

ПРЕДШЕСТВЕННИК НАНСЕНА / В. Ольден [пер. с англ. Н. Жаринцовой]; ЖИВОЙ ПЛАНЕТАРИЙ / Я. И. Перельман. Перельман Я. Занимательная математика. — Л., 1927, с. 48-53.

«ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» ВРЕМЕН ПЕТРА I / Я. И. Перельман. Занимательная физика. — СПб, 2017. — с. 63-65.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА / К. Лассвиц [пер. с нем. Я. Перельмана]; ЛИТЕРАТУРНАЯ МАШИНА / Я. И. Перельман. — Перельман Я. Занимательная математика, — Л., 1927, с. 56-61.

ЖЮЛЬ ВЕРН: К столетию со дня рождения/ Я. И. Перельман. — Вокруг света, ЗиФ, 1928, № 2, стр. 29-31; № 3, стр. 44-45.

ПРОРОЧЕСКИЙ РОМАН ЖЮЛЯ ВЕРНА / М. Пушкарский [Я. Перельман]. — Мир приключений, 1915 год, № 6, стр. 149-160.

ПРОРОКИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ / Л. Исидорский [Я. И. Перельман]. — Мир приключений, 1914 год, № п, стр. 111-126.

ЧУДО НАШЕГО ВЕКА / Я. И. Перельман. Фокусы и развлечения. — М.: Детгиз, 1935. — с. 7-59.

Литературно-художественное издание
«Библиотека приключений и фантастики»

По страницам старых журналов

А. Числов

ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ

СБОРНИК
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Подготовка к печати, верстка, макет, дизайн, статьи и комментарии – *А.Б. Танасейчук*

Редактор – *М. Тропинина*

Корректор – *М.Б. Шварц*


По страницам
старых
журналов
СМЕНА
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ
ВОКРУГ СВЕТА
МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ
Борьба миров
АРГУСЪ
СМЕНА №2
Библиотека
приключений
и фантастики

А. Числов

ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ